

*В. Солоухин*

•

*СОЗЕРЦАНИЕ*  
*ЧУДА*















*В. Солоухин*



*СОЗЕРЦАНИЕ  
ЧУДА*

•

*ОЧЕРКИ*

Москва  
«Современник»  
1986

P2  
C60

Художник Е. Андреева

C  $\frac{4702010200-082}{M106(03)-86}$  119-86

© Оформление, издательство «Современник», 1986.



*ТРЕТЬЯ*  
*ОХОТА*









## 1

Грибы основательно изучены<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> (В рукописи у меня было: «Грибы теперь досконально изучены». Когда «Третья охота» публиковалась в журнале, редакторы уговорили меня без труда, конечно, смягчить формулировку. Но даже и в этом смягченном виде мое утверждение вызвало большое количество согласных между собой, но несогласных с моим утверждением читательских мнений. Вот хотя бы одно из них: «Не могу не возразить против оптимистического утверждения, что «грибы сейчас основательно изучены». Чтение литературы оставляет обратное впечатление. Правда, встречается много любопытных утверждений, что козляк, мокруха еловая и рядовка фиолетовая — грибы-антибиотики; что перечный груздь — средство от туберкулеза; что некоторые виды грибов задерживают рост раковой опухоли (исследования японских ученых); что с помощью навозника лечат алкоголизм (опыт чехословацких врачей); что профессор Введенский, как утверждает А. Молодчиков в своей книжке «В мире грибов», считал красный мухомор прекрасным белым грибом и, вымочив его в уксусе, с аппетитом употреблял без вреда для здоровья... Все это занятно, но я не решусь ни испробовать мухомор, ни рекомендовать кому-либо от запоя серый навозник.

Впрочем, шутки в сторону. Вот передо мной монография Б. П. Василькова «Белый гриб» (Л.: Наука, 1956). В конце список литературы, занимающий 13 страниц убористого шрифта. Казалось бы, до предела изучен этот царь грибов. Но листаешь книжку и поражаешься, как часто автор прибегает к осторожным «по-видимому, можно предположить, по всей вероятности». Как часто, приведя противоположные ут-



Итак, грибы основательно изучены. Во всяком случае теперь не нужно тратить усилий, как это делал Аксаков, например, чтобы опровергать убеждение, будто грибы зарождаются от тени.

Известно, что Аксаков написал в числе прочих две замечательные книги: «Заметки об ужении рыбы» и «Записки оружейного охотника Оренбургской губернии». Деловым тоном, даже, пожалуй, суховато, он рассказывает, как соорудить удочку или ухаживать за ружьем. Главы называются так: «Техническая часть оружейной охоты», «Заряд», «Порох», «Пыжи», «Разделение дичи на разряды», «О вкусе мяса и приготовлении бекасиных пород»...

Казалось бы, что тут читать человеку, который не охотник. Но я, как человек, ни разу не стрелявший из охотничьего ружья, свидетельствую, что все написанное Аксаковым читается как самый увлекательный роман, хочется возвращаться и перечитывать. Искусство обладает одним замечательным свойством. То душевное состояние, в котором находится художник, передается впоследствии читателю, хотя бы ничего об этом душевном состоянии не было сказано. Но мы рискуем уйти в слишком высокие сферы психологии творчества и законов искусств, тогда как речь должна идти о более низменном предмете, а именно о грибах.

Названные мною книги Аксакова известны всем. Но не каждый знает, что он мечтал написать такую же книгу о грибах. Он даже начал ее. Если бы книга была написана, она называлась бы «Замечания и наблюдения охотника

---

верждения, не решается сделать вывод. «До сих пор о связи белого гриба с другими видами грибов ничего строго определенного не известно» (с. 58). «Вопрос питательности съедобных грибов, и в частности белого, тоже еще далеко не решен» (с. 111). «Что касается питательности и вкусовой ценности различных форм белого гриба, то научные опыты в этом направлении, насколько известно, еще не проводились» (с. 112). И совсем откровенно: «Мы еще недостаточно хорошо знаем биологию белого гриба и ему подобных видов» (с. 91).

Нет уж, никак нельзя сказать, что грибы изучены основательно.

Приведя эту выдержку из читательского письма, я должен сказать, что писем было много. Конечно, каждая книга вызывает читательские отклики. Но письма на мою «грибную» книгу отличаются одной особенностью. Каждый корреспондент стремился дополнить мой текст, описать какой-нибудь случай из своей грибной практики. Поэтому в примечаниях я буду время от времени помещать выдержки из писем моих читателей. А так как некоторые выдержки могут быть длиннее книжной страницы, то я буду вводить их в основной текст и выделять отбивкой и скобками).

брать грибы». Получилась бы у Аксакова своеобразная трилогия: рыболовство, собственно охота и грибы. К сожалению, третьей книги мы никогда не прочитаем. Но начало было положено, семь кинжных страниц — так сказать, общая вводная часть существует. И каково читать последнюю фразу этой общей части: «Говоря о каждой породе грибов отдельно, я скажу подробнее о случайных изменениях в произрастании грибов». Не успел.

Я заговорил обо всем этом к тому, что всего лишь сто лет назад образованию для своего времени человеку всерьез приходилось говорить о том, что грибы зарождаются не от тени.

«Не в одной тени (как думают многие), бросаемой древесными ветвями, заключается таинственная сила деревьев вырастить около себя грибы; тень служит первым к тому орудием, это правда; она защищает землю от палящих лучей солнца, производит влажность почвы и даже сырость, которая необходима и для леса и для грибов; но главная причина их зарождения происходит, как мне кажется, от древесных корней, которые также, в свою очередь, увлажняя соседнюю землю, сообщают ей древесные соки, и в итоге, по моему мнению, заключается тайна грибообразования...

В доказательство же, что одной тени и влажности недостаточно для произведения грибов, можно указать на некоторые породы деревьев, как, например, на ольху, осокорь, тополь, черемуху и проч., под которыми и около которых настоящие грибы не рождаются... Если бы нужны были только сырость, тень и прохлада, то всякие породы грибов родились бы под всякими деревьями».

Аксакова сто лет назад удивляет и поражает следующее обстоятельство: «Всем охотникам известно, что у грибов есть любимые места, на которых они непременно каждый год рождаются в большем или меньшем изобилии. Без сомнения, этому должны быть естественные причины, но для простого взгляда эта разница поразительна и непостижима... У меня есть дубовая роща, в которой находится около двух тысяч старых и молодых дубов... И только под некоторыми из них с незапамятных времен рождаются белые грибы. Под другими же дубами грибов бывает очень мало, а под некоторыми и совсем не бывает. Есть также у меня в саду и в парке, конечно, более трехсот елей — и только под четырьмя елями рождаются рыжики. Местоположение, почва, порода деревьев — все одинаково, а между тем вот уже двенадцать лет как я сам постоянно наблюдаю и

каждый год вновь убеждаюсь, что грибы рождаются у меня на одних и тех же своих любимых местах, под теми же дубами и елями».

Вероятно, в чем-то Аксаков и его современники были счастливее нас. Гриб и без того одно из самых интересных и таинственных явлений природы. Недаром сначала не знали даже, куда его отнести — к растительному или животному царству, думали, что он из разряда полипов. А тут еще непостижимые уму фокусы грибов: любят родиться под этим деревом, а не под тем. Представьте себе какое-нибудь существо, которому дано видеть только яблоки, в то время как сама яблоня для него незрима. Конечно, он будет удивляться, почему в одном месте полно яблок, а рядом — нет ни одного. Теперь-то мы знаем, что грибы, которые растут в лесу и которые мы с удовольствием собираем, это именно, как яблоки, готовые созревшие плоды, тогда как само дерево скрыто от наших глаз под землей.

Да, грибы теперь основательно изучены. Знаем, что грибница похожа на белую паутину. Знаем, что, когда берешь грибы, лучше их срезать ножом, нежели выдирать с корнем. Потому что грибница разрушается и такое собиранье, если уж не уходит от яблок, похоже на то, как если бы вместо того, чтобы аккуратно сорвать яблоко, мы обламывали большой сучок. Установлено сожительство (к взаимной пользе) грибов и деревьев, определен процент того или иного вещества в грибе, даже споры, мельчайшие споры, эта почти не видимая глазом пыльца, измерена до того, что известны ширина и длина каждой отдельной пылинки.

Но потеряло ли прелесть собиранье грибов? Меньше ли радуемся, увидев после долгого ожидания ядреный коричневый боровик?

Разные лунники посажены на Луну. Фотографии Луны с расстояния нескольких метров опубликованы во всех газетах мира. Мы лицезрели лунный камень диаметром пятнадцать с половиной сантиметров. Решено, что почва на Луне пористая и твердая.

Ну и успокойтесь и не волнуйтесь больше, глядя на ночное светило, достаточно пористое и достаточно твердое. Забудьте про волшебные лунные ночи в старинном липовом парке, на тихом и теплом море, над уснувшим восточным городом, в безмолвной пустынной степи, в полуночной украинской деревне...

Но нет, по-прежнему всеильно очарование лунных но-

чей и сознание пористости ночного светила не мешает нам любоваться лунными ночами, как не мешает созерцанию картины то, что известен химический состав красок и даже розничные цены на холст.

Иногда я задумываюсь, откуда в человеке такая страсть. Я имею в виду разнообразные на первый взгляд занятия, но все же такие, которые может объединить общее для них слово — охота. Рыболовство. Рыбалка зимняя, летняя, морская, озерная, на спиннинг, на донку, на самодур, но прежде всего с поплавком. Рыбалка, где радуют отнюдь не килограммы выловленной рыбы. Мне приходилось довольно механически налавливать мешок судаков и восторгаться изловлением карася в полтора килограмма весом.

Охота: по дичи боровой, степной, водоплавающей, на красного зверя, на зайца, на волка, на медведя, на белку, охота с собакой и без собаки, охота, где радость и ликование измеряются отнюдь не центнерами добычи. Можно равнодушно отстрелять лося и считать счастливым случаем добычу обыкновенного русака.

У Аксакова на этот счет читаем: «Охота, охотник! Что такое слышно в звуках этих слов? Что такого обаятельного в их смысле, принятом, уважаемом в целом народе, в целом мире, даже не охотниками. Как зарождается в человеке любовь к какой-нибудь охоте, по каким причинам, на каком основании? Ничего положительного сказать невозможно. Расположение к охоте некоторых людей, часто подавляемое обстоятельствами, есть не что иное, как врожденная склонность, бессознательное увлечение».

Все правильно сказал Сергей Тимофеевич Аксаков. Может быть, нужно только уточнить, что расположение к охоте (в самом широком смысле слова) есть врожденная склонность не некоторых, а положительно всех людей, но что в большинстве случаев это расположение вот именно подавляется обстоятельствами.

У человека самая яркая пора — детство. Все, что связано с детством, кажется потом прекрасным. Человека всю жизнь манит эта золотая, но увь, недоступная больше страна — остаются одни воспоминания, но какие сладкие, какие ненасытные, как они будоражат душу. Даже невзгоды, перенесенные в детстве, не представляются потом ужасными, но окрашиваются в смягчающий, примиряющий свет. Например, моя жена в детстве перенесла голод. Они ели тогда какие-то ужасные, черные, как земля, клеклые блины из полусгнившей сырой картошки. И вот те-

перь, когда за витринами магазинов лежат греческие маслины, копченая рыба, куропатки и даже мясо кальмаров, высшим лакомством для жены остаются эти картофельные оладьи. Они, правда, какие-то немножко не те, несмотря на то что она готовит их сама. Но это лишь потому, что слишком свежа картошка. Ничего не поделаешь. Воспоминание детства.

Но ведь детство было и у человечества в целом. Ничего нельзя было купить в магазине, не существовало столько кафе, ресторанов, магазинов с доставкой продуктов на дом. Все, от лесного ореха до мяса мамонта, от рыбыны до гриба, приходилось добывать самому. В те времена охота, рыболовство, собирание даров леса, в том числе и грибов, было не забавой, не увлечением, не страстью отдельных чудаков, но бытом, повседневностью, жизнью. Точно так же как детство просто человека это не игра в куклы или в солдатиков, но период жизни довольно суровый и ответственный, ибо именно в детстве формируется характер человека, именно в детстве его постигают всякие неожиданности, способные оборвать, довольно слабенькую в то время, ниточку жизни. То, что страшно яблоневому росту, не страшно взрослой крепкой яблоне.

Конечно, добывание себе пищи в первобытные времена было суровой необходимостью, а не забавой. Но теперь, когда прошли века и когда добыча пищи состоит не в том, чтобы стрелять дичь, а в том, чтобы стоять у станка или сидеть в канцелярии, теперь воспоминания о суровой заре человечества, живущие в неведомых глубинах человеческого существа, окрашены для нас в золотистую романтическую милую дымку.

Итак, я считаю, что страсть к охоте, к рыбалке, к грибам есть не что иное, как смутное воспоминание детства человечества, потому сладка и желанна эта страсть. И ведь не просто воспоминание, но можно, оказывается, как бы возвратиться в то самое, прежнее состояние, когда ты один в лесу или на реке и только от тебя самого, от умения, ловкости и смекалки зависит, добудешь ли не добудешь тетерева, щуку, корзину рыжиков или боровиков.

Может быть, некоторые сочтут преувеличением, что собирание грибов я отношу к охоте и называю охотой. Спешу за подкреплением опять к Аксакову.

«В числе разнообразных охот человеческих имеет свое место и смиренная охота ходить по грибы или брать грибы. Хотя она не может равняться с другими охотами более

оживленными уже потому, что там приходится иметь дело с живыми творениями, но может соперничать со многими, так сказать, второстепенными охотами, имеющими, впрочем, свои особые интересы. Я даже готов отдать преимущество грибам, потому что их надобно отыскивать, следовательно, можно и не находить; тут примешивается некоторое умение, знание месторождения грибов, знание местности и счастье... Тут неизвестность, нечаянность, есть и удача и неудача, а все это вместе подстрекает охоту в человеке и составляет особенный интерес».

Но в таком случае нужно отнести к «охотам» и собиране ягод: земляники, малины, брусники, клюквы или орехов, тем более что это все тоже «дары леса» и, значит, так же должны будить миллионилетние воспоминания, о которых была речь двумя страницами выше.

Так, да не так. Нет слова, немало удовольствия можно найти и в собиране ягод. Чтобы не посчитали меня особо пристрастным к грибам, отвлекусь. Но ягода ягоде рознь, не только с точки зрения вкуса, но и добычи.

На первое место нужно поставить землянику. Я думаю, согласятся все, что это самая вкусная из всех лесных ягод. Ни по оттенкам вкуса, ни по аромату ей нет не только равных, но и приближающихся к ней. Когда придешь из леса с полным кувшином и высыплешь этот кувшин на большое плоское блюдо, сразу по всему дому поплывет единственный в мире земляничный аромат. Вспоминаю насчет земляничного аромата у Леонова: «Да и теперь еще в грозу, как поразойдутся, как заскрипят с ветром в обнимку ежескителю боры, как дохнут раскаленным июльским маревом, так даже подушки ночи три подряд пахнут горячим настоящим земляники и хвои... Вот как у нас на Енге».

В детстве набирали букетики земляники, которые, право, не уступают букетикам самых ярких цветов. Чтобы ягода не скатывалась с куса мягкого и тоже по-своему душистого хлеба, мы немного вдавливали каждую ягодку в хлебную мякоть и съедали, прихлебывая молоком.

Но лучше всего есть землянику так: налить в тарелку холодного молока, крепко подсластить его сахарным песком, терпеливо размешивая, пока не растает, а потом уж и сыпать в молоко землянику, по желанию или исходя из того, сколько собрали. Некоторые предпочитают при этом давить землянику в молоке ложкой. Этого делать ни в коем случае не нужно, потому что молоко от земляничной кислоты хотя и порозовеет, но свернется хлопьями.

Про земляничное варенье говорить не буду. Всякая хозяйка, всякий человек, хоть немного понимающий в варенье, считает его вареньем номер один. Насколько я знаю, других видов заготовки земляники не существует. Сушить ее — только портить ягоду, в маринад она не годится. Разве что пастила. Но пастила, по-моему, лишь ухудшенная разновидность варенья.

И вообще, если говорить правду, я противник всякой заготовки этой ягоды. И думаю, что я прав, если исходить из особенной полезности ее для человека. Ну сколько я съем зимой варенья за один раз? Столовую ложку, две, ну три. В то время как можно в разгар сезона съедать по целой тарелке земляники ежедневно, притом земляники первой свежести, не потерявшей не только своих целебных свойств, но и ни капельки аромата, и не только своего аромата, но и аромата окружающего леса, прогретого полдненим солнцем. Правда, эта моя точка зрения не мешает моей жене заготавливать земляничное варенье по пуду и больше.

Да, не только по вкусу занимает земляника первое место из всех лесных ягод, но и по своей полезности для человека и даже целебности. Дядюшка моей жены сильно страдал печенью. Никакие медицинские средства уже не помогали. Подобно тому как больная кошка инстинктивно находит среди разнотравья какую-то нужную ей траву, так и его потянуло на землянику. На весь земляничный сезон он уехал в село, которое так и называется «Ягодное» и которое, как говорят, без усилия оправдывает свое название — землянику собирают ведрами. Наш больной тоже стал собирать землянику. Он съедал в день то, что называется в тех местах — кубан. По-нашему, это кринка. Кринки бывают разные по величине, но надо предположить нечто среднее, то есть около двух литров. Итак, два литра в день в течение всего земляничного сезона. Не знаю, право, как он ее съедал, одну или с молоком, натошак или после обеда, или даже вместо обеда, но болезнь его прошла, чтобы больше не возвращаться.

Первая воля земляники поспевают на порубках, то есть там, где стоял сосновый или еловый лес и где его вырубил, оставив только пни, из которых вытапливаются на солнце медовые липкие капли ароматной смолы. Вокруг этих пней обыкновенно заводятся земляники. А так как порубка открыта солнцу, то земляника поспевают там в первую очередь, особенно если вырубленное место представ-

ляет из себя склон горы или оврага, обращенный к югу. К припору, как у нас говорят, ягоды на таких порубках поспевают гораздо раньше лесных, прячущихся в густой траве и подлеске.

На порубках ягоды бывают помельче, чем в лесу, посуше, почерствее, но пожалуй, слаще. Некоторые порубки так и не зарастают больше, поэтому из года в год на них можно собирать раннюю мелкую ягоду. На некоторых порубках, напротив, начинает подниматься густой молодняк, чаще всего березки и осинки. Поднимается там и трава, земляника из суховатой, «порубочной» превращается в крупную сочную лесную ягоду.

Когда на порубках все обобрано и притоптано, нужно углубляться в лес. Конечно, где попало земляника в лесу не растет. Под плотным пологом леса бывает, что нет вообще никакой травы, не только земляники. Значит, нужно искать открытые земляничные поляны или изреженный лес, где солнце достигает земли, хотя бы и процеживаясь сквозь кроны, сквозь ореховый подлесок, сквозь высокую лесную траву. В траве в таких местах вызревают ягоды, право же, по наперстку. Налитые, сочные, прохладные, они чуточку покислее своих соплеменниц, растущих на пригорках, но, увидев такую ягоду, не променяешь ее на десяток других.

Нужно всегда иметь основную большую посуду, которая может стоять где-нибудь в стороне, и небольшую, скажем, пол-литровую банку. Эту банку сначала привязывают на шнурок, а шнурком обвязываются вокруг поясицы так, чтобы банка болталась спереди на животе, а руки свободны. Часто земляника падает из руки в лесную траву. Первое движение — поднять ее и спасти. Но этого делать не нужно, потому что ее не сразу ухватишь в густой траве, пока подбираешь, она вся изомнется, изрежется о траву, а за это время можно сорвать десяток новых ягод. Но вообще-то я не знаю, от чего зависит успех, в чем состоит проворство. Стараешься, не разгибая спины, не отвлекаешься на постороннее, непрерывно работаешь обеими руками, деревенская женщина, собирающая поблизости, все равно наберет в два раза больше.

Немного попозже земляники поспевает лесная малина, тоже превосходная ягода. У нас в лесах малина растет большей частью по буеракам и по берегам лесных речек, где нстлевают в труху упавшие на землю деревья. Малина, даже и садовая, любит почему-то древесную перегнившую



труху. Обычно малине сопутствуют высокие травы, чаще всего крапива, которая едва ли не перерастает самую малину, а так как в буераках безветренно, как в яме, то сбору малины сопутствует душная жара, настоявшаяся на душистой мяте, на таволге, на той же крапиве. У кого-то из поэтов, кажется у Прокофьева, промелькнула строчка: «И было душно, как в малине». Кто собирал малину, поймет всю точность этого образа.

Идя по малину, нужно и одеваться соответственным образом, чтобы не было голых ног и голых рук, иначе получится не собиранье, а одно мученье.

Лесная малина по сравнению с садовой очень мелка, но гораздо душистей и слаще своей прирученной соплеменницы. Поэтому, даже имея прекрасную крупную садовую малину, деревенские люди любят ходить за лесной. Они употребляют ее исключительно на варенье, которое берегут на случай болезни. Известно, что во время гриппа, ангины и вообще всех тех болезней, которые называются в деревне одним словом «простуда», ничего не может быть полезней малинового варенья, особенно из лесной малины.

Культивируя ягоду, мы, конечно, облагораживаем ее, укрупняем, изменяем в выгодную для нас сторону. Садовая земляника, то, что в обиходе мы называем «клубника» и что горам лежат на базарах, во много раз крупнее лесной. Я думаю, что хорошо задавшаяся земляничина заменит по массе пятнадцать — двадцать лесных. У малины хотя и не такая заметная разница, однако нужно четыре-пять ягод из буерака вместо одной из сада. Но что-то мы все-таки не можем им дать взамен утраченного ими лесного приволья. И это касается не только ягод. Черно-бурая лисница, выращенная на ферме, не стоит и половины цены лисницы, добытой в тундре. Жемчужины, выращенные в японских питомниках, в тех же самых жемчужных раковинах, все же на рынках так и называются японским жемчугом, в отличие от просто жемчуга без всяких эпитетов.

К середине августа поспевают орехи. В наших лесах, хоть они и невелики, очень много орешника, но не всегда выпадает урожайный год. Я не знаю, от чего это зависит. То ли от неблагоприятной для орехов весны, то ли еще от каких причин.

Известно, что орешник цветет самым первым, पहले даже ольхи. У пчеловодов, которым важно знать, когда что цветет, цветение орешника служит своеобразным эталоном, или, скажем, началом шкалы, вроде нуля на термометре,

или вроде первого января. В пчеловодских календарях, если хотят указать, когда цветет то или иное растение, обозначают количество дней после цветения орешника. Например, липа зацветает на семьдесят второй день.

От самого орешника никакой пользы пчелам нет, потому что опыляется ветром.

(«По-моему, это выражение, — мягко замечает один из читателей, — не совсем правильно, ибо пчелы ранней весной от орешника (лещины) берут пыльцу и как белковый корм она идет на развитие пчелиной семьи. В этом и заключается польза орешника для пчел».

Мне, разумеется, остается только согласиться с читателем.)

Стоит потряхнуть ветвь цветущего орешника, как тотчас в прозрачном ранневесеннем воздухе возникает светло-золотое, чуть зеленоватое облако — из сережек высыпается пыльца. Облако будет тихо расширяться в воздухе, если он неподвижен, и оседать, или может быть, его развевает ветерком и пыльца попадет на женские цветы, ждущие оплодотворения.

Орешник — в некоторых местах его называют лещиной — широколиственный кустарник, который выгоняет, однако, свои стебли до вершины деревьев. Куст растет из компактного основания, то есть все стебли около земли собраны в тесный пучок, но дальше, вернее выше, они развешиваются в разные стороны, занимая много пространства под солнцем и принимая не последнее участие в образовании плотного полога леса. Листья у орешника шершавые, а сами стебли, напротив, очень ровные и гладкие. Молодые ореховые побеги, прутья очень хороши на плетение корзин и верш, а более старые идут на удилице, на плетни, на розвальни и на всякие крестьянские поделки, где нужно какое-нибудь грубое плетение. Разумеется, если вам нужна очень прямая и крепкая палка, ни из чего вы ее не вырежете с таким успехом, как из орехового куста.

На этих-то кустах в августе созревают орехи. Каждый орех спрятан в зеленое гнездышко, у основания очень плотное, а далее расходящееся бахромой. Эти гнездышки сростаются друг с другом, так что редко увидишь на ветке одиночный орех. Чаще попадаются парные, а также по три, по четыре, по пять орехов в одном... не знаю, как сказать. Конечно, по существу, это гроздь, так и надо бы го-

ворить. Но у нас почему-то говорят: «гроно», «гронья», «большое гроно попалось», «гронья в этом году мелкие». Как бы там ни было, орехи растут, соединившись друг с другом своими зелеными гнездышками.

В августе, когда охотники до орехов устремляются в лес, а орехи еще только начали созревать, каждый орех сидит в гнездышке очень крепко, не вылушивается. Можно вылущить его зубами, раздавив сочное гнездо. Зеленая масса гнезда очень кислая. Если очистить несколько орехов подряд, начинает драть губы и десны, а в особенности уголки губ.

В эту пору, когда раскусишь орех, увидишь ядрышко, еще не заполнившее все свое помещение. Оно лежит, очень нежное, сочное и сладкое, в белой ватке, как желток в окружении белка. Постепенно ядро достигает стенок ореха, а затем и черствеет, то есть делается тем самым вкусным ядром, ради которого орех срывают.

Орехи очень ловко прячутся в шершавой листве. Мало пользы стоять под кустом и разглядывать, не увидишь ли ореха. Конечно, в конце концов увидишь, но один или два из двадцати. Проще нагнуть лозу, а потом перебирать по ореховой ветви руками от основания к концу ветви, как бы одаивая ее. Тотчас рука услышит в мягкой листве жесткий комок орехов.

Целеустремленность в это время такова, что, может быть, топчешь прекрасные грибы или ягоды, но нет до них никакого дела. Смотришь только вверх, в густоту ветвей, испестривших синее августовское небо. И вообще я замечал это странное устройство психологии: только вчера собирал в лесу ягоды, попадались грибы, но все было направлено на землянику. Через день придешь в этот лес по грибы, не сорвешь ни одной ягоды не только в посуду — в рот.

Орехов постепенно нанашивают мешок и больше. Вылущить такое количество орехов — нелегкий труд. Но делают так. Кладут орехи в кадку, придавливают тяжелым гнетом и оставляют на неделю или на две. Вынутые из-под гнета орехи вылушиваются очень легко. Останется их немного подкалить. И тогда в какой-нибудь осенний праздник, в покров например, бабы усядутся на крыльце и одна перед другой будут щелкать каленые орехи.

Итак, вот вам еще три охоты, потому что если называть охотой собирание грибов, то чем хуже земляника и орехи. Но здесь нужно решительно сказать, что разница велика и что собирание ягод никак не дотягивает до высоко-

го и ко многому обязывающего ранга охоты. Прежде всего — однообразие. Собирая землянику, вы и не надеетесь ни на что другое. У вас не может быть затаенной надежды на радостную неожиданность, на особенную удачу, на редкость, на находку, на сюрприз. То же можно отнести и к малине и к орехам, но нельзя отнести к грибам. Разнообразие видов грибов, их разные качества, разный вкус, разная красота создают тот очевидный интерес во время поисков, которого нет в описанных нами случаях.

В этих случаях разнообразие может быть только в одном: больше или меньше. Три литра земляники или два литра земляники, половинка торбы орехов или полная торба. Но ни разу не замрет сердце, как это бывает, когда выйдешь на вереницу ядерных рыжиков или на особенный по красоте белый гриб, затаившийся под елкой.

Недавно был описан случай. Под Владимиром, в районе загородного парка, представляющего, правда, обыкновенный сосновый лес, грибники нашли белый гриб. Высота его была сорок сантиметров, ширина шляпки шестьдесят, толщина ножки двадцать шесть, весил он около шести килограммов и был без единой червоточки. Что может противопоставить земляника или малина восторгу от такой редчайшей находки? Ну пусть это действительно редкость. Все равно и более обыкновенные грибы чрезвычайно разнообразны. Грибы ищешь, а ягоды просто собираешь. Собираание их больше похоже на однообразную и довольно утомительную работу, когда ползаешь по земляничной поляне на четвереньках или даже сидишь, обирая место вокруг себя. Я уже не говорю о таких ягодах, как черника, брусника или клюква. Добыча их даже и не работа, а промысел. В более северных местах существуют специальные гребки для собирания этих ягод. Эти гребки представляют из себя гладкий деревянный лоточек, наподобие того, которым черпают муку. Но оканчивается лоточек не ровным краем, а частыми параллельными зубьями. Ветки клюквы или брусники проскальзывают между зубьями, а ягоды попадают в лоток. Нагребают брусники или клюквы пудами. Где же тут охота, какой же тут азарт, кроме довольно низменного азарта нагрести побольше.

Значит, нужно признать, что из всех лесных даров, по крайней мере в наших лесах, только грибы могут удостоиться высокой чести и называться предметом охоты наравне или почти наравне с дичью и рыбой.

Я не могу себя отнести к охотникам хотя бы любитель-

ской категории. Как и во всех остальных делах, существующих на земле, я и здесь — дилетант. Но все же немало ро-систых утр или серых деньков с то и дело накрапывающим дождем провел я в грибных перелесках и знаю радость от редкой удачи и знаю в лицо почти каждый гриб, и есть у меня доля объективности, которая никогда не позволяла мне опрометчиво наклеивать на гриб ярлык «поганки» только за то, что гриб мне пока не знаком.

Мои первые грибные воспоминания относятся к раннему, почти бессознательному детству. Моя старшая сестра Катюша упала с лошади и повредила себе позвоночник. Ей долгое время нельзя было нагибаться. А так как она с юности большая любительница природы (и очень хорошо ее чувствует), то невозможность рвать цветы или собирать грибы приносила ей дополнительные страдания. Мне тогда было, вероятно, года четыре, а ей около двадцати. Свободного времени у нас было поровну. И вот она догадалась на прогулке брать меня. Теперь ей нужно было только увидеть цветок или, вернее, выбрать тот, который хочется сорвать, а я, бегавший возле нее, немедленно приводил в исполнение ее желания.

Особенным расположением у Катюши пользовались незабудки, ночные фиалки и ландыши. Незабудки, с их чистой небесной голубизной, она сплетала в венок, который клала в белое фарфоровое блюдо и заливала водой. Венок плавал и жил очень долго.

Ночной фиалкой, не знаю, правильно ли, у нас называют любку двулистную, эту скромную среднерусскую орхидею, расцветающую в июне, в лесу, где сравнительно влажно. Обыкновенно ночные фиалки бывают белые, но и встречаются лиловатого цвета.

Катюша невольно добилась того, что их своеобразный аромат стал ароматом моего детства. Как только услышу запах фиалки, так раздвигаются шторы, и я как сейчас вижу прибранную Катюшину комнату в нашем доме, в которой всегда почему-то в самую жару было прохладно и всегда стояли цветы.

Не меньше цветов Катюша любила собирать грибы. До ближайшего лесочка от нашего дома не больше трехсот шагов — сосны и ели без примесей других пород. Этот лесочек для нас своеобразный контрольный участок: появились грибы в нем, можно идти в другой, большой лес, километра за два, за три. Но Катюша не могла ходить далеко, и мы все время паслись в ближних сосенках и елоч-

ках. Моя задача оставалась той же, что и при собираннии цветов — брать, что увидела Катюша.

Таким образом, мой первый увиденный гриб — это маленький крепенький масленок, с круто заостренной шляпкой, покрытой темно-коричневой, красноватой, даже маслянистой кожицей. Ножка толстая, крепкая и короткая. Испод гриба затянута белой пленкой. Когда ее уберешь, откроется чистая желтоватая, лимонного оттенка нижняя сторона шляпки и на ней две-три капли белого молочка. Именно такие боровые маслята родились в нашем лесочке. Мы брали самые ядреные, величиной не более колечка, образуемого большим и указательным пальцем. Я сейчас их вижу в траве, растущие вереничками. Потянешься за одним — увидишь еще пяток. Попадались совсем крохотные маслятки из тех, которые потом в маринованном виде никак не уколешь вилкой на тарелке, настолько малы и юрки.

Так как мне хотелось принимать участие в разборке, в чистке грибов, то вот еще одно мое самое первое грибное воспоминание: черные пальцы рук, которые потом не отмываются три дня. Поминтся, я очень стремился к тому, чтобы содрать пленку с шапочки за один прием, чтобы она сиялась вся целиком, а гриб чтобы остался красивым и целым. Но это мне никак не удавалось. Грибы после меня получались истерзаннми, с обломанными краешками, и я завидовал взрослым, которые с легкостью исполняли то, к чему я безуспешно стремился.

Вообще же для меня разбор грибов ничуть не меньшее удовольствие, чем их собиранние, разумеется, если разбираешь свою корзину. Устанешь после долгого блуждания в лесу. Может быть, даже вымокинешь под дождем. Хорошо переодеться в сухое, позавтракать, попить чаю, отдохнуть за хорошей книгой либо даже вздремнуть, если поднялся, пока не рассвело.

А ведь нужно подняться, когда еще не рассвело. Пока собираешься, пока идешь до леса, успеет рассветать. Дело тут не в том, чтобы опередить других, но есть особенная прелесть на любую охоту выйти рано утром. На рыбалку — понятно: рыба на рассвете лучше клюет. К грибам это условие никак не относится, и тем не менее большая разница, когда войти в грибной лес: на чутком, затаен-



ном рассвете, по безмолвному приятному холодку либо в жаркий полдень, когда и в лесу и в душе какое-то вовсе не грибное настроенное. В полдень хорошо собирать ягоды, лесную малину, орехи, но никак не грибы. Немало значит и уверенность, что не прочесали еще этот лесок досужные соперники-грибники.

Может быть, я говорю лишь про себя, может быть, все остальные любят ходить по грибы в полдень либо даже к вечеру — не знаю. Но думается, что недаром у французов «рано утром» называется «бонер» — то есть «прекрасный час». Так вот, я люблю прекрасный час. Для меня дороже всего войти в лес, когда в лесу еще сумрачно, и тихо, и нетронуто, и под первой же елью ждет твой первый гриб, как будто он нарочно вышел поближе к опушке, чтобы первым попасться на глаза и обрадовать. Уж если у самого края нетронутые грибы, то, значит, действительно ты первый и можешь ходить спокойно, не торопясь, не опасаясь за свои любимые места, до которых дойдешь не сразу. Правда, может случиться так, что вдруг начнут попадаться обрезки, грибная стружка, а при подходе к самому заветному месту услышишь приглушенные голоса: грибники, как и рыболовы, не любят лишнего шума и громких разговоров. Ну что ж, оно хоть и твоё заветное, но тоже не твоё. Определили — не сетуй. Всякая охота предполагает и удачу и неудачу, грибная охота в том числе.

В ранний час чаще случаются в лесу и посторонние, не грибные приключения. То увидишь двух играющих белок и замрешь и будешь следить, пока не надоест или пока они не убегут. То выскочит навстречу озабоченная лиса, то перебежит дорогу деловитый работяга ежик, то вырвется с оглушительным хлопаньем крыльев дикий голубь вяхирь. Почему-то дневной жаркий час скучнее и такие развлечения, чем утренний, прохладный, не сбросивший с себя ночной дремоты.

И потом надо же поймать тот час, когда косые лучи солнца начнут пронизывать лес, словно золотые спицы, заывая в мохнатой хвое, с трудом пробираясь до замшелой влажной земли. Сильный сумрак, изрезанный такими золотыми прожекторами, начнет клубиться у подножия лесных великанов, цепляясь за сучья и поднимаясь все выше и выше. Прекрасен утренний лес, когда ты в лесу один.

Правда, я больше люблю ходить в лес в тихие, пасмурные дни, даже если временами начинает сеять мелкий не-

шумный дождь. Приятно слушать его вкрадчивое успокаивающее шуршание по листьям деревьев. Если дождь усилится, можно спрятаться под старую ель и переждать. Но, конечно, нужно иметь в виду, что, если выйдешь из-под ели совершенно сухим и если дождь уже перестал, все равно потом вымокнешь от мокрой травы, от ветвей кустарника, которые придется раздвигать и которые будут обдавать обильным душем той самой дождевой водой, от которой только что так удачно спасся под старой елью.

Еще приятнее уйти в лес в осенний день с пронзительным холодным ветром. Бывают осенью дни, когда хотя и солнце, но из северного угла тянет таким леденящим воздухом, будто Арктика приблизилась и находится теперь за лесом, что на горизонте. Дядя Никита Кузов говорил в таких случаях: «Дует из незамщенного угла». Незамщенный, то есть, значит, не утепленный мхом между бревнами — применительно к крестьянской избе. Если бы в избе действительно оказался один угол неутепленным, то, конечно, из него зимой тянуло бы стужей на всю избу. Выражение «незамщенный угол» северной части нашего горизонта представляется мне очень удачным. Так вот иногда леденяще дует из этого самого незамщенного угла.

Ни на реке, ни в поле в это время нечего делать. Отвыкшие от зимнего холода лицо и руки зябнут, да и самому нужно одеваться как можно теплее, чтобы не продувало.

В такой день одно удовольствие оказаться в лесу. В лес заходишь, как с улицы в теплый дом, тихо, уютно. Если попадется поляна в окружении позолотевших берез, можно полежать на мягкой траве, где по-летнему пригревает солнце.

Но вообще-то были бы грибы. Погода — дело второстепенное. Радостно и в дождь, и в холодный ветер, и в грозу возвращаться домой с полной корзиной. Невесело в самую лучшую погоду идти пустому. Сколько раз приходилось ходить в лес просто на прогулку. Идешь тогда с пустыми руками, и душа спокойна. Но стоит взять кузовок, как появляется совсем иная психология. Казалось бы, есть в жизни проблемы поважнее, есть и удачи крупнее, нежели два-три десятка грибов, есть и огорчения острее, нежели пустая корзинка, но если бы кто знал, как неловко идти через все село, неся пустой кузовок! Стараешься поскорее, незаметно прошмыгнуть до дома. Впрочем, если кто из сельчан сумеет заглянуть в пустую корзину, обязательно





*Говорушка серая*



*Лопастник*



*Колпак кольчатый*



*Лаковица розовая*



*Вешенка*



*Головач*



*Зонтик пестрый*



*Мокруха еловая*



*Рядовка фиолетовая*



*Рогатик*



*Чешуйчатка*

покачает головой и постарается утешить: «Да, нет еще, значит, гриба. Что-нито ни так. Он ведь гриб, что? Для него законы не писаны. Бывает, и дождь, и тепло, и все условия, а его нет. Он ведь областному начальству не подчиняется».

Впрочем, с тех пор как постепенно узнал и убедился, что в наших подмосковных, владимирских, вообще в среднерусских местах произрастает около двухсот видов и разновидностей грибов, из которых только шесть ядовиты и четырнадцать не съедобны, я редко прихожу, чтобы совсем пустая корзина. В ней может не оказаться именно тех грибов, которые берут все и повсеместно, но как на безрыбье и рак рыба, так же на безгрибье и какая-нибудь говорушка серая или мокруха еловая — гриб. Я, пожалуй, назову несколько грибов, которые, вероятно, не знакомы, так сказать, среднему грибнику. Вешенка (обычная, осенняя и рожковидная), гриб — зонтик пестрый, ивишень, колпак кольчатый, лаковица розовая, рядовка (желтая, красная, серая, скрученная, фиолетовая), чешуйчатка (золотистая и травянистая), баран-гриб, печеночница обыкновенная, рогатик (желтый и языковый), головач (круглый и продолговатый), порховка (свицовой-серая и черноватая), лопастник (бороздчатый, курчавый, ямчатый)...

Все эти грибы съедобны, вкусны, все они произрастают в наших лесах, но обходятся грибниками. Я уж не говорю о таких породах грибов, которые всем известны, но не берутся из пренебрежения. В деревьях мало кто берет валуй, свинушку, луговой опенок и даже шампиньоны. Условность здесь, как и во всяком деле, связанном с пищей, велика. Говорят, сибиряки берут только грузди, пренебрегая всеми остальными грибами, белыми в том числе.

Я не хочу сказать, что я сам, когда в лесу полно рыжиков или подосиновиков, хватаю все эти рогатики, лопастники, мокрухи и дождевики. Но есть особенный интерес в том, чтобы набрать грибов в безгрибное время, вернее, считаемое безгрибным, потому что, начиная с апреля и кончая заморозками, в лесу растут хоть какие-нибудь, да грибы.

Как бы ни устал, как бы ни намок в лесу под дождем, как ни приятно после грибного похода напиться чаю и отдохнуть, все же еще приятнее сначала разобрать корзину. Нужно поставить около себя несколько пустых посуды — больших блюд, хлебных плошек, противней и кастрюль. В одну посуду пойдут грибы на белую сушку, то есть грибы

исключительно один белые. В другую посуду откладываются сушка черная — крупные маслята, крупные подберезовики и подосиновики и вообще всякие трубчатые грибы, которые по размеру или по виду не годятся на жаркое и в маринад. На сковороде откладываются шампиньоны, часть мелких масляток, часть лисичек, часть мелких подосиновиков, можно добавить для букета и два-три белых. Большую часть масляток, лисичек, свинушек и молоденьких подосиновиков следует отложить для маринада. На почетную посуду отделяются рыжики. Два сорта грибов для солки. Первый сорт грузди, волиушки, некоторые разновидности сыроежек; похуже — скрипицы, млечники, валуи.

Каждый гриб еще раз оглядишь, снимешь прилипший листок или хвойные иголки, улитку, припутешествовавшую из леса, разрежешь гриб пополам или на части.

Пока перебираешь грибы, вспомнишь о каждом, где нашел, как его увидел, как он рос под кустом или деревом. Еще раз переживешь радость от каждой находки, особенно если были находки редкие и счастливые. Еще раз проплывут перед глазами все картины грибного леса, все укромные лесные уголки, где теперь тебя нет, но где все так же хмурятся темные ели, все так же лопочут на своем языке тронутые багрянцем осины.



*Груздь*



*Свинушки*



Итак, мои грибные воспоминания начинаются с воспоминания о маслятах. Кажется, правильно, по-книжному, их называют масляниками, но я никогда к этому не привыкну. Масленок, маслята, маслятки — зачем им какое-нибудь другое название?

Название это произошло от вида гриба или даже, вернее, от ошупи. Все знают, что масленок покрыт поверх кожицы слизью. Но вот что интересно: настолько симпатичны людям эти грибы, что они не прозвали их как-нибудь унизительно, например слизняки, или склизняки, или даже сопляки, что тоже было бы верно, но — маслята. Известно, что все скользкое, склизкое вызывает в народе если не отвращение, то пренебрежение. Однако маслята избежали этой участи. Не склизкий, но масляный, совсем другие воспоминания, совсем другое отношение: масляными могут быть и блин и каша или, как в песенке про петушка, «шелкова борода, масляна головка».

Наверно, не у одного меня первым грибом был масленок. Не ручаюсь, что он самый распространенный гриб в наших среднерусских лесах, может быть, валуев или лисичек растет больше, чем маслят, но все-таки масленок первым умудряется попасться на глаза. Этому немало способ-

ствуется, наверно, то, что местом его обитания являются лесные опушки.

Если сравнивать с цветами, то масленок, как одуванчик. Может быть, других цветов: незабудок, лютиков, кашки, кошачьих лапок — не меньше, чем одуванчиков, расцветает на земле, но все-таки деревенские девочки свой первый в жизни венок сплетут не из купальниц и даже не из васильков, но из солнечных одуванчиков.

Итак, лесные опушки, правда, не всякие, но сосновых, преимущественно молодых лесов. В старом бору, вероятно, уж не встретишь масленка, зато молодые сосенки с зеленой травой между ними — любимое место обитания маслят. Нужно вспомнить, что, помимо основного названия, у этого гриба есть еще имя — его называют «сосновик».

Если известно, что каждый гриб сожительствует с определенным деревом, то отдадим справедливость — масленок выбрал не самое плохое. Если же, наоборот, дерево выбирает грибы (мы про это пока ничего не знаем), то и у сосны неплохая репутация, хороший вкус: боровой рыжик и даже сам боровик.

Хорошо это дерево в пору молодости, когда оно еще не дерево, а деревце, ярко-зеленое, пахучее, стройное. Радостно на него смотреть, когда весной оно выгонит вверх свои нежные, почти белые свечи. В это время все ветви у сосенки горизонтальны и только свечи растут прямо, и все дерево похоже на огромную люстру, уставленную свечами.

В пору цветения, если тронуть сосну, она окутывается золотистым душистым облаком пылицы. Вскоре появятся на ней ярко-зеленые лаковые шишки, которые впоследствии расщербинятся, потеряют семена и упадут на землю. Тогда их можно собирать — годятся разводить самовар.

Если сосна растет на отшибе от леса, то дерево будет низкорослое, узловатое, распространяющее во все стороны длинные мохнатые ветви. Ствол такого дерева не только узловатый, но и кривой, сучья — один короче, другой длиннее, один пушистее, другой суше. Не то в лесу.

Когда сосны растут близко друг к дружке рошей или бором, каждое дерево тянется вверх, к солнцу, старается перерастить своих соседей, но и соседи тоже не отстают. Нижние сучки у таких деревьев отсыхают и падают на землю. Дерево вытягивается длинное и ровное, как струна или свеча. Высоко вверх, кажется, что под белые облака

поднимают сосны темно-зеленые матовые облачка своих крои. Тогда говорят — строевой лес, а в пору полной зрелости — корабельная роща.

Вокруг молодых сосенок — зеленая трава, лесные цветы, в старом лесу — белый мох, черника, папоротник. Под молодыми сосенками бесполезно искать белые грибы — боровики, в бору-беломошнике или в бору-черничнике не встретить маслят. Всею свое время.

Даже воздух, знаменитый сосновый воздух не один и тот же. В молодых сосенках более пахнет нежной смолой зеленых игл, в старых соснах — зрелой терпкой смолой древесины. В молодых сосенках — привкус солища, в старом бору — привкус сырости, влаги.

Не знаю, где лучше и что было бы можно предпочесть. Масленок выбрал себе молодые сосенки и водится преимущественно около них. Если же встречается среди взрослых сосен, то в редколесье, в сильно изреженном лесу, про который даже и не скажешь, что это лес, но просто — сосны.

Маслята — народ исключительно дружный. Где один, там и еще пяток. Да разве пяток! Длинные вереницы прячутся в зеленой траве то красновато-бурые, то красноватые. Пока срезаешь одну вереницу, увидишь новые, там, там, по всей опушке, не знаешь, на что смотреть, с чего начинать — разбегаются глаза.

Хорошо, если пришел вовремя и все грибы одни к одному крепенькие, прохладные. Но бывает, нападешь на россыпь маслят, а они, как один, червивые, застарели, переросли, обсохли. Срезаешь их десятками, так, на всякий случай, но в корзину попадает один из ста.

Из-под земли маслята вылезают одни из первых, уже в начале июня их можно собирать. В это-то время их главным образом и берут, пока нет в обильном количестве ни подосиновиков, ни белых, ни рыжиков, ни груздей. Потом, когда начнется настоящее разногрибье, маслятами как-то пренебрегают, и, между прочим, зря.

Конечно, белый есть белый, и груздь есть груздь. Но если сравнить с подберезовиками или с подосиновиками, то я решительно не знаю, почему нужно отдавать предпочтение последним. Масленок один из самых вкусных качественных грибов.

Если принять четыре способа приготовления грибов, то есть: жарить, сушить, мариновать и солить, то маслята участвуют в первых трех способах, избегая одной только

солки. Жареный масленок очень нежен и душист, тем более что благодаря обилию маслят всегда можно отобрать для жарки только самые молодые грибки. А так как маслята появляются действительно одними из первых, то обычно им приходится разговляться после долгой зны. В разговении же, как известно, — особая сласть.

Здесь я хотел бы сделать маленькое отступление, касающееся грибов, которые жарят. Долгое время я не знал, что жареные грибы можно запастись на целую зиму. Впервые просветила меня на этот счет Мария Илларионовна Твардовская. Во время какого-то очень важного приема, где то и дело произносилась высокая речь о социализме, положительном герое в советской литературе и теории бесконфликтности, мы оказались в стороне, и разговор пошел в нужном направлении.

— Как! — воскликнула Мария Илларионовна. — Вы не знаете?! А мы всю зиму едим прекрасные жареные грибы.

— Мы тоже иногда покупаем свежие шампиньоны.

— Какие шампиньоны? Настоящие лесные грибы!

Способ оказался чрезвычайно простым. Хорошо пожаренные без лука и без всяких специй грибы плотно укладывают в стеклянную банку и заливают топленным маслом. Масло застынет, и в этом состоит вся консервация. Ну, конечно, держать лучше в прохладном месте. Способ этот, оказывается, древний, пришел из барских усадеб, типа ларинской, где жили исключительно своими припасами. Теперь, когда в ходу пастеризация и крышки и машинки для закатки стеклянных банок, вероятно, можно обойтись без топленного масла и консервировать жареные грибы так же, как консервируют любой компот. Но я хотел сказать о другом.

Должно быть, существует сезонность не только в произрастании, но и в потреблении. Например, с весны и в самом начале лета нет цены свежему, хотя бы и парниковому огурцу. Разрежешь вдоль и первым делом понюхает, жадно втянешь свежий огуречный, слегка горьковатый аромат. В июле и в августе всякий человек, я думаю, откажется от свежего огурца в пользу пахнущего укропом малосольного огурчика. Хотя и есть поговорка насчет земляники в январе, согласимся, что как-то мы в январе о землянике не вспоминаем. Пожалуй, в январе интереснее хорошо заваренный горячий чай с земляничным вареньем, нежели сама земляника.

Да, воспользовавшись рецептом, мы произвели заготовку жареных грибов. И что же? Всю зиму они простояли у нас в запасе. Нынче, завтра, оттягивали, откладывали под разными предлогами, а потом и совсем забыли. Оказывается, зимой не тянет на свежие грибы. И второе дело. Едва-едва появилась возможность, я схватил кузовок и отправился на поиски самых первых, то есть самых сладких грибишек.

— Ты куда? — остановила меня жена.

— По грибы.

— Что ты! У нас прошлогодних две трехлитровые банки. Нужно сначала их съесть, а потом идти за свежими.

Нет. Все-таки стоит просидеть зиму совсем без свежих грибов ради того дня и того часа, когда зашипят на сковороде только что сорванные, самые первые в этом году грибы.

Итак, маслята хороши в первую очередь в жареном виде. Они очень нежны и душисты. Им в большей степени присущ тот аромат, который и является собственно грибным.

Что касается заготовки впрок, то маслята либо маринуют, либо сушат. И то и другое хорошо. Для маринования отбирают грибы помельче и покрепче. Раньше, я помню, у нас в доме, когда все еще делалось по-домашнему и, как говорят, «руками», отбирали для маринада только самые мелкие грибки. Я думаю, в маринад не попадало гриба крупнее трехкопеечной монеты. Да еще нужно иметь в виду, что каждый грибок уменьшится во время варки. Даже удивление возьмет, когда видишь грибы на тарелке, как это разглядели в лесу в траве и как это их очистили от кожицы. Кажется, нельзя его взять в пальцы, настолько мал.

Основная масса маслят уходила в сушку. Во время постов и в постные праздники варили грибные супы. Суп из маслят очень вкусен, но я боюсь его настойчиво рекомендовать, когда можно употребить на суп грибы, специально предназначенные для этого. Маслята же, смешав с другими сушеными грибами — подосиновиками, подберезовиками и опятами, — лучше всего тратить на грибную икру.

Итак, масленок один из самых вкусных и здоровых грибов, растущих в наших местах. Если же в разгар грибного сезона его берут не так охотно, как другие гри-



бы, то этому может быть только две причины. Первая кроется в самом изобилии маслят и в том, что они, не успеешь подойти к лесу, так и лезут на глаза. Вторая причина, мне кажется, в том, что это единственный гриб, который нужно чистить, то есть с которого необходимо сдирать кожицу. И хотя кожица сдирается очень легко, но если маслят много и если они мелкие и склизкие, то чистить их очень кропотливая и надоедливая работа. Руки после маслят делаются черными, и чернота эта долго не отмывается. Согласитесь, что проще собирать грибы, с которых нужно отряхнуть только лесной мусор и можно класть на сковородку или бросать в горшок.

Чтобы закончить разговор о маслятах, расскажу маленькую историю, связанную с этими грибами, которую можно было бы назвать «Как сейчас помню».

Моей матери восемьдесят четыре года. Я не знаю, как она вспоминает всю свою жизнь про себя. Может быть, подробно и последовательно, год за годом, этап за этапом: девичество, свадьба, дети, крестьянствование, войны и беды. Но некоторые эпизоды, очевидно наиболее яркие, у нее оформились в этакие устные рассказы, сформулировались и обособились. Рассказывает она их всегда одними и теми же словами, забывая, что уже рассказывала то же самое не один раз. Так, например, я знаю, что если завести разговор о грибах и коснуться рыжиков, то она, вдруг очнувшись от постоянной теперь дремоты, посветлеет, улыбнется и скажет:

— Теперь что за грибы. Вот бывало...

— Ну а что бывало?

— Один раз пошла я по грибы в посадку, на Барки, думала, похожу среди елочек, поищу. Зашла за первую елочку, а рыжики стаями, стаями, вереницами во все стороны, нельзя даже ходить. По грибам ходить — жалко. Я



*Маслята*

встану на колени, выберу вокруг себя, на один шаг переступлю. Ползаю этак-то между елочек, а рыжиков все не убывает. Режу, режу, и конца не видать. Чем больше режу, тем больше рыжиков вокруг меня высыпает. Устала, пошла домой за лошастью. Ну, жизнь тогда была простая. Запряг Леня (то есть, значит, мой отец Алексей Алексеевич) Голубчика, поставил на дроги коробицу. Целая коробица рыжиков набралась. Как сейчас помню я эти рыжики. Встанешь на колени, а они вокруг вереницами, стоями в зеленой траве...

Этот случай сильно врезался в память моей матери. Однажды она рассказала его, сформулировала для себя и теперь, если зайдет речь, пересказывает как наизусть одними и теми же словами. Помнит она о нем вот уже пятьдесят или шестьдесят лет, и, хотя в остальные годы никаких грибных событий не совершалось, может быть, даже вовсе мало было грибов, все равно мать иногда говорит: «Теперь что за грибы. Вот бывало...»

В Журавлихе, перед самым входом в нее, есть молодая посадка. Рядами стоят одна к одной сосенки. Я помню, когда они были мне до колен, а теперь вот переросли меня. Даже если я подниму руку, все равно меня не будет видно из-за пушистых и ровных сосенок. Посадка занимает меньше места, чем те Барки, на которых мать набрала некогда коробицу рыжиков, но все же отчего бы и здесь не завестись грибам.

Однажды, в начале лета, когда все ждут появления первых, самых ранних грибов, прошел слухок, что кое-где видели маслята. Я вспомнил про молодые сосенки и подумал, что если где-нибудь и показались маслята, то, наверное, там. Мы с женой взяли большой полутораведерный кузовок и отправились на разведку. Дело клонилось к вечеру, но очень не хотелось дожидаться утра. Посадочка небольшая, решили мы, обегая за тридцать минут. Если действительно есть грибы, то завтра утром отправимся в большой, настоящий лес. А теперь так себе — легонькая разведка.

Издалека увидели мы перед сосенками, в траве что-то желтое, словно насорено ярких осенних листьев. Но откуда взяться осенним листьям в начале июня? Пожалуй, это не листья, а грибы.

И точно — кругом огибая сосенку, словно взявшись за руки и водя хоровод вокруг нее, кружились маслята. Тот гриб наклонился на одну сторону, тот на другую, как в

бесшабашной пляске, те низко присели, те, напротив, привскочили на цыпочки. Досадно, что чуточку переросли. Быть бы им поменьше, поядренее. Эти все, наверно, тронуты червяком. Сразу ведь по виду, по размеру определяешь, что можно ждать от гриба, хотя бывают и радостные неожиданности. Без всякой надежды срезаешь боровик, а он крепкий, тяжелый, словно свиное сало, и ни одной червоточинки.

Наши маслята все были в половину чайного блюда, желтые и светло-желтые, а не то чтобы темно-коричневые и с белой пленочкой с нижней стороны. Но, к нашему удивлению, все маслята оказались свежие, здоровые, совсем не тронутые червяком. Попадались и помельче, попадались и по чайному блюду, но зато не попадались негодных.

Сначала мы срезали их стоя, потом опустили на колени, можно бы и лежа, переползая с места на место. Я в своей жизни не видел такого обилия маслят. К тому же они были очень споры из-за своего размера. Нашу полотораведерную корзину мы наполнили моментально, не обойдя и пяти сосенок. А их ведь тут, сосенок-то, не десятки, а сотни. Пришлось высыпать грибы в кучу, на траву. Корзина за корзиной, куча все растет, а грибов в лесу не убывает. У моей спутницы опустили руки с обломком столового ножа.

— Знаешь что, если мы каждый день будем собирать постольку грибов, куда же мы их будем девать?

— Ты помнишь, как моя мать рассказывает про рыжики в барских елочках?

— Конечно, помню. Твой отец приезжал за ней на лошади с коробицей.

— Да. Это было шестьдесят лет назад. Я представляю, как ты через шестьдесят лет будешь рассказывать своим правнукам, шамкая беззубым ртом: «Как шейчас помню, пошли мы в шошенки по грибы... точно не скажу, то ли в шестидесятом, то ли в шестьдесят пятом году, а может, и раньше, но определенно после Отечественной войны, потому что была уж я замужем...»

Мы посмеялись и снова принялись за маслята, но тут стемнело. Да, это выпал нам тот самый день, который выпадает один раз в про который вспоминают потом, сколько бы лет ни прошло.

Ни Голубчика, ни коробицы не оказалось в нашем хозяйстве. Пришлось заводить автомобиль и ехать за добы-

чей. Всего мы насобирали в этот раз за какие-нибудь полтора часа двенадцать ведер маслят. Дома мы рассыпали грибы в сенах на полу тонким слоем и тотчас начали их перерабатывать. Русскую печь, в которой можно было бы высушить сразу половину грибов, мы нарушили во время ремонта. Приходилось теперь изощряться на плите, в духовке и даже в электрической чудо-печке, предназначенной для печева пирогов. Дело подвигалось медленно. Было видно, что мы не успеем высушить эти грибы — они раскиснут и испортятся.

Одновременно мы выбирали самые мелкие, те, что покрепче, и кидали их в большую кастрюлю в маринад. Два дня продолжалась лихорадочная переработка добытого. Что успели, то и успели. Остальные набрякли водой, разбрюзгли, слиплись между собой, приклеились к газетам, посланным на полу.

Не ради грибов, а ради любопытства мы через два дня наведались в наши сосенки и были поражены. Как будто все, что мы видели два дня назад, нам приснилось или совершилось в волшебной сказке. Если бы мы и захотели, мы не унесли бы теперь из сосенок ни одного гриба. Лесок был чист от грибов. Свежий человек ни за что не поверил бы, что всего лишь два дня назад... Да нам и самим как-то не верилось, но дома были у нас явственные доказательства этого маленького грибного чуда.

Предположение мое сбывается. Моя жена иногда начинает рассказывать в компании: «Сейчас уж не помню в каком году, одним словом, лет пять назад, зашли мы в молодые сосенки... Собирали полтора часа... Так вы знаете, пришлось идти в село за машиной... Двенадцать ведер...»

И чем больше проходит времени, тем все удивительнее для нас самих наша грибная история, на которую мы случайно набрали на исходе теплого июньского дня.



3

В главе о маслятах я писал, что сосна прибрала к рукам три едва ли не самых лучших гриба из всех существующих на земле. Во всяком случае про два из них можно определенно сказать, что они лучшие из лучших. Более того, невозможно решить, который же лучше из этих двух. Одни говорят, что царь грибов все-таки боровик. Пожалуй, соглашусь, но, соглашаясь, для себя на первое место ставлю сосновый, или боровой, рыжик.

Говоря о нем, нужно вспомнить о тех же самых молодых сосенках либо травянистых опушках более старых сосновых лесов, на которых растут и маслята-сосновики. Это грибы-спутники. Там, где в июне, в июле, в августе собираешь крепеньких маслят, там в сентябре и октябре ищи ядреных, как молодая морковь, рыжиков.

Рыжик сосновый, рыжик величиной с чайное блюдце, рыжик величиной с копейку, рыжик, из которого на разрезе льется яркий оранжевый сок, рыжик, который оранжево выглядит из зелени травы или мха, рыжик солений, рыжик вологодский, рыжик вятский, рыжик, именем которого называют рыжих котят, рыжих щенков и даже рыжих мальчишек... да что тут скажешь: рыжик — и не надо никаких слов.

Впрочем, в разговоре, особенно если речь идет о уже приготовленных маринованных или соленых грибах, редко скажешь «рыжики». Даже невозможно себе представить, чтобы один человек сказал другому: «Приходи, у меня есть прекрасные рыжики». По-моему, без уменьшительной формы невозможно говорить об этих грибах. «Приходи,

друг, у меня есть превосходные рыжички», — это звучит естественней и легче.

Рыжик — настоящий осенний гриб. Но все же его возможно найти уже в июне и собирать в течение всего лета, все зависит от того, какое оно.

Я вспоминаю один год. С пятого апреля установилась летняя жара. Каждый день было двадцать пять, двадцать восемь градусов. Молинеюсно согнало снег, молинеюсно согнало воду и с опережением по крайней мере на месяц отцвели по своей очереди все деревья. Гадали, что будет дальше, каково будет само лето. Одни говорили — вернутся холода, другие — прочили неастье. Двадцать первого мая, как из мелкого сита, пошел пылить дождь. Ему все обрадовались, потому что сушь не только надоела людям, но и грозила погубить все в полях. «Хоть бы подольше не переставал, — говорили люди в первый дождливый день, — ведь чтобы эту землю промочить, надо два или три дня». «Славию помочило, — радовались люди на третий день, — теперь и жара не страшна, все умылось, все напилось». «Помочил, пожалуй, хватит, — можно было услышать через неделю. — Все хорошо, что в меру». «Откуда оно берется, — жаловались через месяц, — ни одного дня не пропустил, пылит и днем и ночью. Сею погнило, теперь и в полях не даст убраться».

Короче говоря, дождь шел до самых заморозков. Действительно, он сгноил все сею в лугах и не дал убратся в поле. Никакие машины не могли заехать на поле, тотчас увязали всеми колесами. Нельзя их было и вытащить на сухое твердое место, хотя бы потому, что сухого твердого места не было на земле. Завязшие машины вырубали из земли топорами в начале зимы, когда земля замерзла.

Дождь в течение всего лета шел некрупный и теплый. Сначала люди остерегались его, сидели дома, а потом началась нормальная жизнь под дождем, как если бы его и не было. Люди в этом случае действовали подобно курам, ибо существует точная примета предсказания длительности дождя: если во время дождя куры прячутся в укрытие — значит, дождь скоро перестанет. Если куры как ни в чем не бывало бродят по улице, по дороге, по зеленым лужайкам — значит, дождь зарядил надолго, по всей вероятности на несколько дней.

Я помню, что никто уж не ждал прекращения дождя: под дождем копались в огородах, мальчишки под дождем удили рыбу, под дождем собирали грибы.



Трава стояла по пояс в воде. Ходить в лес или на реку можно было лишь в резиновых сапогах или босиком, никакая другая обувь не годилась. Почти все ходили босиком. Ведь шли как-никак летние месяцы июнь, июль, постоянно висящие облака образовали род теплицы. Земля все время курилась паром и прела.

Я все это рассказываю к тому, что это лето мне запомнилось не только непрерывными теплыми дождями, не только погибшим сенокосом и вымокшими хлебами, но также изобилием рыжиков. Рыжики росли повсюду, где им и не надо бы расти. Если среди лиственного леса оказывались две сосенки или три елочки, то и под ними появлялись рыжики в то необыкновенное лето.

Эти летние дождевые рыжики были несколько водянисты по сравнению с позднеосенними ядреными, осыпанными студеной росой, но мы собирали их корзинами и жарили на сковороде, как обыкновенно жарят грибы. Рыжики редко кто расходует на жаркое, поэтому, может, интересно будет узнать, что и в жареном виде этот гриб вкуснее других грибов.

Итак, рыжики в большом количестве могут появляться в летние месяцы. Пусть. Это отнюдь не лишает его звания настоящего подлинно осеннего гриба.

В середине осени, в конце сентября, в октябре, устанавливается иногда удивительная погода. Безветренно. Утром выпадает на траву холодная, обжигающая ноги роса или даже белые хрустящие утренники. Каждая травинка, каждый упавший на землю лист, каждая соломинка, каждая паутинка, протянутая там и сям, — все обсыпано сахарной пудрой. Но небо чисто, оно такого глубокого синего цвета, какого не увидишь в летнюю жаркую пору. Солнце начинает пригревать в синем безветрии, и вскоре там, где хрустел под ногами заморозок, появляются россыпи крупной, как отборные бриллианты, росы. Особенно красива в это время обсыпанная росой паутина.

Замечательный мастер Борис Кузьмин подарил мне большую фотографию паутины, провисшей под тяжестью капель. На фотографии не видно, где происходит дело, в поле или в лесу. Но если приглядеться, то в каплях росы отражены, правда вверх ногами, островерхие темные елочки. Так и встает перед глазами еловый молодой лесок в сиянии голубого неба, в сверкании холодной росы и обогретый теплым солнышком. Воздух в это время, как го-



ворят, по рублю за фунт. И вообще все в природе дышит свежестью, здоровьем и чистотой.

В это-то время, в эту ядреную, осеннюю пору, появляются самые лучшие, самые крепкие, самые боровые рыжики. Они тоже обрызганы в это время росой, или даже в некоторых из них в середине в ямочке собирается немного хрустальной влаги.

Рыжики, как и их спутники по молодым сосновым лесочкам, почти никогда не растут поодиночке, но всегда стаями, лентами. И в том секрет, что на тарелке потом окажутся грибки невероятно маленького размера. Конечно, такой грибочек в отдельности ни за что не углядишь в траве. Но когда срезаешь вереницу, вместе с крупными попадают под ножик и малыши. Там, где рыжиков много, в нижегородских или вятских лесах, любят засаливать рыжики в бутылках. Весь смысл в том, что в засол попадают только те грибы, которые способны пролезть в узкое горлышко бутылки. Вообще же рыжики в северных местах, например, в Вологодской области, чаще всего солят в берестяной посуде, в больших и маленьких тесах.

Недалеко от самой Вятки, в селе Спасо-Талица, живет талантливый фотограф-самоучка Иван Александрович Крысов. Его фотография «Хлеб насущный» — натюрморт из стакана молока, двух яиц и ломтя черного хлеба, будучи напечатана в «Огоньке», обратила на себя внимание и специалистов и читателей. Иногда мы перебрасываемся письмами. Иногда приходит маленькая посылочка. Откроешь, а там либо баночка с медом, либо банка грибов. На банке обычно надпись: «Дары земли» и четыре восклицательных.

Таким-то путем я получил однажды толику настоящих вятских рыжиков. Рыжики были один к одному, трехкопеечного размера, чистенькие, словно сейчас из леса.

Однако удивило нас то, что в засол не положено ни чеснока, ни укропа, ни листьев смородины, ни листьев хрена, ни самого хрена, ни листьев дуба, ни листьев вишеня — одним словом, ничего, что, казалось бы, непременно полагается класть в грибы во время засолки. Здесь были только рыжики и соль.

Эти рыжики сначала нам не понравились — не пахнут обыкновенным соленым грибом (то есть чесноком или укропом). Сколько хвалили нам вятские рыжики и вятский засол, а вятчи, оказывается, вовсе не умеют солить. До

сих пор не догадались, что можно класть разные душистые листья и специи.

Ползимы «Дары земли» простояли в холодильнике без употребления. Потом как-то раз я положил себе на тарелку десяток ровненьких рыжиков, о чем-то задумался и механически медленно разжевывал гриб, попавший на зуб. И вот запахло осенней лесной опушкой, молодыми сосенками, остуженными октябрем, почудилось, что вокруг ранний утренний воздух. Тогда я понял то, до чего вятские грибники дошли гораздо раньше: и чеснок, и укроп, и смородиновые листья только отшибли бы естественный аромат и вкус. Пахло бы уж не рыжиком, но чесноком и укропом. Теперь же настоящий лесной вкус гриба, оказывается, закоисервировался вместе с самим грибом и обнаружился во время внимательного разжевывания.

Рыжики были крепкого посола, по-моему, их даже коснулся процесс квашения. Но они были необыкновенно вкусны, и мы с тех пор ели их как необыкновенное лакомство, поглядывая, много ли остается.

Павел Иванович Косицын, проработавший много лет лесником, учил меня солить рыжики следующим образом. Кадку нужно хорошенько промыть. Положить в нее можжевельных веток, а ветки эти ошпарить кипятком, чтобы их дух пропитал древесину кадки. Кадку в это время накрывают ватным одеялом, чтобы можжевельный пар не выходил наружу. Приподняв одеяло, кидают в кадку сильно раскаленные камни. Вода шипит и глухо урчит в кадке под одеялом, и новая порция можжевельного аромата впитывается кадушкой. Впрочем, дело касается не только можжевельного аромата, без которого, вероятно, и можно было бы обойтись. Но таким образом осуществляется прекрасная дезинфекция кадушки, а это залог того, что грибы зимой не прокиснут и не начнут плесневеть.

Итак, кадушка готова. Рыжики нужно тщательно вытереть тряпочкой от земли и мусора и сухие укладывать рядами и слоями, чтобы каждый слой получался с полчетверти толщины. Уложенные грибы переслаиваются всеми теми приправами, которые я перечислял выше. Вероятно, можно класть и тмин и вообще все то, что может дать свой особенный вкус. Так укладывают слой за слоем, пока не наполнится кадушка. Можно засолить и половину кадушки, тем более что, как бы вы ее ни наполнили, все равно придется потом добавлять, ибо грибы сильно осадут.

Поверх грибов нужно положить мешочек из марли,

наполиенный солью, распространив его ровно по всей поверхности. На этот мешочек кладут деревянный, чисто промытый кружок, а на кружок — гнет, чаще всего обыкновенный речной камень. Через некоторое время кружок и камень начнут опускаться вниз, а поверх их выступит обильный грибной сок, который Павел Иванович рекомендует время от времени отчерпывать.

Спустя два месяца грибы можно есть. То есть, что значит — можно есть? Их можно есть и на другой день. Но за два месяца они просолятся, примут в себя все возможные оттенки аромата и вкуса и станут такими, какими хотел их увидеть кулинар. Останется положить их на тарелки (при хорошем собеседнике) и поставить на стол графинчик из чистого стекла, а также аккуратные небольшие рюмочки.

Почему-то утратилась теперь культура настоек. Куда-то мы торопимся и стараемся поставить бутылку, принесенную только что из магазина. Лени даже потрудиться и перелить в графин. Из всей Москвы я знаю только один дом, где постоянно держат самые разнообразные настойки. А казалось бы, чего проще. В



любой аптеке можно купить семена тмина, высыпать их в графин и залить водкой. Пройдет три дня... Продаются также в аптеках траву зверобой, листья мяты, можжевельниковые ягоды, настоящий анис. Конечно, свежих почек черной смородины в аптеках не продают. Удивительную настойку на почках черной смородины можно попробовать только в апреле, если не поленишься и сделаешь ее сам. Чистого изумрудного цвета, непередаваемого аромата, эта настойка была бы, конечно, самая драгоценная из всех остальных, но, к сожалению, ее нельзя хранить. Через некоторое время она из изумрудно-зеленой становится коричневой, как коньяк, и совсем утрачивает аромат молодого смородинового листа, а пахнет бог знает чем.

Однажды в Варшаве в ресторане «Бристоль» я встретил писателя-москвича Льва Романовича Шейнина. Во время ужина разговорились о Москве, и в частности о

настойках. Тогда-то Лев Романович и поведал мне один рецепт, который теперь благодаря моему усердию принят на вооружение всеми моими друзьями и приятелями. В бутылку столичной водки нужно изрезать две-три дольки чеснока, а также опустить один стручок жгучего красного перца. Бутылку крепко закрыть и положить в темное место на три дня. Через три дня процедить и перелить в графин из чистого ясного стекла. Не правда ли, просто? А между тем получается напиток, прелесть которого невозможно вообразить. Только пить нужно из маленькой рюмки, чтобы входило в нее тридцать, не более пятидесяти граммов.

Настойку на рябине я, как ни странно, попробовал впервые у Константина Михайловича Симонова. Они с Александром Юрьевичем Кривицким уговаривали меня идти работать в журнал. И хотя дело не сладилось, хозяин пригласил к столу. Это было на даче в Пахре. Там-то я и вкусил рябиновой настойки.

Я написал «как ни странно». Конечно, странно, если у нас в деревне полон сад отличной нежинской рябины и есть даже несколько кустов особенно черноплодной. Странно потому, что, конечно, мои деды пили рябиновую настойку почем зря, а мне, для того чтобы попробовать ее, пришлось ехать в Пахру. Рябиновая настойка производит странное впечатление. Она, как бы это сказать... замедленного действия. Пока пьешь, ничего не слышишь, а потом секунды через четыре появляется во рту вкус рябины, как будто раскусил спелую рябиновую ягоду.

Настаивают и на бруснике и на любой ягоде. Не нужно только путать с наливкой. Чтобы сделать наливку, надо брать две трети ягод и лишь одну треть водки, держать все это несколько месяцев в закрытой посуде. Для настойки достаточно бросить горсть ягод в бутылку на три-четыре дня. Говоря о настойках, стоит ли напоминать о лимонных и апельсиновых корочках.

Итак, положив на тарелку рыжики, засоленные вышеописанным способом, нужно поставить на скатерть графинчик с одной из вышеописанных настоек, а также небольшие рюмочки. Очень важно, чтобы за столом в это время сидели хорошие люди, что, пожалуй, дороже и графинчика, и рюмочек, и самих грибов.

Конечно, рыжики лучше всего солить, особенно заготавливая впрок на долгое хранение. Но нужно сказать, что и маринованные они хороши. Все казенные маринады на

один вкус. Возьмите в магазине маринованные маслята, лисички, огурцы, патиссоны, все это попробуйте по очереди, и вы убедитесь, что все одинаково и в общем-то не очень интересно.

Но когда вы сами собирали рыжики и есть надежда, что завтра вы наберете еще, у вас есть возможность творить. Особенно к рыжикам я рекомендую творческий подход при мариновании. Нужно найти ту золотую середину, чтобы маринад, привнося свои оттенки, не убил естественного лесного вкуса гриба.

Что касается нас, мы не стараемся мариновать рыжики в расчете на долгое хранение. Во-первых, потому, что для этого нужен очень крепкий состав маринада, то есть нужно брать очень много уксуса, а это неинтересно да и не полезно. Во-вторых, потому, что все равно рыжики долго не устоят, не утерпишь и съешь. Поэтому мы маринуем их для того, чтобы есть тотчас и в ближайшее время — на сколько хватит. Такой взгляд позволяет нам обходиться слабеньким маринадом с минимальным количеством уксуса, но зато с усиленной дозировкой сахара и всех специй: душистого горошка, лаврового листа, корицы, гвоздики. Может быть, другим покажется ужасным, но в подслащенном маринаде есть своя прелесть. Твердого рецепта мы никогда не придерживаемся, кладем все по вкусу, пробуем во время варки, и получается каждый раз несколько по-иному, но всегда хорошо. Может быть, потому, что нужно употребить слишком много усилий, чтобы испортить и сделать невкусным такой гриб, как рыжик.

Теперь о сырых. Самому мне, вероятно, не пришлось бы в голову всерьез за столом, при помощи ножа и вилки есть сырые грибы. Самое большое, что мы делали мальчишками, поджаривали рыжики на костре. Вспоминая детство, я иногда беру с собой в лес щепотку соли. Если день серый, прохладный, с дождичком, особенно приятно разжечь в лесу небольшой огонек. Выберешь место под дремучей елью, непроницаемое ни для дождя, ни для света. Сухо, тепло, уютно, как в комнате. На земле ровная и гладкая подстилка из темных коричневых игл, слежавшихся в плотный пружинящий войлок, по сторонам безрезки или иные деревца, сверху над головой радиально разбегающиеся черные еловые ветви. С этих ветвей свисают длинные бороды голубоватого лишайника. Душистый дымок от костра тотчас наполнит всю эту лесную комнату,

начнет подыматься вверх, процеживаясь сквозь широкие плоские ветви, а также выбиваться на сторону, где его будет подхватывать и развевать ветерок. В дождь хорошо посидеть у огонька на сухой пружинящей подстилке из игл. В это время для забавы насадишь на прутик рыжик, насыплешь на него сольцы и поднесешь к огню.

Но это, конечно, баловство, а не еда. И потом как-никак получается гриб жареный, хотя и пахнущий сырцой, мы же хотим говорить о грибах совершенно сырых.

Однажды меня научили, и я попробовал. Рецепт был такой: принеся рыжики, желательно боровые, нужно их тщательно вымыть, положить в небольшую глубокую миску вверх пластинками и посыпать солью так, чтобы соль попала на каждый гриб. Я знал, что на севере так готовят рыбу, в частности семгу, и называют ее малосолкой. Парную, только что из воды семгу нарезают кубиками, присаливают и перемешивают с кубиками льда. Семга впитывает соль и одновременно охлаждается, твердеет. Через двадцать минут едят.

Нечто похожее предлагали мне проделать с боровыми рыжиками. За полтора-два часа соль, оказывается, успевает растаять, а сами грибы дают сок, который собирается на дне в коричневою красноватую лужицу. Может быть, так и нужно есть сырые рыжики, но я этот рецепт впоследствии упростил. Тщательно отобранные, без единой червоточки, без пятнышка и только самые молодые экземпляры добытых рыжиков я кладу на тарелку, солю и тут же ем. Я не замечал, но на детский вкус есть в сырых рыжиках не то что горчинка, но остринка, жгучесть, как будто слегка приперчили. Сначала эта остринка смущала детей, но после того как я напомнил им, что они едят и лук и чеснок, которые невероятно горьки и остры, едва различимая горчинка рыжика стала казаться не более чем приятной. Эту еду я нахожу не только необыкновенной по вкусу, но и очень здоровой и каждый год жду не дождусь поры, когда можно будет насобирать свежих рыжиков и полакомиться ими в сыром виде. Так как оттенки вкуса и аромата свежих рыжиков очень тонки и так как не следует их заглушать никакими другими ароматами, то перед такими рыжиками лучше всего выпить рюмку чистой водки, а не из тех настоек, о которых я распространялся в связи с рыжиками, заготовленными впрок путем соления в кадушке.

Я все время говорил о рыжиках боровых, в то время как существуют еще рыжики еловые, причем их, вероятно, на свете больше. Что можно сказать? Конечно, тоже рыжик, с тем же вкусом, с теми же качествами, но все же — ухудшенный вариант. У борового рыжика ножка в несколько раз толще, чем у елового, и не за счет пустоты в ножке, а за счет толщины стенок. Шляпка у еловика более тонка, хрупка, особенно по краям, тогда как у борового рыжика шляпка толстая, мясистая, а края ее тупо завернуты внутрь. Этот рыжик в отличие от елового не искрошится, если его нарочно трясти в корзине. Нужны усилия, чтобы его разломить. Когда режешь ножом, он до половины разрезается, а дальше колетса, как молодой огурец или молодая репа.

Еловый рыжик часто бывает зеленого цвета, как если бы он медный и покрыт паутиной. Правда, даже самый зеленый еловый рыжик на разрезе все равно ярко-оранжевый, но все-таки наружная окраска имеет значение для красоты гриба. Боровой рыжик не зеленеет никогда. Он ярко-оранжевый как на разрезе, так и снаружи. А концентрические полосы на шляпке, более темные, чем сам гриб, создают ему дополнительную красоту.

Одним словом, и тот и другой — рыжики, как два человека есть два человека. Но один из них здоровяк, атлет, с буграми мускулов, румянцем, весь дышащий красотой и силой, а другой худ и бледен. Такова, на мой взгляд, разница между рыжиками боровым и еловым.

Остается сказать, что я всегда считал рыжик нашим северным грибом. Недаром же самыми рыжиковыми губерниями у нас считались Вятская, Вологодская, Архангельская. Но однажды, бродя по базару в городе Экспровансе на юге Франции в Провансе, я увидел на прилавке груды рыжиков. Правда, они были слишком уж велики и как-то рыхлы и сухи по сравнению с нашими, но тем не менее это были самые настоящие рыжики. Рыжики в краю олив! Надо полагать, что в Провансе они водятся в горах, склоны которых поросли все теми же сосенками и елочками.



4

Редкое удовольствие собирать челяши. Так у нас называют подосиновики, или более правильно, более по-книжному — осиновики. Нужно сказать, что совсем недаром этот гриб в молодости имеет другое название, отличное от названия вида вообще. Случай исключительный, пожалуй, даже единственный из всех грибов. В самом деле, рыжик, будь он хоть с гривенник, будь он хоть с чайное блюдце, все равно — рыжик. Масленок любого размера и возраста не более чем масленок. Белый гриб с наперсток, с кулак или с тарелку не имеет разных названий, но называется одинаково — белый гриб. И лишь молодой подосиновик называется по-другому — челяш. Но дело все не в том, что подосиновик молодой и подосиновик взрослый это действительно как два разных гриба: разная красота, разное удовольствие при собирании, разное употребление в пищу. Но нужно сказать несколько слов об осиновом лесе вообще.

Осина снискала себе дурную славу. Во-первых, легенда, что именно на осине удавился Иуда, во многом определила отношение к ней со стороны православных жителей России. Проклятое дерево, Иудино дерево называли его по деревням. Хотя я не знаю, откуда могло взяться такое предположение. В краю олив и ливанских кедров, в краю



лавров и финиковых пальм, в краю смоковниц и виноградных лоз и вдруг — осина. Осина больше сочетается с северным сероватым небом, нежели с пылающей лазурью небес, с сырым суглинком Вологодщины, нежели с раскаленным белым камнем палестинских земель.

И в фольклоре осина занимает соответствующее место. Достаточно вспомнить выражение насчет осинового кола, забиваемого в могилу недруга. Само по себе, хуже нет, когда вместо креста, допустим, грозятся загнать в могилу кол. Это высшая степень ненависти и презрения. Но оказывается, кол сам по себе, дубовый или березовый, это еще полбеды. Осиновый кол — вот что страшно.

В частушке нет-нет и промелькнет: «Ах, осина ты, осина, не горишь без керосина», другая частушка вторит: «Ах, осина ты, осина, ветру нет, а ты шумишь».

Есенин выделил это дерево из всех остальных не то с нежностью, не то присоединившись к всеобщей легенде — не поймешь.

В одном стихотворении у Есенина дед говорит:

На церкви комиссар снял крест,  
Теперь и богу негде помолиться.  
Уж я хожу украдкой иныче в лес,  
Молюсь осинам...  
Может, пригодится...

Все-таки, пожалуй, здесь больше нежности и любви, чем жутковатого полуязыческого поклонения.

И наш современный поэт в прекрасном стихотворении о деревьях попытался окончательно реабилитировать это дерево.

Послушай, береза, о белая дева,  
Сосна, что гордишься своей прямою,  
Осиа, обиженная клеветою...

Итак, точное слово произнесено — клевета. Мне остается только согласиться с этим словом.

Впрочем, как бы к осине ни относиться, нужно исходить из того, что она растет себе и растет, занимая, как говорят, сто сорок миллионов гектаров земли в нашей стране, если иметь в виду только леса с явным преобладанием осины либо чистые осинники, не говоря о лесах, где она произрастает в числе прочих пород.

Вообще-то говоря, осина — тополь, одна из разновидностей тополя, наиболее морозоустойчивая, влагоустойчи-

вая и кислостойчивая разновидность. Кроме того, осина из всех тополей обладает самой лучшей древесиной. У этой древесины есть качества, которых не встретишь у других пород дерева. Например, казалось бы, мелочь, но иногда ведь бывает важно, чтобы доска со временем не желтела, а оставалась белой, как будто ее только что остругали. Наименее всех других эта древесина поддается червоточине. Но что самое интересное, осина обладает свойством очень долго не гнить в воде. Поэтому испокон веков на Русь, если нужен сруб для колодца или для погребка, не обращаются ни к какому другому дереву, кроме как к осине. По той же причине из осины делают бочки, ушаты, корыта, а также стругают дранку на кровель, и получаются кровли, перед которыми железо не имеет никаких преимуществ, кроме разве противопожарного.

Зимой мужики запасают основные дрова. Во время таяния снега начинается по всем деревням пилка и колка дров. Осиновая древесина мягкая, податливая, пилить ее легко. Колоть же основные чурки истинное наслаждение, потому что осина не суковата и волокна ее не перекручены. Чуть только тронешь колуном, и толстый чурок с легким щелчком разлетается на две половинки, сверкающие на весеннем солнце чистой сахарной белизной.

Слов нет. Березовые дрова, говоря по-деревенски, жарче, а говоря по-научному, — калорийнее, сосна, пропитанная смолой, пылает ярче, а дубовое полено одинакового размера, наверно, раз в пять тяжелее основного полена. Но, может быть, как раз и нужно такое дерево, которое можно было без особенной жалости жечь в печах, оставляя березу, сосну и дуб на другие нужды.

(Два примечания, взятые на этот раз не из читательских писем, а переданные мне устно.

1. Писатель Владимир Чивилихин упрекнул меня в том, что я забыл об основных «лемехах». И правда, непростительно, что забыл. Дело в том, что на севере России, в Архангельской и Вологодской землях, строили прежде деревянные церкви. Купола у них были тоже деревянные, издали как бы чешуйчатые, а при ближайшем рассмотрении состоящие из тяжелых, искусно вытесанных и еще искуснее пригнанных одна к другой деревянных пластин. Эти пластины называются лемехами, и были они всегда основные.

А вот примечание другого характера. Моего друга,

Александра Павловича Косицына, просвещал сосед по даче, пожилой жизнерадостный художник.

— Скажи, почему как только в лесу упадет осина, так сразу на нее набрасываются и зайцы, и козы, и лоси, и мыши, и все, кто способен обглодать кору. На липу или на дуб не набрасываются. А казалось бы, осиновая кора горька, словно хина. Однако обгложут каждый сантиметр, несмотря на отъявленную горечь.

Потому осиновую кору любят все звери, что она содержит полезные и даже целебные вещества. Могу доложить, что уже 25 лет непрерывно и ежедневно потребляю настойку на осиновой коре. Зеленую молодую кору я обстругиваю с дерева, сушу, а затем настаиваю на ней водку. Пью два-три раза в день, по небольшой рюмочке.

— Ну и что?

— Прекрасно себя чувствую. Сердце болело, теперь не болит. Общее самочувствие, нервы — все в общем порядке. Так что рекомендую: пейте настойку на целебной осиновой коре!)

Что касается меня, то я с удовольствием бываю в осиновых лесах, не думая о качестве и физико-механических свойствах осиновой древесины.

Мне нравится нежно-зеленая яркая окраска стволов осины, отличная от красно-бурых сосен, от белых берез, от черной коры дубов, лип и вязов. Я не хочу сказать, что краснолесье хуже, но красив и осиновый лес, как бы освещенный бледно-зеленым светом.

Многие не любят, но мне нравится и вечное беспокойное даже в полное безветрие лопотание осины. Это ведь не скрежет, не грохот, не урчание моторов, не скрип тормозов, не железо по железу и не стекло по стеклу. Это очень нежное, неназойливое, безобидное и, я бы сказал, какое-то прохладное лепетание, вроде вечного плеска моря.

С первым дыханием осени до неузнаваемости преобразается матово-зеленая сероватая листва осин. Когда Пушкин восторженно воскликнул: «Люблю я пышное природы увяданье, в багрец и в золото одетые леса», виновницей слова «багрец» явилась осина. Откуда-то берется в листве яркая полная краска, киноварь. Впрочем, можно обнаружить в осиновой листве богатую гамму от чистого золота через розовый и красный тона к вишневому цвету. Но больше всего именно — багрец. Точно каждый лист нака-

лили на огне до яркой красноты, и вот теперь все горит и светится.

Вместе с листвою преобразается и сам лес, а вместе с лесами и весь пейзаж среднерусских равнин. Осинный лес в то время между черной землей и серым осенним небом словно полоска зари, и кажется, что от него светлее на мглистой, ненастной земле. Бывает на склоне горы, что нижний и верхний ярусы леса хвойные и, значит, черные, а между ними длинной полосой золотое свечение берез и красное горение осии. Каждая осина в лесу или стоящая отдельно на меже кажется мне в это время каким-то фантастическим марсианским растением, потому что непривычно видеть, чтобы де-

рево было все красное с головы до ног.

Опадая на землю и полежав под снегом, листва осин перегорает, потухает, становится пепельной, почти черной. Она склеивается в плотную ровную подстилку, сквозь которую ранней весной пробиваются прекрасные цветы медуницы с золотыми и синими венчиками.

Осенью же сквозь многослойно спрессованную листву вылезают



на свет божий удивительные растения, которые сначала мы зовем челышами, а позже — просто осиновым грибом. Думается, что, если бы не было в осине совсем никакой пользы, только ради этих грибов стоило бы ей расти на земле и украшать землю.

Молодой челыш представляет из себя белый плотный пенек, на который плотно, как наперсток (или как берет), надета ярко-красная бархатная шарообразная шапочка.

В зависимости от возраста пенек может быть потолще и потоньше. От его размера зависит размер шляпки. Очень потешно, когда стоят вереницами челышн, вытянувшись в цепочку по ранжиру. Самый маленький может быть с конечный сустав мизинца. Челыш редко растет один. Пока нагибаешься за грибом, обязательно попадет в поле зре-

ния и его сосед. А там еще и еще. Но все же не так, как маслята, которые сиди и срезай. Благодаря яркости, красоте гриба, благодаря его свежести и крепости охота за челяшами одна из самых радостных грибных охот.

Постепенно с ростом гриба шаровидная шапочка начинает разгибаться, разворачивает края и принимает форму обыкновенной грибной шляпки. На первых порах осиновники с развернутой шляпкой все еще идут к челяшам. Этой первой порой нужно считать такие пропорции гриба, когда шляпка хотя и развернута, но по ширине своей почти не отличается от толщины ножки. В это время у гриба новая степень красоты, потому что белая ножка поднимает красную шапочку на добрую четверть от земли.

В дальнейшем ножка перестает расти в толщину, а шляпка, напротив, все ширится и ширится, и гриб вдруг становится тонконогим. Шляпка выцветает и вместо ярко-красной, бархатной, матовой делается желтоватой и гладкой. Это уж в полной мере осиновик, а не челяш. Если поставить рядом кургузый наперсток и большой дряблый зонтик, не подумаешь, что это одна и та же порода.

В старых грибах между трубчатым слоем и мясом шляпки всегда проделаны какие-то черные норки, овальные, вытянутые в ширину. Мне ни разу не удалось видеть в грибе самих грибоедов, но можно утверждать, что гриб с норками отнюдь еще не червивый гриб. Стоит ли напоминать, что мякоть и ножки и самого гриба на месте среза быстро чернеет. Ярко-красная шляпка при любой обработке тоже меняется и становится черной.

Что касается употребления, то оно напрашивается само собой. Челяши лучше всего мариновать. Старые, большие грибы должны идти в сушку. Шляпки средней величины хорошо жарить. Но можно в зависимости от размера пускать либо туда, либо сюда, то есть либо к челяшам в маринад, либо сушить. Можно жарить, конечно, и челяши, но, право, жалко. В маринаде они хотя и потеряют цвет, но останутся на вид все тем же симпатичными челяшами.

Теперь вопрос, что делать из сушеных осиновых грибов. Суп из них будет очень черным и, конечно, не таким вкусным, как из белых. Сушеные подосиновики нужно смешать с сушеными подберезовиками, маслятами, опятами и другими грибами, какие в это время найдутся. Из этого букета нужно делать грибную икру, чрезвычайно вкусное и полезное блюдо.

Одно из важных условий приготовления грибной нкры — тщательно вымыть сухие грибы, чтобы частички земли, присташие к ним или попавшие в трубчатый слой, потом не хрустели под зубами. Однажды мне пришлось попробовать удивительно вкусную грибную нкру, но есть ее было неприятно и даже невозможно из-за того, что она хрустела, как будто в нее насыпали речного песка.

Чтобы грибы хорошенько отмыть, их нужно помочить в воде, а потом мыть каждый гриб в отдельности под краном. Если грибы достаточно крупные, можно для мытья употреблять щетку. Вымытые таким образом грибы варят в течение часа или чуть больше, следя, чтобы не переварить. Переваренные, слишком раскисшие грибы в нкру не годятся. Затем грибы пропускают через мясорубку, солят по вкусу, смешивают с сильно пережаренным луком, добавляют порядочное количество растительного масла и по вкусу уксуса, но очень немного. Можно чуть-чуть добавить и того крепкого отвара, который остался в кастрюле. Из остального отвара, чтобы не выливать столь драгоценный бульон, обычно готовят подливу к картофельным котлетам или к любому мясному блюду.

Тетя Вера, Вера Алексеевна Смирнова, сестра моего отца, самый старший человек сейчас в нашем роду, оказывается, прочтала мои записки о грибах. Несколько раз с разными людьми она наказывала, чтобы передали мне.

— Как же это он мог написать такое? — будто бы возмущалась тетя Вера. — Какая же это будет грибная нкра, если грибы пропустить через мясорубку. Скажите ему, пусть исправит: грибы для нкры нужно рубить тяпкой в деревянном корытце. Тогда и будет нкра. Разве он не помнит, какая грибная нкра бывала к Ивану-постному или к покрову. Как это у него язык повернулся сказать, что грибы пропускают через мясорубку!

Конечно, тетя Вера права. Конечно, если грибы изрубить тяпкой в деревянном корытце, нкра получится вкусней, или, во всяком случае, будет казаться вкуснее тому, кто ее готовил и кто рубил грибы. Действительно, при пропускании через мясорубку сок может выжиматься из грибов и грибная масса делается посуше, будет не такой нежной. Но я писал рецепт применительно к современным городским условиям. На каждой ли городской современной кухне найдется деревянное корытце и острая железная тяпка? Мясорубки же есть у всех. Ничего не поделаешь — приходится же пользоваться газовой духовкой вме-

то так называемой «вольной печи», а также холодильниками вместо погреба.

Икра получается черная, маслянистая, и все, кто ее пробует впервые, говорят одну и ту же фразу, а именно, что эта икра вкуснее настоящей черной зернистой икры.

Закуска настолько нежна, что под нее не следует пить водку, но можно выпить рюмку хорошего тонкого коньяка.



5

Рассказывать ли про березовый лес? Рассказывать ли про саму березу? Нет дерева, растущего на территории России, включая и рябину с черемухой, которым так повезло бы и в фольклоре, и в настоящей литературе, и в живописи, и даже в музыке.

Впрочем, я не прав. Сказать «повезло» можно про то, что не совсем заслуживает своей славы или успеха. Береза достойна своей многоголосой и прочной славы, и заслужила она ее в общем-то бескорыстно. Ладно, если бы древесина ее была ценнее всех других древесины, вовсе нет. Ладно, если бы родились на березе особенные плоды. Вовсе не родится никаких плодов. Семена ее, как известно, не употребляются в дело. Не добывают из березы ни каучука, ни живицы. Просто так. Хороша, и все. Береза — и этим все сказано. Да уж и действительно хороша!

Растут деревья-гиганты, существуют деревья-чудеса. То секвойя величиной чуть ли не с Эйфелеву башню, так, что человек у ее подножия кажется муравьем, то священный фикус, у которого двести стволов, а крона одна, то эвкалипт,

липт, постоянно меняющий кожу, то магнолия, произволяющая огромные, из тончайшего белого фарфора цветы, а там разные пальмы, дынные, хлебные, кофейные, хинные, коричные, камфарные, каучуковые, пробковые, красные, железные, черные, ореховые, винные, гранатовые, благо-словенно-добрые и смертельно-ядовитые деревья.

Каждое дерево чем-нибудь полезно, каждое дерево красно — одно цветам, другое листьям, третье осанкой и ростом, четвертое цветом ствола, коры. Есть деревья красно-бурые и серые, черные и зеленые, узловатые и гладкие, мохнатые и голые. Но нет на свете дерева белого, как летнее облако в синеве, как ромашка в зеленом лугу, как снег, когда он только что выпал и еще непривычен для глаз, смотревших до сих пор на черную ненастную землю. Мы присмотрелись, привыкли, но если разобраться, то во всем зеленом царстве нет подобного дерева, оно одно.

Нельзя сказать, что единственное качество — белизна. С давних пор у этого дерева большая дружба с человеком. Я не знаю, правда, как в других странах. Будем говорить про Россию.

Первейший предмет во все времена, во всякой деревенской избе — веник. Одно дело подметать пол, чтобы держалась в горнице чистота, другое дело со своим веником среди морозной зимы — в баню. В горячем пару, по темно-малиновой спине пройтись березовым веником... Кто знает, тому не надо объяснять, кто не знает — все равно не поймет. Три дня после хорошей бани отдает от человека свежим березовым духом.

Я помню, в юности, когда я жил в деревне,  
Ходили мы за вениками в лес.  
Сейчас найдешь березу постройнее,  
Повыше,  
Поупружистей,  
Погибче,  
Чтобы вполне ладони обхватили  
Ее, как тело, розоватый ствол.  
Сначала сучьев нет. И по стволу,  
Подошвами босыми упираясь,  
С коры стирая белую пыльцу,  
До онемения натруждая руки,  
Стремись вверх, где жесткой нет опоры,  
А только зыбкость,  
Только синева,  
Что медленно колыхается вокруг.  
Тогда опустишь ноги  
И повиснешь,  
Руками ухватившись за верхушку,



И длинная, упругая береза  
Начнет сгибаться медленно к земле,  
Там было ощущение полета!

Так мы ломали веники с молодых и гибких берез.

Второе дело — береста. Ни одно дерево не давало русским крестьянам, а задолго до того славянским лесовикам ничего похожего на бересту, да и негде взять. Может быть, только липа, дающая все лубяное и лыковое: и мочалки, и рогожи, и сами лапти, — могла бы воскликнуть на суде деревьев: «А я?!» Но ведь такому дереву, как липа, не совестно и уступить.

Из липового лубка можно тоже сделать легкую прочную посудину, лубяные драночки сапожники закладывали в задники, из лубка делались длинные узкие лунки, по которым катали в пасху по зеленому лужку яркие разноцветные яйца.

Но допустим, что обе хороши. Все же, когда строили дом, под углы сруба, на кирпичные столбы клали по широкому листу бересты, тогда сырость не могла проникнуть от земли к бревнам и нижний венец не гнил. Все же все туеса и туесочки, с которыми ходили по ягоды, но в которых также держали сметану и носили в поле квас и в которых теперь еще где-нибудь на Вятке или на Сухоне солят рыжики, — все это было из бересты. И вообще всевозможное берестяное плетение — кошель, носить в поле еду, карманные солонки, табакерки, брусочки, ковшички, дудочки, шкатулочки... До сих пор существует в Архангельской области художественная резьба по бересте. Изделие, украшенное этой резьбой, можно купить хотя бы и в ГУМе, в отделе, где продаются русские сувениры.

Береста — это не вся березовая кора. Слой коры, прилегающий к древесине, то есть собственно кора, живая кора, в которой циркулируют соки, будучи высушенной, становится очень хрупка. Она крошится и ни на какие изделия не годится. Но поверх ее дерево запеленуто в нечто желтое, окрашенное белым снаружи, прочное, эластичное, что люди и называют берестой...

В старину берестой пеленали треснутые горшки, а еще раньше... напомним вам поэтические строки из «Песни о Гайавате» в прекрасном переводе Ивана Бунина.

Дай коры мне, о Береза!  
Желтой дай коры, Береза,  
Ты, что выснишься в долине  
Стройным станом над потоком!

Я свяжу себе пирог,  
Легкий челн себе построю,  
И в воде он будет плавать,  
Словно желтый лист осенний,  
Словно желтая кувшинка!  
Скинь свой плащ, Береза!  
Скинь свой плащ из белой кожи...  
До корней затрепетала  
Каждым листиком Береза,  
Говоря с покорным вздохом:  
«Скинь мой плащ, о Га́йавата!»  
И ножом кору Березы  
Опоясал Га́йавата  
Ниже веток, выше корня,  
Так что брызнул сок наружу  
По стволу с вершины к корню.  
Он кору потом разрезал,  
Деревянным клином поднял,  
Осторожно снял с Березы.

Весной березы, как мощные насосы, голят кверху, к кончикам ветвей, к почкам, к будущей листве, земные соки. Я не берусь назвать все вещества, которые присутствуют в березовом соке, но читал о том, что березовый сок насыщен сложными углеводами, которые обычно дерево шлет в обратном направлении, то есть от листвы, от солнца, от воздуха в землю, и только в редком случае с весенней березой берет эти сложные углеводы у земли, посылая наверх. Содержатся в соке и какой-то особый сахар и разные витамины. Недавно я читал большую статью об этом соке и о том, как из него готовят квас.

Добавлю от себя, что немало в березовом соке и поэзии, если только добывание его не связано с варварским обращением с самой березой. Иногда по-варварски тянут топором по белой коже, сок брызжет, как из перерезанного горла барана, но растекается во все стороны. Лишь маленькая толика его попадает в рот. На березе остается глубокая, долго не заживающая рана.

По-настоящему нужно зачистить небольшой квадратик наружной коры и на зачищенном месте коловоротом прогнать углубление на три-четыре сантиметра. И все. Сок потечет одной бойкой струйкой. Можно присоединить жестяной желобок, можно перегонять его в бутылку при помощи марлевой ленточки, а можно просто, как чаще всего и делают деревенские дети, пить через соломинки.

Да, под весенним солнцем, под белыми облаками из тела белой березы можно пить живительные соки земли точно так же, как через соломинки тянут липкие одурма-

нивающие коктейли в прокуренных душных помещениях, под скрежещущие звуки дикарской музыки. Каждому то, чего он достоин.

Грачи очень часто обламывают кончики березовых веток себе на гнезда. Из обломанных веток обильно капает сок. В этом случае под большой могучей березой создается впечатление, что идет дождь.

(Один читатель упрекнул меня за то, что я забыл про новгородские берестяные грамотки. Действительно, много веков назад береста служила для наших предков в качестве бумаги и, надо думать, способствовала просвещению их.

Другой читатель заинтересованно пишет: «Вы много уделили внимания березе, конечно, заслуженного ею. Однако одно весьма важное качество этого дерева вы совершенно не описали.

Деготь — разве это не продукт березы. Как не знать этого! Каждый крестьянин, особенно северных областей, знает, что без дегтя в деревне жить невозможно. Дегтем пропитывается только что выделанная яловая кожа, он придает ей эластичность и приятный темно-коричневый цвет, предохраняет кожу от намокания и пересыхания.

Кожаные сапоги в наших северных деревнях (в Архангельской области лаптей никогда не носили), где часто приходится ходить по болотам, всегда промазываются дегтем. Поэтому, когда не было резиновых сапог, наши охотники, лесорубы и смоловары, находясь в воде сутками, всегда сохраняли ноги сухими в кожаных сапогах. И в этом заслуга дегтя. А гужи, шлеи и все сыромятные кожаные изделия? Чем смазываются, как не дегтем! Без него они твердели бы и ломались.

Разве вам не знаком приятный запах дегтя на лошадиной сбруе?

А чем же защищались крестьяне в поле от гнуса, комаров и мошек? Разве не дегтем, смазывая обнаженные части тела — руки, лицо.

Это только современному молодому человеку может быть такое слово известно лишь по поговорке: «В бочку меда — ложку дегтя», или как медицинское средство, продаваемое в аптеках наряду с разными мазями. А крестьянину, проживавшему в деревне десятка два-три лет тому назад, известен и способ его добывания, без причинения вреда березовому лесу.

Деготь добывается из бересты. Снимается береста с дерева в летний период без повреждения коры, что не влечет за собой гибель дерева. Но наряду с этим для добытия дегтя совсем не обязательно сдирать бересту с растущей березы. Ведь в лесах много валежника березового. Сгнившая древесина березы как труха вываливается из бересты, и эта береста идет на добывание дегтя.

Делалось это раньше в крестьянских условиях так: в большую глиняную корчагу туго набивается береста, корчага в вертикальном положении с подведением к горлу корчаги трубопроводом, тоже глиняным, зарывается в землю, на склоне какой-нибудь горки, обрыва или берега, а под нее с боков и снизу подводится огонь из каменки, подобной каменке в черной бане. Когда корчага нагреется до соответствующей температуры, береста тлеет без горения пламени и из нее по трубопроводу стекает деготь — темно-коричневая маслянистая жидкость приятного, не повторимого ничем запаха.

Я не знаю медицинского назначения дегтя, но помню, что крестьяне применяли его в смеси с животными жирами как мазь от разных недугов. Всякое ранение у коровы, лошади или овцы тотчас мазалось чистым дегтем.

Не зная, что деготь дает береза, — это значит полновину не зная о березе, которую вы так хорошо расписали и даже соком напоили и стихи приводили, а о дегте ни слова!») )

Не буду говорить про отличные березовые дрова и про все, что можно сделать из крепкой березовой древесины.

Нетрудно заметить, что все наши теперешние воспоминания о березе односторонни. Мы перечисляем все, что дает береза человеку, вернее сказать, все, что он у нее берет. Но ведь это еще не дружба. Это скорее эксплуатация.

И все-таки можно говорить, что береза и человек находятся в дружбе. Чем же мы отплачиваем березе за ее щедрое добро? Одних картин, пусть даже и левитановских, стихов, песен и даже симфоний (Четвертая симфония Чайковского) было бы маловато. Но ведь если новосел, построивший дом, захочет посадить под окном деревья, первой на ум придет береза. На вятских землях я видел дорогу, проведенную в свое время Екатериной II, кажется от Петербурга на Урал, обсаженную по сторонам березами. Они поределли теперь, а те, что уцелели, выгля-

дят уродливо и кургузо, но все-таки был оказан почет, и они украшали землю по желанию и воле человека.

Несколько раз мне приходилось видеть красивые церкви, деревянные, ярко разукрашенные огненно березовой рошей. Я видел кладбища, любовно засаженные березами, ветки которых никнут к скорбным часовенкам и крестам. Наконец, я видел киоски с ювелирными изделиями и сувенирами, в которых торгуют на доллары, которые называются «Berioska».

Вот основные направления, по которым идет отдача от человека к березе. Судите сами, равноценна или неравноценна она.

Но как бы ни красива была одна береза или даже заведенная нам Лермонтовым «чета белеющих берез», совсем особенное дело — целый березовый лес. Он хорош во всякую пору. И в марте, когда березы освещает солнце, набирающее весеннюю силу, а их фонтанообразные купы покрыты инеем и разрисовывают синее небо в тончайшее розовое кружево. Хорош березовый лес и в те дни, про которые сказано «то было раннюю весной, в тени берез то было», то есть когда разворачиваются на березе изумрудные листочки.

В березовом лесу всегда как-то просторно и далеко видно. Белые березы, сначала редкие, отдельные друг от дружки, вдали становятся для глаза все более частыми и наконец сливаются в пестроту. В березовом лесу всегда светлее, чем в каком-либо другом, дубовом или еловом, как будто березы сами светятся тихим ровным светом и освещают пространство вокруг себя. Светлее в нем и в теплый полдень, когда неизвестно что белее — сами березы или облака, проплывающие над ними, светлее и в лунную ночь, когда березы словно фосфоресцируют зеленоватым лунным огнем.

В березовом лесу всегда под ногами трава, если это взрослый матерый лес, а не то, что может называться лишь березняком, то есть земля, заросшая частелью молодых березок, которые еще не решили между собой, которым оставаться и жить, а которым уступить место под солнцем своим наиболее сильным или наиболее удачливым соседкам. Я не беру и сыроватые, болотистые, кочковатые места, на которых растут искривленные, уродливые, чахлые березки. Берез, говорят, шестьдесят видов, и растут они по-разному и в разных местах. Берем настоящий взрослый березовый лес. На земле трава. Кое-где между

березами оставлены для разнообразия и красоты небольшие темно-зеленые елочки.

Есть грибы, которые верны какой-нибудь одной породе или, скажем пошире, какому-нибудь одному характеру леса. Рыжики бесполезно было бы искать в осиннике или ивняке, так же как красноголовые осиновики в чистом словом лесу.

Но многие виды грибов имеют, так сказать, более широкие взгляды. Их с одинаковым успехом можно собирать и в сосновых, и в еловых, и в дубово-широколиственных, и в березовых, и в осиновых, и даже в ольховых лесах. Ну, например, свинушка. Хотя и считается, что она предпочитает изреженные мелколиственные леса, особенно березовые, фактически она растет везде, сожительствует с самыми разными породами деревьев. Но и свинушка уступает сыроежкам, разновидности которых встречаются повсюду. Да что грибное плебейство — свинушки и сыроежки! Белый, настоящий белый грибной лев (если лев — царь зверей), грибной орел (если орел — царь птиц), короче говоря, царь грибов и тот бывает боровой, еловый, березовый и дубовый.

Конечно, проще всего написать: в березовых лесах обитает все три вида березовых грибов, то есть березовик обыкновенный, березовик розовеющий и березовик болотный.

Взрослый березовик кажется сильно сродни взрослому осиновику, хотя если идти по точным признакам, может быть, не найдешь вовсе ничего общего. Цвет другой. Осинник красный, оранжевый, желто-бурый. Березовик серый, темно-серый, почти до черного, черно-бурый или, напротив, беловатый. Мясо осиновика на разрезе быстро чернеет, а у березовика остается белым. Ножка у березовика потоньше, послабее, чем у осиновика. Осинник в молодости бывает чело-



шем, с шаровидной шляпкой, плотно облегчающей ножку, березовик расправляет шляпку с первых часов своего появления на белом свете. И получается — ничего похожего. И тем не менее, если идти не от точных научных признаков, а от впечатления — нет двух грибов, более похожих друг на друга. То ли форма шляпки, то ли строение трубчатого слоя, то ли степень плотности, крепости или, наоборот, степени дряблости и слабости грибного мяса, то ли просто вкус, но они для меня похожи.

Березовик для меня какой-то средний гриб. Он ушел, конечно, далеко вперед от разных там моховиков, валуёв и свинушек, но не достиг кондиции своего близкого сородича — белого гриба. Я бы сказал даже, что березовик — это выродившаяся ветвь белого, его ухудшенный вариант.

Три разновидности березовика немного отличаются друг от друга временем произрастания. Так, например, березовик обыкновенный растет с июня и весь сентябрь. Именно этот гриб появляется в самом начале лета в числе других ранних грибов, входящих в общую группу колосовиков.

Существует примета, что первая волна грибов высыпает в то время, когда начинает колоситься рожь. Отсюда и название — колосовики. Но колосовиками бывают и маслята, и основики, и белые, и вот, значит, еще в большей степени березовик обыкновенный.

Березовик болотный растет, напротив, только в сентябре. Это самый плохой березовик. Мякоть у него слабая, водянистая. Из него можно выжимать воду, как из набрякшей тряпки.

Березовик розовеющий появляется с августа и продолжает расти в сентябре. Поэтому, выходит, если не вдаваться в тонкости, а иметь в виду просто березовик, что его можно собирать весь сезон, с июня и по октябрь.

Однажды, снявшись с летних квартир и переехав на жительство в Москву, через некоторое время я зачем-то снова решил съездить на два-три дня в деревню. Было это на исходе октября или, может быть, даже в ноябрьские праздники. Во всяком случае, уже выпадали сильные заморозки до звонкого ледка в мелких лужицах.

В лесу в это время, с точки зрения грибника, — пустынно. Все-таки я пошел прогуляться в лес, как я хожу в него во всякое время года и при всякой погоде. На этот раз мне хотелось посмотреть на дикую лесную яблоню, растущую на поляне среди берез. Летом и ранней осенью она вся была усыпана яблоками. Мелкие, продолговатые,

с характерным бугорком около веточки, они были то, что называется в деревне «вырви глаз». Такие дикie яблони у нас зовут лишóвками, предполагая, что леший, то есть тайный хозяин леса, выращивает эти яблони для себя. Почему народ так плохо думает о садоводческих, селекционных и, так сказать, мичуринских способностях лешего, я не знаю.

Теперь, глубокой осенью, на грани осени и зимы, я, подойдя к моей знакомой, увидел следующую картину. На дереве ни одного яблока. Все они лежали на земле ровным плотным кругом в два слоя. Схваченные заморозками, они были не так кислы, вяжущи и горьки, как летом, хотя и не штрифель и не апорт.



Но я хотел сказать о другом. В этом пустынном осеннем лесу мне вдруг начали попадаться подберезовики, да не как-нибудь, не случайно, а то и дело на каждом шагу. Я думал, что от заморозков они размякли и потемнели — ничуть не бывало. Свежие и крепкие, без единой червоточки, даже если и очень взрослые, они рассыпались по березняку, нарушая все правила, все наши представления о принятых сроках их произрастания.

Я нарочно задержался на несколько дней и каждый день приносил из леса большую двухведерную корзину одних исключительно подберезовиков. Никакого другого гриба, даже опенка, мне в эти дни не попалось.

По способу употребления березовики и осиновики совершенно одинаковы. Молоденькие хорошо мариновать или жарить, а взрослые идут исключительно в сушку с дальним прицелом на грибную икру, о которой я уже говорил.

Именно в связи с березовым лесом нужно упомянуть о волнушке. Вероятно, можно встретить этот гриб и в другом лесу, но все же это по преимуществу березовый гриб, более того — украшение березового леса.

Отчего ее зовут «волнушка», кажется понятным. По ярко-розовому полю ее расходятся более бледные круги,



как волны по воде от брошенного камня. Впрочем, можно считать, что по бледно-розовому фону расходятся темно-розовые волны. Но почему ее называют еще и «волжанка», я не знаю. Как бы то ни было, оба названия мне представляются красивыми и в этом смысле соответствующими виду гриба. Действительно, мало найдешь грибов, которые так же украшали бы наши леса.

Волнушки появляются летом, в июле (хотя настоящая их пора в августе и сентябре), когда трава в лесу сочна и зелена. И вот среди зеленой травы, в окружении голубовато-белых берез вдруг начинают попадаться ярко-розовые грибы с нежной опушкой по краям.

Удовольствие от собирания волнушек не только в их красоте, но и в обилии, однако не в таком, чтобы пропал интерес. Волнушки растут группами, стаями, причем где есть старые, там обязательно попадают и молоденькие, этакие розовые аккуратные пяточки.

Волнушка — гриб крепкий, не то что иная сыроежка, которая так и крошится по краям. Правда, с возрастом края волнушки совсем разгибаются и даже поднимаются вверх, как бы раскрыляются, и тогда волнушка становится более хрупкой. Тогда она выцветает, ее полосы (волны) делаются едва заметными, густая опушка редет, становится клочковатой, и весь этот гриб делается похож на розоватый груздь. Бледно-розовые пластинки местами желтеют. В грибе чувствуется некоторая сухость по сравнению с налитой, ядреной крепостью с молодости.

На разрезе волнушка выделяет обильный белый сок, который ужасно как едок. Если дотронуться языком, то, пожалуй, будет не лучше, как если бы вы окунули кончик языка в крепкий перец. Поэтому волнушки сначала нужно держать в холодной воде, чтобы вся горечь из них ушла. Затем их обыкновенно солят, хотя можно и мариновать. И в том и в другом случае волнушка, к большому сожалению, теряет свою удивительную расцветку. Она становится просто серой. Я уверен, что, если бы волнушка и на столе умела выглядеть так же, как в березовом лесу, она украшала бы всякий стол и только за одно это ценилась бы, вероятно, больше других грибов, тем более что по вкусу и, так сказать, на зубу волнушка уступает только рыжику, но ничем не хуже груздя.

Существует разновидность волнушки — волнушка белая. Этот гриб в отличие от настоящей волнушки абсолютно невзрачен. Его поверхность грязноватого цвета, хо-

тя в массе он дает ощущение некоторой розоватости. Кроме расцветки, этот гриб ничем не отличается от своей ближайшей родственницы, разве еще тем, что он более тонок, слаб и хрупок. Растет он тоже в березовых или смешанных с березой лесах. Однако предпочитает почему-то молодые леса, в то время как розовая волнушка водится и в молодых и старых.

О сыроежках можно бы рассказывать применительно к любому лесу: березовому, еловому, сосновому, осиновому — где только не растет сыроежка! Я говорил о масленке, что он первым попадает на глаза и оттого кажется самым распространенным, что дети, начиная свои грибные бнографин, в первую очередь нападают на маслята, что, когда попадают в лесу другие грибы, к маслятам охладевает интерес... Все это еще, может быть, в большей степени приложимо и к сыроежке.

Очень многих удивляет название — сыроежка. За что-нибудь оно грибу дано. Значит, что же, можно этот гриб есть сырым? Иногда мы пробовали в детстве, откусывали краешек, а потом долго не могли проглотить во рту речной водой ужасную едкую горечь. Ничего себе — сыроежка!



*Сыроежка*

И все-таки мне кажется, есть основание называть ее именно так. Наверняка безвреден в сыром виде и масленок, да ведь его не будешь есть, потому что он водянистый, мягок на зубу и слишком уж сильно и резко пахнет сырым грибом. Не знаю, можно ли говорить об особенной вкусоности сырых

грибов — дело любительское. Рыжики-то мы едим, и они вкусны. Но можно говорить о том, что если бы существовала необходимость есть грибы в сыром виде, то наверняка сыроежку есть было бы наименее приятно. Суховатое, довольно крепкое мясо, без какого-нибудь особенного запаха и привкуса, стопроцентная безвредность — все это, конечно, было бы преимуществом сыроежки перед другими грибами, если бы нужда заставила поглощать их сырым.

А как же быть с тем, что едкая жгучесть, от которой не скоро ополоскаешь рот? Дело в том, что, так же как существует шестьдесят разновидностей берез (бородавчатая, белая, плакучая, черная и т. д.), точно так же сущест-

вует двадцать семь разновидностей сыроежек. Пожалуй, я назову их, добросовестно выписав из специальной книжки. Вот они, эти разновидности, в алфавитном порядке.

Сыроежка блестящая, болотная, буреющая, бордовая, буреющая оливковая, вильчатая, выцветающая, жгуче-едкая, желтая, желчная, зеленоватая, золотисто-желтая, сыроежка Келе, сыроежка красивая, ломкая красная, ломкая фиолетовая, невзрачная, обманчивая, охристая, пищевая, родственная, розовая, серая, сереющая, сине-желтая, синяя, цельная.

Видите, какой набор: от родственной до обманчивой, от красивой до невзрачной. Все цвета радуги, все оттенки, и все это рассыпано по лесу, как цветы, в изобилии, с преобладанием синего, фиолетового, лилового тонов.

Не такой уж я грибник, чтобы определить разновидность сыроежки, если б мне ее показали в лесу. Для этого надо быть даже не специалистом грибником, а специалистом микологом, то есть вполне ученым человеком с узкой специальностью. Что касается меня, то я все сыроежки разделяю на две половины. К одной половине относятся едкие, к другой — не едкие. Этого вполне достаточно, чтобы одни сыроежки класть в воду и мочить, а другие сразу употреблять в дело.

С едким соком существует всего восемь разновидностей из двадцати семи, явное меньшинство. Но так как для рядового грибника очень часто все сыроежки — сыроежки, то, наткнувшись раз и два на жгуче-едкие, испортив ими кастрюлю хорошо отварных грибов, он будет подозрительно относиться ко всем сыроежкам, считая их едкими или, попросту говоря, горькими.

Конечно, и едкая сыроежка такой же прекрасный гриб, только ее нужно, как волнушку, мочить два дня, время от времени меняя воду. Тогда с нею можно делать все что угодно, но делают обыкновенно — солят. Если рыжики нужно солить без специй, без всяких там смородиновых, вишневых и хреновых листьев, без укропа и чеснока, то, очевидно, в сыроежки все это нужно класть. У сыроежки нет своего, специального вкуса, который жалко было бы отбивать вкусом чеснока и укропа. У сыроежки вкус грибной, но он нейтральный. Как раз очень кстати сообщить ему все, что вы считаете нужным и что любите — чеснок так чеснок, укроп так укроп.

Не едкие сыроежки можно солить сразу, но лучше их есть просто вареными. Мы набаловались и сейчас спешим

грибы чем-нибудь приправить, забывая, что грибы сами по себе обладают редчайшим, ни на что не похожим вкусом и сами являются прекрасной приправой. Сыроежка вполне годится и даже годится лучше всех других грибов, чтобы ее ели просто вареной.

(Вы пишете, что сыроежки не жарят на сковороде. Это неверно! Вся моя семья и многие знакомые — большие любители жареных сыроежек. Попробуйте пожарить сыроежки в масле, желателно, конечно, со сметаной. Вкус совершенно иной, чем у березовиков, подосиновиков и прочих трубчатых, но по-своему великолепный. Конечно, обратите внимание, что не надо жарить остро-едкие и жгуче-едкие сыроежки.)

Убедившись, что все ваши сыроежки не едки, нужно их вымыть и сварить, как варят картошку, в соленой воде, ни в коем случае не добавляя никаких приправ — ни лаврового листа, ни душистого перца горошком, ничего. Воду нужно посолить немного крепче, чем если бы вы просто варили суп. Впрочем, соль такое дело, что ее всегда кладут по вкусу. Сваренные таким образом грибы можно есть горячими, можно остудить. И в тех и других есть своя прелесть. В горячих сильнее грибной вкус и запахи, холодные же сподручней закусывать.

До некоторых пор я не знал такого простого, я бы сказал, классического способа. Обыкновенно грибы отваривают для того, чтобы потом с ними что-нибудь делать, чаще всего портить, добавляя уксус, сахар, все такое прочее. А смысл, оказывается, состоит в том, чтобы есть гриб просто вареным в одной соленой воде.

Вероятно, так варить и есть можно многие грибы, но дело в том, что сыроежки рождены для этого. Есть у нас одна излюбленная сыроежка, а именно сыроежка синяя. Она растет исключительно в еловых лесах. Шляпка у нее мясистая и крепкая. Долгое время края шляпки загнуты вниз, отчего весь гриб создает впечатление крепыша. Только потом, уж к старости, шляпка распрямляется, а затем даже может сделаться слегка вогнутой. Но и в этом случае края у сыроежки остаются неломкими, тупыми. Обычно она имеет синий, сине-лиловый, черно-лиловый цвет. Ножка у нее в молодости сплошная, плотная, срежешь — одно удовольствие, что достался такой чистый, пышный здоровьем и свежестью гриб.

Одна из сыроежек, а именно серая, появляется уже в июне. Несколько разновидностей начинают расти уже в начале лета. Некоторые встречаются в октябре. Но настоящие сыроежечные месяцы — это август и сентябрь. Правда, в это время много и других грибов, но от имени всех двадцати семи разновидностей хочется сказать грибникам — не пренебрегайте сыроежками, особенно если еще не пробовали их отваренными в соленой воде.

Не знаю, сделает ли березе честь, но к березе приписывают и такой гриб, как валуй. Подобно сыроежке, его можно встретить в самых разных лесах, но в книжке одного специалиста я вычитал, что он водится все-таки «в различных лиственных и особенно в березовых и смешанных с березой лесах». Может, оно и так. Авторитет ученой книжки должен быть велик, но мне приходилось в чистейшем ельнике нападать на такой урожай валуев, что корзина не вмещала добычи, если даже я брал одни молоденькие.

У валуя странная судьба. В самых, так сказать, глубинах народа его не считают плохим грибом, а тем более поганкой, как это происходит с шампиньонам. Все знают, что валуй — съедобный гриб, и, однако же, почти никогда не берут. А между тем он растет в таком изобилии и так бросается в глаза, что как будто нарочно создан, чтобы было чего в лесу сшибать ногами. От грибов не достается ни одному грибу, включая и мухомор, так, как валую. Может быть, потому он вызывает такие чувства со стороны грибников, что издали его часто принимают за какой-нибудь другой гриб и чаще всего за белый.

Итак, я не согласен с тем, что валуй произрастает в различных лиственных. У нас за селом на бугре есть крохотный лесок, состоящий только из одних елочек и сосенок. Там нет ни одной лиственной ветки. И тем не менее в этом хвойном лесочке каждый год в изобилии рождаются валуны. Весь лесок шагов двести в длину и столько же в ширину, то есть, казалось бы, негде повернуться. Тем не менее там можно собирать валуны ведрами, причем остается и на завтрашний день.

Как известно, в ранней молодости валуй представляет из себя шарик величиной... разной, конечно, величины, начиная от простого лесного ореха, проходя стадию грецкого ореха, до среднего яблока. Шарик покрыт обильной слизью. Когда его срежешь, то обнаружится, что есть и ножка, но она так плотно обхвачена краями шляпки, что

как будто с ними срослась. Однако эту ножку можно выковырнуть кончиком ножа, и тогда шарик делается пустотелым и там можно разглядеть чистые мелкие пластинки. А в самой глубине белое, желтоватое впрочем, пятнышко, где выковырнутая ножка была прикреплена к шляпке. Эти ножки из грибов-шариков приходится выковыривать очень часто, ибо случается, что в самом молоденьком возрасте валуй уже заражен червоточинкой, которая в молодых грибах редко распространяется дальше ножки. Таким образом, выковырнув червивую ножку, вы кладете в корзину совершенно свежую шапочку — круглый шарик, теперь уж пустой внутри. Однако нужно иметь в виду, что ножка у валуя полая, полость же эта темнее, чем все остальное мясо гриба, она почти коричневая, и на первый взгляд естественную полость в ножке можно принять за червивость.

Приближаясь к размерам мелкого или среднего яблока, края шляпки отходят от ножки, начинают постепенно распрямляться, хотя попадают и довольно крупные валуи, сохраняющие крепкую, упругую форму шара. К этому времени слизь пропадает, гриб становится сухим.

При дальнейшем росте шляпка распрямляется окончательно и может сделаться совсем плоской или даже слегка вогнутой. Речь идет о валуях с чайное блюдце. Естественно, что такая шляпка становится хрупкой, особенно по краям. На пластинах у крупных валуев обычно появляются бурые пятна, что производит неприятное впечатление загнивающего гриба. Однако пятна эти вовсе не гниль, а просто особенность валуя, вполне доброкачественная. Но даже зная это, класть такой гриб в корзину менее приятно, чем гриб помоложе, с чистыми, желтовато-белыми пластинками.

Пренебрежение к валую может происходить из следующего обстоятельства. Грибник берет корзину и отправляется в лес за белыми, осиновиками, березовиками, лисичками, волнушками. Эти грибы он будет собирать полдня и принесет домой почти полную корзину и будет разбирать, который гриб куда, и все это для грибника огромное удовольствие. Но вот, зайдя в лес, он нападает на россыпи валуев. Можно за десять минут нарезать полную корзину, и тогда нужно идти домой. А как же белые, подосиновики и волнушки? Неужели их оставлять в лесу? Перед грибником выбор: либо оставлять в лесу валуи, либо все

остальные грибы. Грибник обыкновенно отдает предпочтение всем остальным.

Можно приспособиться к этой психологии и делать специальные вылазки в лес только за валуями. В это время не нужно думать о других грибах, их можно собирать утром, а теперь задача одна — дойти до леса и нарезать великолепных валуев. Эти вылазки обыкновенно недолги, потому что валуи растут большими стаями, а точнее сказать, россыпями.

Признаюсь, что долгое время я относился к валуям с пренебрежением. Но однажды в одном московском доме, где любят вкусно поесть, подали на стол грибы. Все они были ровные по величине, и не было ни одного крупнее лесного ореха, и были они маринованные, вкусные, пользовались самым большим успехом за столом, и были это обыкновенные валуйчики.

Но и крупные валуи хороши. Нужно только правильно их приготовить, что вовсе несложно. Два или три дня их мочат в холодной воде, меняя ее по крайней мере два раза в день, а затем солят с разными листьями и специями. Через два месяца они будут готовы. И право, не знаю, отличите ли вы их от других соленых грибов, в том числе от прославленного груздя.

(Существенные дополнения читателей.)

«...Начнем с груздей, которых вы почему-то обошли молчанием. В наших лесах их четыре вида: настоящий, желтый, сухой и черный. Настоящий и желтый похожи на крупные волнушки, только белые или желтые. Черный груздь или чернушка — самый распространенный груздь под Москвой. Бывает, осенью пойдешь в крупный старый березняк, найдешь один черный груздь, становишься на четвереньки, и на ощупь одного за другим маленьких чернушек полкорзинки сразу можно наковырять. Мы их всегда сырыми солили. Через 4—6 недель становятся вкусными. Правда, для них обязательны и укроп, и черной смородины лист, и чеснок. А прошлый год попробовали сперва отварить в соленой воде, а потом посолили. Почему-то оказались вкуснее.

Вообще же, хотя официально считается лучшим настоящий груздь, по-моему, лучше всех, уступающий только рыжикам, сухой груздь, или белянка. В Подмосковье он растет в березовых лесах, дубняке и смешанном лесу с густым подлеском. Старый гриб приподнимает толстый

елой хвой, тогда надо кругом под хвоей искать маленьких беленьких, с синеватым отливом пластинок. Этим он и отличается от скрипиц. У скрипицы низ желтоватый. Не говорю уж, что у скрипицы горькое молоко, а у сухого груздя бесцветный, совсем не едкий сок. Вот Васильков относит сухой груздь (подгруздок белый) ко 2-й категории, а груздь желтый — к 1-й. Явно несправедливо. Сухой груздь — это гриб, безусловно, первого сорта. Лучше всего его солить в сыром виде. Исключительно вкусен он отварной в соленой воде, горячий со сметаной. Жарить его тоже хорошо, но не один, а с другими грибами.

Есть еще и другие грузди: осиновый, черный подгруздок. Правда, это, пожалуй, самый червивый гриб. Уж, кажется, совсем молоденький, размером еще с пятак, а срежешь — червивый».

«Как же так получилось, что про чернушку ты ни словом не обмолвился? А ведь она при оценке наших настоящих грибников стоит на 3-м месте после белого и груздя. Лет пять или больше на книжном рынке промелькнула небольшая брошюра Василия Титова. Там он описывал про подмосковных дачников. Сейчас не припомню, как называлась эта интересная книжечка, ее у меня зачитали безвозвратно. В ней Титов писал о «дне гриба». Такой день справляли дачники 1 сентября. Вот там о чернушке описано в самых ярких красках. Он ее называл черным груздем.

Чернушка по своим вкусовым качествам, пожалуй, займет 2-е место после белого. Когда лето грибное, то ее можно встретить и в начале лета. Но чаще чернушкин сезон — в августе, сентябре. Из-под слоя опавших колючек поднимаются бугорочки. Собиешь этот панцирь, а под ним



*Чернушки*



в молодом возрасте еще беленькое, чуть-чуть в середине появился коричневый налет, по донышку словно лаком мазали. Края завернутые, крепкие. В более зрелом возрасте края несколько распрямляются, но не очень. Это бывает у крупных чернушек. От чернушки, как только возьмешь ее в руки, сразу почувствуешь специфический запах, который и после варки сохраняется. Это привлекательный, очень вкусный дух. По-видимому, через этот запах на нее и нападают вредители. Чернушка еще в крепком состоянии часто попадает с червяком, но с наступлением холодов враги от нее отступаются, тогда чернушка держится долго.

Чтобы закончить дополнение читателей о груздях, сообщу, что упомянутая в читательском письме действительно замечательная книга Василия Титова называется «Когда опадают листья». Издана она в 1963 году издательством «Московский рабочий».

Стоит напомнить также, что в записной книжке Чехова есть многозначительная запись: «попробовать груздя в сметане».)

К березе или по крайней мере к лиственным и смешанным лесам нужно приписать и лисичку. Этот гриб уже тем хорош, что появляется рано. В начале июня можно собирать в лесу эти яркие морковного цвета грибы. У меня бывали случаи, что я в начале лета не находил в лесу никаких грибов, даже маслят или сыроежек, но счастливо набредал на два-три гнезда лисичек и все-таки возвращался не пустой.

Лисички — прекрасные грибы. Их хорошо есть в жареном или маринованном виде. На зубу они немного резиноватые, но и в этом есть своеобразная прелесть.

А что за радость собирать их, когда нападешь на высыпку! Лисички именно высыпают среди зеленого мха, и чем выше мох, тем длиннее ножка лисички.

Ходишь по нашему лесу, стараешься напасть на стаю лисичек, нападешь на одну или на другую, наберешь полкорзины. А вот однажды мы ехали в казенном автомобиле по Рязанской области, недалеко от Касимова. Слева от дороги тянулся березовый лесок. Он был довольно редок и проглядывался далеко. И насколько он проглядывался, весь он был сплошь усеян лисичками. Автомобиль шел вдоль леса километр за километром, а лисичек было все

столько же, как будто мы, не двигаясь, смотрели на одно и то же место. Я думаю, что там можно было насобирать несколько тонн лисичек.

Помню, в Болгарии наткнулись мы в горах на избушку. И какая-то труба, и дымок, и дрова, и вообще какая-то кропотливая деятельность. Оказывается, заготавливают грибы. Зачем? На экспорт. Сколько же платят за границей за болгарские грибы? Один доллар за килограмм.



*Лисички*

Как-то в «Правде» была напечатана статья, в которой говорилось о наших лесных богатствах. Там приводились цифры. Оказывается, в лесах только Российской Федерации вырастают следующие богатства: кедровых орехов — полтора миллиона тонн, обыкновенных лесных орехов — семь ты-

сяч тонн, клюквы — пятьсот тысяч тонн, черники и брусники — свыше восьмисот тысяч тонн, грибов — до пяти миллионов тонн.

Тут же в статье и сказано, что добывают в лесах Российской Федерации за год и грибов, и плодов, и ягод тридцать шесть тысяч тонн. Если взять карандаш и прикинуть, получится менее чем полпроцента, то есть одна двухсотая часть.

Но слишком далеко мы зашли от простой лисички. Этот гриб удивителен тем, что, вероятно, он один из всего грибного разнообразия никогда не бывает червивым.

Однажды кто-то меня натолкнул на мысль, что червяки не заводятся в ядовитых грибах. Я даже написал по этому поводу глубокомысленное четверостишие. Вот оно:

Сомнений червь в душе моей гнездится,  
Но не стыжусь я этого никак.  
Червяк всегда в хороший гриб стремится,  
Поганый гриб не трогает червяк.

Четверостишие я опубликовал, но, по совести сказать, не проверил в лесу истинности утверждения, что в ядовитых грибах не заводятся червяки. Конечно, в сморчках и в строчках, относящихся к подозрительным, червяков и правда никогда не бывает. Но ведь эти грибы растут ран-

ней весной, едва оттаает земля. Тогда нет еще в лесу никаких мух, неоткуда взяться и червякам.

Почему червяки избегают лисичек, я не знаю, да вряд ли знают об этом и ученые люди — микологи.

(Впрочем, читатель из города Волжского прислал сногшибательное сообщение: «Этим летом я летел в деревню на крыльях, предвкушая третью охоту. Но меня ждало разочарование, за весь отпуск я не нашел ни одного белого гриба (июль был жаркий, дождя не было, в отпуск приехал на 15 дней раньше). Но с пустыми руками я не возвращался. Я находил 3-4 поселения лисичек, и сетка была не пустая. Ведро я с собой не брал по вполне понятным причинам — сетку легче спрятать в карман. Так вот, большинство лисичек были червивыми. Причина? Не знаю. Возможно, потому, что в этой посадке они были единственными грибами. Как на это смотрите?»)



6

У Васнецова на картине «Царевна на сером волке» изображен еловый лес. Значит, когда художнику понадобилось изобразить лес наиболее глухой, наиболее дремучий, наиболее мрачный, сказочный, колдовской, он обратился не к просветленному березовому лесу, не к хлопотливому осиновому, не к бору свечечной прямизны, не к дубраве, по-

хожей на летнее облачное небо (только зеленые облака), но обратился к еловому лесу, и выбор его был верен.

Около нашего села есть не очень большой, правда, участок классического елового леса, так что, рассказывая, я буду держать его перед глазами.

Этот лес у нас имеет два названия. Его называют или «Барки», или «Посадка». Оба названия справедливы. Дело в том, что его посадил в свое время барин, и были это тогда молоденькие елочки чуть повыше травы, убегающие вдаль прямыми, параллельными друг другу рядами — посадка.

Именно в этой посадке моя мать насобираала столько рыжиков, что отцу пришлось запрягать лошадь, ставить на телегу коробицу и ехать на выручку. Об этом я рассказывал в одной из предыдущих главок.

Я, конечно, не помню этого леска молодым, в пору островерхого частого ельничка, когда между деревьями, а тем более между рядами деревьев росла еще трава. Постепенно ветви распространились, перепутались, образовали сплошную тень, насорили на землю своих иголок. С возрастом лес редел или, может быть, прорежался с помощью топора, чтобы деревьям не было тесно. Ели росли все выше, ветви их распространялись все шире, и вот теперь получился тот еловый лес, о котором я говорю.

В этом лесу нет никакого подлеска, ни даже травы. Коричневая темная подстилка из игл хоть и очень толста, но все же угадывается сквозь нее, что вся земля поверху прошита толстыми узловатыми корневидными. Темные коричневые стволы окружают вас в этом лесу. Они убегают вдоль во все стороны, теряясь в сумраке, смешанном из коричневого с темно-зеленым. У всех стволов снизу нет ни одной ветки, а потом выше сразу начинается широкая крона, а так как деревья все одного возраста, то и кроны у них начинаются на одинаковой высоте. Неба в этом лесу нет. Его не видно. Потому что одна ель успевает встретиться с ветвями другой ели, и они загораживают собой белый свет.

С зеленой, залптой солнцем луговины в этот лес заходишь, как с улицы в полутемную комнату. Некоторое время должны привыкать глаза, и только потом уж начнешь различать на земле каждую еловую шишку, каждый гриб. Лишь на закате лучи солнца, скользя над землей, проникают подобно красному прожектору глубоко в лес. В это время стволы с одного бока алые, а с другого — черные. Каждый бугорок, каждый гриб отбрасывает длинные черные

тени. Если же посмотреть из глубины леса в сторону заката, увидишь красную полосу неба, расчерченную стволами деревьев. Все как-то причудливо, нереально, фантастично в этот час в нашем еловом лесу. Если бы это было рассветное солнце, вероятно, небо слепило бы и вокруг каждого ствола сиял бы еще и ореол, но теперь на закате все спокойно, безмолвно, мертво.

Совпадает почему-то, что, как только зайдешь и несколько углубишься в этот лес, сразу зловещим голосом закричит какая-то птица. В устоявшейся тишине и настороженности даже вздрогнешь от ее крика. Последние годы стало мусорно в этом лесу. Никто не убирает нападавших с елей, отживших сучьев. Но я еще помню, что в нем было чисто, словно в хорошо подметенной избе, если считать полом толстую подстилку из темных еловых игл. Эта подстилка немного пружинит при ходьбе, по ней скользит нога, на ней отчетливо виден каждый даже самый маленький гриб, а тем более выделяется взрослый, красавец из красавцев — белый.

Эти заметки — не стихи, не поэма, не даже рассказ. Здесь надо бы говорить о грибах так: «Белый гриб — общеизвестный вид дикорастущих шляпочных грибов, плодовые тела которых представляют ценнейший продукт питания, используемый во многих странах мира и особенно в Советском Союзе», как и пишет о них ученый человек Б. П. Васильков в своей книге «Белый гриб. Опыт монографии одного вида». Или вот еще категоричнее: «Белый гриб — самый ценный из всех съедобных грибов».

В другой книге читаем про белый гриб почти то же самое: «На взгляд настоящего грибника мы вели себя как невежды, потому что, не дрогнув, обходили разные сыроежки: красные, как ягоды брусники, желтые, белые, голубоватые, дымчатые и даже зеленые, а также лисички, волнушки, скрипицы, дарьины губы, грузди, не говоря уж о валуях».

Рыжики и маслята (по сути, одни из лучших грибов) невежественно и вульгарно пренебрегались нами. Березовики и подосиновики не удаивались попасть в число избранных.

Мы охотились исключительно за белыми, да и у тех отрезали одни шляпки. При этом жалко было не столько бросать плотный, тяжелый, как бы из свиного сала корень, сколько разрушать красоту одного из шедевров природы.

Здесь, как и во всем. Пока смотришь отдельно на ры-

жик, кажется, не может быть гриба красивее его. Эта ядреность, эти темные кольцевые полосы по огненно-рыжему фону, эта хрустальная лужица в середине гриба. А попадает молоденький подосиновичек, разворошивший своей головенкой пепельную плотную лнству, и померкнут все рыжикн. Белый корешок, полненький, словно бутуз мальчонка, и шапочка, сделанная из красного бархата.

Смотришь на все эти грибы и думаешь: чего это зовут белый гриб — «царем грибов»? Окраска простая, даже скромная, нет никакого вида. Разве что за вкус, за качество. Но когда еще издали увидишь его — забудешь все. Все будет, как если бы вместо разных духовых инструментов или гармоний заиграла вдруг скрипка. И просто ни с чем не сравнимо! Да, это царь грибов. Это маленький шедевр природы!»

Немного совестно выписывать столь длинную цитату из книги, написанной тобой же, но, по-моему, лучше честно повторить сказанное ранее, чем стараться сказать то же самое, только другими словами. Насчет шедевров, может быть, не совсем так, потому что у природы не бывает более талантливых и менее талантливых произведений. Все, что природа создала, независимо от того, слон это или муравей, вполне совершенно в своем роде. Конечно, с точки зрения пчеловода, муравей бездарен, но, с точки зрения производства муравьиного спирта, бездарна, напротив, пчела, муравьишка же, самый плохонький, справляется с этой задачей идеально, так что я серьезно говорю, что нет у природы более талантливых и менее талантливых произведений. Делить на те и другие их можно только с нашей, человеческой точки зрения. Мы считаем, что береза лучше осины, морковь лучше горького лопуха или крапивы, подосиновичек лучше мухомора. Хотя эта точка зрения не поддерживает никакой критики.

Конечно, морковь кладут в суп или едят так, ибо в ней много витамина «А». Но ценнейшее репейное масло получают все-таки из растения, называемого нами горьким лопухом. Но хватит, хватит. Остановимся на том, что, с нашей точки зрения, существуют более удачные и менее удачные творения природы. Может быть, комар весьма совершенное существо, но для меня он никогда не станет ценнее, благороднее, талантливее пчелы.

Итак, с нашей человеческой точки зрения, можно говорить о грибах-талантах, о грибах-шедеврах и, напротив, о грибах-посредственностях и даже бездарностях. Все это я

веду к тому, что в лесу у каждого гриба-таланта, гриба-шедевра есть подражатели, имитаторы, приспособленцы, которые так и называются — ложными. Ложный опенок, ложная лисичка, ложный шампиньон, ложный валуй... Впрочем, валуй и сам, хотя и не считается ложным белым, обладает чудовищной способностью казаться издали превосходным белым грибом. В связи с этим мне и хотелось бы сказать подмеченные мною замечательные особенности благородного «царя грибов».

Да, сколько раз я бросался в сторону сквозь кусты, увидев буроватую округлую шляпку белого гриба. Еще в трех шагах иногда сомневаешься: не может быть, чтобы валуй был так похож, так подделал себя под белый гриб, и, только наклонившись и взяв уже в руки, убеждаешься, что в руках подделка, фальшивка: вместо глубокого таинственного мерцания бриллианта — дешевенькое зеркальное блескенье стеклышка, вместо ровного горения золота — досадное ощущение позолоты, вместо солидной, уверенной тяжести серебряного кубка — бездарная легкость алюминия... С досады и огорчения отбросишь подальше сорванный валуй и пойдешь, размышляя о том, что и в жизни и в искусстве, например, очень часто бездарность подделывается под талант и еще более ловко, так что не отбрасываешь в сторону, а принимаешь за чистую монету.

Но я, много раз принимавший издали валуй за белые грибы, хочу сказать, что ни разу еще, увидев настоящий белый гриб, я не принял его за валуй. У Глазкова есть четверостишие о необратимости сравнения. Там говорится о том, что свистящий на плите чайник напоминает сирену, но настоящая сирена не напоминает свистящий чайник. Так и здесь.

Чем еще бесценен белый гриб для охотника-грибника? Тем, что каждый раз, когда находишь его, сердце екает дважды. Первый раз оно екает, когда увидишь прекрасный белый гриб и уже понимаешь, что теперь он никуда не денется. Теперь можно обойти его вокруг, полюбоваться им с разных сторон, поглядеть, как он, так сказать, вписывается в лесное окружение, как он сочетается с той еловой веточкой, прикрывающей его от глаз прохожего. С тем узловатым еловым корнем, у которого он растет, с той муравьиной тропой, по которой ползают взад и вперед, как по бойкой автостраде, лесные труженики — муравьи. Да мало ли с чем может сочетаться, образуя микроландшафт,

микрорейзаж, красавец белый гриб. И былинка, и клочок мха, и слипшиеся иглы подстилки, развороченные тем же грибом во время роста, и другие грибы соседи: мухомор, мокруха, валуй.

Любуешься своей находкой, а на душе беспокойно. Красив-то он красив, но ведь может быть съеден червяком. Срежешь, а внутри труха или если не труха, то все в бесчисленных дырочках и крохотные беленькие червячки. Будешь в последней надежде отрезать от корня белые колесики: может, ближе к шляпке нет червяков. Вот уже и последний срез, вплотную к шляпке, но и тут дырочки червоточины. Остается разрезать саму шляпку. Разрезаешь и бросаешь на землю. Добыча, оказывается, не твоя. Еще раньше тебя нашли тот гриб противные лесные мухи и сделали его своей добычей, отложили яички, из которых и развелись теперь еще более противные лесные черви.

Но зато, когда срежешь гриб у самой земли и увидишь, что мясо корня так же бело и чисто, как сметана или свиное сало, тогда второй раз екнет сердце. И получается, что один гриб ты нашел как бы дважды, испытал от него двойную охотничью радость.

(Во всех популярных книгах и статьях о грибах проклинаются грибники-варвары, которые не срезают грибы, а срывают их целиком, с корнем. Мне приходилось прислушиваться к тому, что говорят умные люди, и мотать на ус, чтобы не слыть варваром, хотя я-то прекрасно знал, что одно удовольствие — срезать белый гриб, а совсем другое удовольствие — сначала слегка раскачать его в земле, пока, хрустнув, он не отделится от грибницы, а потом осторожно извлечь из глубокого земляного гнезда. В это время наглядно видишь, что если бы срезал гриб — значит, добрую половину его (по массе) оставил бы истлевать в земле.

Но вот наш крупный миколог, ученый, посвятивший всю жизнь грибам, человек, написавший о белом грибе книгу, Б. П. Васильков утверждает, что срезать белый гриб вовсе не обязательно и что если срывать его, то грибница все равно не страдает. Обрываются какие-то там тяжики, соединяющие ножку гриба с грибницей. Василькову следует верить и, значит, не следует ругать грибников, которые сначала срывают белый гриб, а потом уж очищают его ножом.

Разумеется, есть грибы, которые срезать даже прият-



нее, чем срывать. Например, рыжики, маслята, опенки, да и сами грузди. Срезая же белый гриб, теряешь половину удовольствия.)

Когда срываешь масленок, или сыроежку, или даже рыжик, не приходит в голову понюхать его, втянуть в себя острый и тонкий аромат гриба, бог весть где найденный им в земле и собранный на хранение. И зря, что не приходит в голову, ибо очень душист масленок, прекрасно пахнет рыжик, благоухает опенок, поражает запахом шампиньон. Но все эти грибы растут стаями, вереницами, и было бы смешно нюхать каждый гриб. Разве что понюхаешь, даже и разломив, самый первый, найденный в этом году.

Напротив, найдя белый гриб и бережно сорвав его и держа в ладонях это крепкое, прохладное, тяжелое, бархатистое образование, первым делом хочется поднести к лицу и медленно, прочувствованно втянуть воздух, чтобы к свежему ощущению утрениго леса присоединилось еще и это новое ощущение, — запах гриба. Но тут-то и ждет разочарование. Дело в том, что белый гриб в отличие от своих менее благородных сородичей, разных там маслят, совершенно лишен какого бы то ни было аромата и запаха. Свежий белый гриб и не пахнет ничем. Разве что отдаст немного прохлады и свежестью.

Тем удивительнее, что, будучи высушенным, белый гриб приобретает вдруг крепчайший, самый что ни на есть грибной аромат, тот самый аромат, который мы и называем грибным и который в других грибах присутствует уже как бы в разбавленном виде.

Запах сушеных белых грибов не сравним ни с чем: ни с запахом других грибов, ни вообще с какими-то ни было запахами. Естественно поэтому, что все блюда, в которых участвуют сушеные белые грибы, необыкновенно ароматичны и вкусны. Еще естественнее, значит, что любое другое приготовление белых грибов, помимо сушки, представляется мне порчей бесценного уникального продукта, дарованного землей.

Нет слов, жаркое из белого гриба очень вкусно. Но, говоря правду, если дегустировать, как дегустируют на курсах вина, не зная сорта, то, что называется «втемную», то окажется, что в жареном виде белые грибы ничуть не вкуснее маслят, подосиновиков, подберезовиков, лисичек, не говоря уж о шампиньонах.

Конечно, маринованные белые грибы очень хороши и красивы. Их бурые шляпки делаются в маринаде светлее, до нежно-желтых, ножки остаются белыми. И вот они выглядят в банке и на тарелке, как будто сейчас из леса. Они выглядят в банке гораздо аппетитнее маринованных же маслят, лисичек, подберезовиков. Но положи руку на сердце, я не могу сказать, что у маринованного белого гриба был какой-нибудь особенный вкус по сравнению с другими грибами, который выделял бы его из ряда всех остальных грибов, а тем более ставил выше.

Что касается соленья, то белые грибы практически не солят.

Это утверждение, конечно, условно. Каждый гриб в его употреблении может стать универсальным. Можно жарить сыроежки, рыжки, грузди и, наоборот, солить маслята и подосиновики. Можно сушить шампиньоны, дождевики, лисички и мариновать строчки и сморчки. Короче говоря, можно с каждым съедобным грибом производить все четыре операции: жарение, сушка, соленье и маринование.

В Болгарии я пробовал варенье из моркови и зеленых помидоров. Оказывается, возможно и это. Но все же каждый согласится, что лучше морковь положить в суп, а варенье сварить из земляники.

Так и здесь. Можно, конечно, груздь и белый поменять местами, то есть груздь высушить, а белый гриб засолить. Однако речь идет о наилучшем, о наиболее целесообразном, как говорится, об оптимальном использовании того или иного вида гриба.

И вот остается — сушка. Как известно, белые грибы сушат по-особенному. Не на железных листах, не на противнях, но нанизанными на нитку. Раньше их нанизывали на тонкие лучинки, а лучинки эти нижними концами опускали в горшок, наподобие того, как цветы ставят в вазу. Таким образом из горшка торчали пучком лучинки с нанизанными грибами. Грибы, конечно, цельные, нерезанные, подобранные один к одному. Все это приспособление ставили в печь, в которой уже не очень жарко, но и не холодно. Хозяйка знала, когда поставить.

Сушеные белые грибы так и продают нитками или сизиками. На каждом рынке можно увидеть торговки с сушеными белыми грибами. Нитка поменьше — один рубль, побольше — два с полтиной, еще побольше — пятерка. Если перевести на вес, то сушеные белые грибы окажутся во много раз дороже и мяса, и рыбы, и самых редких фруктов,

и меда, и орехов, и всего съестного, пожалуй, даже дороже черной икры, несмотря на то что она теперь у нас искусственно дорога.

Да и стоит. Не только потому, что бульон из белых грибов в семь, не то в девять раз калорийнее мясного, не потому, что, говорят, систематическое употребление белых грибов служит профилактикой от ужасной болезни — рака, но и просто потому, что сначала сушеные, а потом соответствующим образом вареные белые грибы вкуснее всего на свете. То есть не то что сами грибы, но тот вкус, который они придают всякому из них приготавливаемому блюду, чаще всего таким блюдом является суп из сушеных белых грибов.

Про все другие грибы можно сказать, что их любят собирать молодыми. Молодой масленок, подосиновик, подберезовик, рыжик с трехкопеечную монету, молоденький валуек... И только найдя большой белый гриб, радуются больше, чем когда найдут молоденький и маленький, лишь бы этот гриб не был червивым. В самом деле, не так уж много радости, когда попадется пусть крепенький белый грибочек, величиной ну хоть с грецкий орех. Приятно, конечно, но даже как-то жалко срывать, славно оставить бы его, чтобы подрос, раздался и ввысь и вширь, а главное, чтобы налился весом, отяжелел, чтобы рука, держа его, чувствовала уверенную драгоценную тяжесть. Белый гриб с чайную чашку радует сильнее. Кладешь в корзину и видишь, что положил нечто. Если же с чайное блюдце, но с округлой еще шляпкой и с ножкой, которую теперь в свою очередь можно сравнить с чайной чашкой, перевернутой вверх дном, и если нечервив и если не успела еще пожелтеть исподняя сторона шляпки, но все еще она бела и плотна, то вот и настоящая удача, настоящая радость грибника.

С возрастом нижняя трубчатая часть шляпки действительно желтеет, не только желтеет, но как бы редееет, становится рыхлой. Начинают различаться трубочка от трубочки. Гриб снизу делается ноздреватым вместо прежней, ровной, несколько матовой, плотной белизны.

Ножка гриба с возрастом тоже меняет цвет. Из похожей на перевернутую чайную чашку она делается похожей на стакан. Потом шляпка перерастает ее и она уж кажется довольно тонкой, вернее, не очень толстой по сравнению со шляпкой. Но, конечно, никогда, ни в каком возрасте белый гриб нельзя назвать тонконогим.

Вообще же, что касается размеров белого гриба, то

автор монографии о нем Б. П. Васильков пишет так: «Чаще крупные экземпляры белого гриба произрастают в средней, умеренной полосе СССР при средних условиях увлажнения почвы и воздуха. Самый крупный экземпляр его, который пришлось мне вообще видеть, был собран в начале сентября в Ленинградской области в смешанном сосново-елово-березовом лесу. Он имел шляпку 21×27 в диаметре и 9 см толщины, ножку 14 см длины и 9 см толщины, вес всего гриба был 1,5 кг, при этом он выглядел еще молодым, совершенно свежим и крепким, с клубневидной, невытянувшейся ножкой и, вероятно, мог бы расти еще. По устному сообщению Г. Р. Ибрагимова, однажды им был встречен на Кавказе, на высоте 1600 м над уровнем моря, в грабовом лесу экземпляр белого гриба с диаметром шляпки 33 см и диаметром ножки 14 см. По сообщению «Юманите» от 20.X.1961 года, во Франции найден белый гриб весом в 3 кг 200 г со шляпкой, имевшей в окружности 105 см,—следовательно, с диаметром шляпки 33,4 см. Но рекордный по размерам белый гриб был найден в Белорусской ССР, под Минском, с диаметром шляпки в 58 и ножки в 15 см, о чем было передано по Московскому радио 20.X.1961 года. Надо, однако, заметить, что плодовые тела таких размеров встречаются исключительно редко».

Вот видите, даже пишет «Юманите» и сообщает Московское радио. Вот что такое белый гриб, какое событие, когда попадаются необыкновенные экземпляры. Но Б. П. Васильков не прав, говоря, что белорусский гриб — рекордный. Странно, что ученый человек, специально занимающийся изучением белого гриба, прозевал сообщение газеты «Советская Россия». Я теперь не помню, в котором году это было, но сдается, что тоже не в шестьдесят ли первом, то есть одновременно с французской и белорусской находками. «Советская Россия» извещала, что под Владимиром, в нескольких километрах от города, а именно в загородном парке, в сосновом лесу, мальчиком был найден белый гриб следующих размеров: диаметр шляпки — 46 см, высота гриба — 40 см, диаметр ножки — 26 см. Весил гриб более шести килограммов. Он был крепок, свеж и, может быть, действительно мог бы расти еще. Вот это действительно рекорд! Конечно, от нас, владимирцев, не зависело, чтобы именно под Владимиром вырос такой гриб, но все же чем-то приятно, что вырос именно у нас, а не под Рязанью или Смоленском.

(Вот что пишут читатели об урожае белых грибов в других местах.

«Выехали мы из Братска на катере и через три с половиной часа были на месте, в Большеокинском заливе Братского моря. Когда мы сошли на берег (было нас человек 10—12) и пошли по береговой линии, то я был поражен. Примерно на километровой полосе, шириной до 300 м, были сплошным покровом одни белые грибы разных размеров с редкими вкраплениями рыжиков. Грибов было невероятно много (слово «невероятно» в письме подчеркнуто).

Мы все, кто только приехал, набрали столько, сколько было тары. Я, например, набрал 6 ведер. Надо добавить, что брали мы только небольшие грибы со шляпкой 3—5 см и с таким же корнем. Основная масса грибов, более крупных, нами вообще не брались. Надо также сказать, что очень большое количество грибов было тронутو червем.

Мой тесть, который тоже был со мной и который прожил всю жизнь под Горьким (г. Богородск), был так удивлен этим обилием белых грибов, что долгое время никак не мог прийти в себя и все время говорил, что если приеду домой и буду рассказывать, то никто не поверит. Так оно и было. Я в этом году заезжал к нему, и он подтвердил мне это: никто не верит его рассказам.

В общей сложности на этом месте побывали за грибами человек не менее ста. Каждый из них увез с собой не менее 5 ведер. А сколько осталось нетронутых из-за размера и червивости?!

Удивительно то, что грибы, можно сказать, росли на глазах. Если присядешь и внимательно будешь наблюдать минут 5—10 за одним местом, то можно увидеть, как начинают шевелиться иголки и листья. Подойдешь к этому бугорку, раскроешь иголки и обязательно увидишь рождающийся гриб со шляпкой в 2—3 см. Было это обилие грибов в 1966 году».

«Есть такое понятие — «ленточный бор». Между Иртышом и Обью прямо поперек их современному направлению тянутся полосы хорошего соснового бора. Таких полос-лент 4 или 5. Это — реликты древних (времен мамонтов) рек. Тогда реки текли с юго-запада на северо-восток, а потом на планете многое перестроилось, и в частности иначе потекли современные Иртыш и Обь. Так вот, на лентач речных песков — дюи и выросли эти боры. В один из таких боров, под самый город Камень-на-Оби я и поехал в субботу. По спидометру это 190 км (от Новосибирска). Бор

чудный, моховой. Подлесок сосновый (карандашник), увалы, бугры затянуты белым мхом. Во впадинах (заросшие древние озера) смешанный лес.

Лес тихий, торжественный, чистый, почти сказочный. Ничего подобного в жизни я раньше не видел ни западнее Урала, ни на Урале, ни восточнее, ни южнее его. Эта необычность создается сочетанием могучего соснового бора, подлеска, ниже роста человека, серебристо-белых моховых бугров (без подлеска), торжественной тишины и каких-то фантастических полчищ молчаливых неподвижных ратей грибов, по преимуществу тоже необычных, могучих.

Количество их невероятно велико. На охватываемом взором пространстве 100—200 м в глубь бора вы видите не десятки, а сотни грибов. Огромные яркие мухоморы. Полосы, цепочки, пятна и кружевные дорожки моховиков, маслят. Яркие гнезда рыжиков. Бугры вздыбленной хвои с белоснежными закраинами выглядывающих из-под нее груздей. Огромные, с большую опрокинутую миску, купола подберезовиков и красноватые купола подосиновиков. Какие-то неведомые мне громадные грибы, образующие целые полосы. Но самое-то главное, что вызывает изумление, даже потрясает вначале,— это вид белых грибов среди этих грибных разноплеменных полчищ. Они стоят в одиночку и большими группами, по 10—20 штук и более, темно-коричневые и светлые, с мощными распрямленными куполами, окруженные серебристым мхом и бурой хвоей со стежками белого мха.

Вокруг этих великанов из-под хвои, мха, вздыбливая их и приподнимая случайные сосновые сучья, проглядывает «молодежь», крепкие литые «кулачки».

Потом я узнал, что все виденное мною не какая-то грибная вспышка. Это обычная, во всяком случае частая картина в этом бору, в этом его районе (про другие районы огромного ленточного бора не могу определенно сказать это же самое).

Один из шоферов нашего института уверял меня, что в этот бор он ездит регулярно, начиная с 1959 года, и каждый год видит там великое обилие всякого гриба, в том числе белого и груздей. Он заверял меня, что так бывает каждый год до октября месяца».

Мне остается добавить только от себя, что в том, 1967 году у нас во владимирских местах уродилось очень много

белых грибов. Сначала я ходил по перелескам вокруг Алепина и приносил по 125—150 отличных белых. Потом я решил съездить в легендарную Дуброву — в лес, который начинается в 8 км от нас и тянется на 10 верст до Петушков и дальше к Москве. Не нужно, оказывается, ни Братского моря, ни ленточного бора между Иртышом и Обью. Грибов было столько, что мы в конце концов убежали из леса, зажмурившись, иначе уйти было невозможно. На каждом шагу попадались россыпи белых, притом молоденьких, только еще пробивающихся из земли.

Но здесь уже охота превращалась в промысел, и я больше не поехал в Дуброву, а предался неторопливой охоте за самым благородным грибом — за боровым рыжиком. Темно-оранжевые чайные блюдца проглядывали в этот год на сухих сосновых опушках сквозь все еще зеленую, но все же осеннюю траву).

Я начал говорить о белом грибе в связи с еловым лесом, хотя известно, что белый гриб водится в лесах почти всех основных типов, то есть сосновом, еловом, дубово-широколиственном и березовом, избегая лишь осиновых и ольховых лесов. Получается, таким образом, разнообразность одного и того же гриба, отличающаяся и окраской шляпки и, что важнее, плотностью грибной мякоти. В березовых лесах водится белый гриб с более светлыми шляпками, в сосновых и еловых — они более темные, до темно-коричневых, почти черных, а подчас и темно-вишневых. Во всем остальном разница невелика. А может, и вообще нет никакой разницы. Тем не менее как ученые люди, так и заготовители склонны отдавать предпочтение еловому грибу. Какую-то из разновидностей нужно было все же узаконить как норму, чтобы все остальные разновидности считались лишь отклонением от нее. Так вот за норму в микологии принята именно еловая.

Но я-то вовсе не потому связал для себя белый гриб с еловым лесом, но лишь потому, что в наших местах, лесах и перелесках, стоящих вокруг Алепина, в пределах досягаемости грибника с кузовком, белый гриб растет главным образом под елками.

Известно, что белые грибы заводятся только в старых (старее пятидесяти лет) лесах. Нашей барской посадке, с описания которой я начал эту главку, естественно, больше пятидесяти, и в ней водятся белые грибы. Интересно, что в

середине леса они встречаются редко, а вырастают по краю, шагов на пятьдесят в глубину.

Ученые установили, что вообще грибы любят водиться в лесах, где верхний моховой и почвенный покров несколько поврежден деятельностью человека. Говорят, в тайге заблудившиеся люди либо экспедиции по появлению грибов узнают о близости человеческого жилья, села, деревни, вообще человека.

Но к нашему лесу это правило не подходит, потому что все наши перелески очень невелики, они насквозь вдоль и поперек больше чем на два десятилетия и человеком и скотиной, так что окраинная полоса не имеет в этом смысле никаких преимуществ перед серединой леса. И тем не менее в посадке грибы растут только по краям. Если сказать, что в середине леса темнее, чем ближе к краю, то там совсем не вырастали бы грибы, но они растут, только их гораздо меньше.

Собирать белые грибы в этом лесу одно удовольствие. Я уж говорил, что здесь нет ни подлеска, ни травы, ни даже мха: чистая, ровная, несколько пружинящая подстилка из многолетних еловых игл. Сквозь нее-то и прорастают крепкие темно-бурые красавцы. Гриб стоит не загороженный, открытый со всех сторон, посланный, вытолкнутый к нам, на свет божий из-под темной подстилки какой-то неведомой животворной силой.

Другие наши леса не ухожены. Частый осинник, березнячок, заросли орешника, тут и рябинки, тут и лесная ива, тут и калина, тут и лесная ягода. Среди этой зеленой путаницы стоят редкие дремучие ели. Каждая ель раздвинула вокруг себя зеленую путаницу и держит под собой просторный, пустой полумрак. Под ее широко раскинутые ветви входишь из лиственной чащеры, как в некое помещение, потому что под этими ветвями ничего уж нет — ни кустика, ни прутика, разве что старый замшелый пенек. В хороший год почти под каждой такой елью обязательно растет два-три белых гриба. Вся охота состоит в том, чтобы продираться, раздвигая руками чащеру, от ели до ели, где переведешь дух, осмотришься и — глядишь — белый гриб!

Вообще же мы не можем похвастаться обилием белых грибов. По-настоящему за ними нужно ехать верст за двенадцать от нашего села, за Черную гору, к Неражи, в лес, называемый «Дубравой». У нас же добычу меряют на штуки. Так и говорят: тетя Аня нашла двадцать белых, Игнат собирал девяносто. Эта цифра очень большая для наших



мест, и по столько добывают очень редко. Все больше от десятка до сорока. Правда, один василёвский мужик в той же еловой посадке в начале лета, когда никто еще не думал, что пошли грибы, попал в удачный момент и набрал полную корзину молоденьких белых грибов, не больше куриного яйца, которые только что дружно высыпали. Будто бы их оказалось триста сорок. Но это уж вовсе редкая удача, если не сказать — исключительный случай.

Я все удивляюсь, когда гляжу на дерево ли, на цветок ли, теперь вот на гриб.

В самом деле, растут две яблони. Если мы будем изучать физические и химические свойства их древесины, корней, листьев, лепестков, цветочной пыльцы и так далее и так далее, то, может быть, и не найдем очевидной разницы. Может быть, нет очевидной разницы и в тех веществах, которые дерево тянет из земли и берет из воздуха. Ну, там азот, кислород, всевозможные углеводы. И тем не менее на одной яблоне вызревают кислые и горькие плоды, а на другой в десяти шагах, так что, вероятно, переплетаются корни, — сладкие и душистые.

Дело в пропорциях, ответят мне. Те же органические и минеральные вещества можно смешивать в разных дозах, вот и получаются разные результаты. Но я и спрашиваю, где та чудесная, та гениальная, та непостижимая лаборатория, которая дозирует, смешивает (и знает, что брать) и смешивает из века в век, в одной и той же пропорции. Запрограммировано в семечке, скажут досужие люди. Допустим, хотя и это удивительно, чудесно и не поддается воображению, чтобы все там содержалось на века вперед: и будущий химический состав плода, и отсюда его запах, вкус, окраска, форма, а также и способность к воспроизведению себе подобного.

Да ведь и семечка-то, в котором содержалась программа, давно уж нет. Осталось дерево, которое все можно обыскать при помощи могучих микроскопов и хитроумных анализов. Дойдем до клетки. И до ядра. И все-таки не дойдем до фантастической лаборатории, способной создавать из бесформенных и беспорядочно валяющихся вокруг веществ либо антоновское яблоко, либо белый гриб.

Каждый раз не могу не удивляться, когда поблизости от белого гриба вижу яркие мухоморы. Что и говорить, гриб красив. Ярко-красный, с белыми крапинками по красному полю, он украшает черный колорит елового леса, внося прекрасное и нужное глазу разнообразие. Гриб выделя-

ется своей красотой или, скажем для тех, кто не считает его красивым, своим видом из всех остальных грибов. Валуи бывают издали похожи на белый гриб, как белый гриб, в свою очередь, может быть похож на подберезовик. Но красный мухомор не спутаешь ни с каким грибом ни на одно мгновение ни издали, ни вблизи.

Обычно про его окраску пишут в следующем роде: «Он своим ярким видом, бросающимся в глаза, как бы предупреждает — стой, я опасен, не трогай меня, здесь запретная зона!» Вот опять проявляется самоуверенность человека. Да, может, красный мухомор вовсе о нас и не думает! Может быть, он так ярко окрашен для того, чтобы его быстрее можно было найти тем, кому он до зарезу нужен.



Так оно, наверно, и есть. Но сначала про удивление. Я всегда удивляюсь: растет ведь рядом с белым грибом. Но, оказывается, в микроскопической споре, из которой он вырос, уже предопределено, что он будет собирать в себе не добрые, полезные людям соки, а ядовитые, вредные вещества. Правда, я всегда подозревал, что для чего-нибудь это природе нужно. Не может быть, чтобы она так, ни с того ни с

сего, взяла и произвела красный мухомор, как если бы завитушку на колонне, нечто вроде архитектурного излишества. В природе этого не бывает. Я всегда думал так, и какова же была моя радость, когда недавно в досуговой «Неделе» я вычитал, что красный мухомор служит лекарством для лосей. В статье было написано, чтобы люди не сшибали ногами не нужные им и даже вредные для них мухоморы, но обходили бы их стороной, оставляя для больных лосей как, может быть, единственное лосиное лекарство. Для нас-то, конечно, мухомор ядовит, но пора нам перестать мерить природу по себе.

Впрочем, ядовитость красного мухомора сильно преувеличена. Некоторые источники даже утверждают, что он вполне съедобен и нежен на вкус, надо только его соответствующим образом приготовить. Не знаю, рисковали ли сами авторы таких утверждений, но все сходится на том, что от красного мухомора не умирают. Более того, имеют

ся исторические сведения, что древние викинги перед сражением наедались красных мухоморов, сильно пьянели, возбуждались и тогда уж очертя голову бросались в сечу. Нечто вроде современного допинга, который тайком глотают некоторые футболисты.

В книге «Грибы — друзья и враги человека» о действии красного мухомора на человеческий организм написано: «Симптомы отравления человека красным мухомором первоначально выражаются в сильном опьянении... вскоре появляется состояние, похожее на белую горячку, состояние опьянения длится несколько часов, после чего больной засыпает, а проснувшись через некоторое время, чувствует себя уж лучше. Полное выздоровление наступает через два-три дня. Случаи смерти при отравлении редки и имеют место при больших количествах поглощенного гриба, оказавшихся непосильными для ослабленных организмов стариков, при осложнениях у детей и лиц, страдающих болезнями сердца и почек».

Говорится также, что во время опьянения грибом возможны рвота, головокружение и холодный пот. Но разве все это невозможно и при обыкновенном опьянении от напитков, широко продающихся во всех магазинах мира. И разве невозможно умереть от водки — «при больших количествах поглощенного, оказавшегося непосильным для ослабленных организмов...»

Вообще же ядовитых грибов в наших лесах очень немного. Вот передо мной список всех больших грибов, приведенный Б. П. Васильковым, с разделением на категории. Мне трудно судить, насколько он полон. Например, я не вижу в нем гриба под названием «колчак», который я сам собирал и ел и находил указание о нем в других источниках. Как бы то ни было, Б. П. Васильков привел сто пятьдесят три названия грибов, разделив их на четыре категории. К первой, то есть лучшей из лучших, относятся белые, некоторые грузди и рыжики. Сверх четырех категорий выделены «несъедобные, неиспытанные, похожие по виду на съедобные». Всего четырнадцать названий. К собственно ядовитым отнесено лишь семь видов грибов, включая и строчок.

Однако в другой книге, «Грибная быль», написанной Л. П. Кудрявцевой-Молодчиковой, категорически сказано: «Ядовитых грибов всего-навсего шесть видов. Все ядовитые только мухоморы!» Значит, строчок реабилитирован. Впрочем, и Б. П. Васильков поместил этот гриб и туда и

сюда, то есть и в съедобные и в ядовитые. Не знают, как быть с этим грибом, и все из-за того, что зачем-то он собирает и концентрирует в себе гельвеловую кислоту. Далась ему эта гельвеловая кислота!

Бледная поганка тянет из земли нечто другое, а именно фаллоидин. Если гельвеловая кислота хорошо растворяется в воде и начисто уходит из гриба при кипячении, а также при сушке, то фаллоидин «сохраняет свою токсическую активность даже после двадцатиминутной варки при температуре сто градусов и не растворяется при этом в воде, сохраняясь в грибных тканях» («Грибы — друзья и враги человека»).

Конечно, отравиться можно и нормальным грибом, если это перестарок. Утверждают, что в старости каждый гриб немного ядовит. Но по-настоящему ядовит и беспощаден в наших лесах один только гриб. Называется он бледная поганка. Если сравнивать со змеями, то остальные ядовитые вроде гадюки, после укуса которой человек чаще всего выживает. Бледную поганку можно сравнить только с гюрзой или коброй. Пожалуй, даже она страшнее, потому что бывали все же случаи, когда после укуса и этих змей человека вылечивали при помощи специальных сывороток. Такие случаи, вероятно, редки, но они были. Зато не удалось еще спасти ни одного человека, съевшего бледную поганку.

Все лекарства мира бессильны против нее. Это зависит не от того, что ее яд сильнее яда гюрзы («Действие фаллоидина на организм человека может быть сравнимо с отравлением ядом змей»), но от того, что этот гриб коварнее змеи, хотя змея в человеческом представлении олицетворяет коварство.

Коварство бледной поганки состоит в том, что много часов после рокового ужина или обеда съевший поганку не замечает никаких признаков отравления. Никакого беспокойства, никаких тревог. А между тем яд делает свое дело. Потом появляются признаки, но тогда уже поздно. Вот как описано действие бледной поганки в книге «Грибы — друзья и враги человека». «Первые признаки отравления этим грибом проявляются через 10—12, иногда даже через тридцать часов после принятия пищи и заключаются в головной боли, в головокружении, нарушении нормального зрения и беспокойном состоянии. Больной ощущает сильную жажду, жгучую боль в желудке, судороги в конечностях. Вслед за этим наступают холероподобные признаки

в виде желчной рвоты или поноса... Сильные боли ощущаются в печени и в животе, особенно при надавливании. Появляется обильный пот, холодеют конечности, пульс становится слабым, температура падает до 36—35 градусов. Через несколько часов в приступах наступает затишье, продолжающееся часа два, но затем приступы снова возобновляются, больной слабеет, впадает в забытие, пульс у него становится нитевидным и неправильным, а через день-два наступает смерть... Основным ядом, содержащимся в бледной поганке и обуславливающим отравление, является фаллоидин. Токсическое действие настолько сильно, что четыре мг его достаточны для отравления кошки, двадцать пять мг — смертельная доза для собаки, а для человека среднего веса — 30 мг... При вскрытии трупов лиц, отравившихся бледной поганкой, обнаруживается полное перерождение тканей печени, почек, сердечных мышц и селезенки... Лечение человека, отравившегося бледной поганкой, к сожалению, не дает надежных результатов, так как ко времени появления симптомов токсин гриба успевает уже проникнуть в кровь больного и удаление его отсюда невозможно».

Вот какое злодейство может произрасти из доброй земли, из доброго воздуха, из доброй воды, из доброго солнца. Правда, мы уж знаем, что тот же змеиный яд — прекрасное лекарство, облегчающее страдание больного человека и возвращающее ему здоровье. Я думаю, и бледная поганка зачем-нибудь да нужна, если ее создала природа. Когда-нибудь, вероятно, узнают ее полезную сторону, и она будет ценнейшим растением. Но пока что, дорогие грибники, берегитесь бледной поганки.

В наших подмосковных и более северных местах отравления этим грибом или чрезвычайно редки, или вовсе исключены, потому что всякий ядовитый гриб можно положить в корзину, только спутав его с каким-нибудь другим хорошим грибом. А с чем же можно спутать в наших местах, например, красный мухомор? Он, говорят, очень похож на прекрасный ценный кесарев гриб, только у мухомора есть белые крапинки, а у кесарева гриба их нет. Но кесарев гриб в наших местах не растет, а растет где-то на юге, чуть ли не в Средней Азии.

Точно так же и бледную поганку не сорвешь вместо масленка и рыжика. Легче всего ее спутать с лесным шампиньоном. Она ведь по принадлежности и есть ложный шампиньон. Но, во-первых, и шампиньоны в наших местах

почти не собирают, а во-вторых, те, кто собирает шампиньоны, знают его признак, на сто процентов исключающий роковую ошибку. Дело в том, что у шампиньона нижняя сторона шляпки, то есть его пластинки, непременно розовые в молодости, даже сиреневатые, а потом и вовсе черные. У бледной поганки они всегда белые, без малейшего оттенка розового.

Чаще всего отравляются бледной поганкой в местах более южных, где меньше лесов, а значит, и грибов, например, в орловских или воронежских, где собирают грибы зонтики и поплавки, очень похожие на бледных поганок.

Вероятно, нужно исходить из рассуждения, что лучше не съесть в своей жизни десяток-другой поплавков, нежели съесть одну бледную поганку.

Все ядовитые называются в народе поганками. Но часто под это название попадают, страдая невинно, все грибы, которые почему-либо не берут. В нашем селе поганками зовут и шампиньоны — одни из самых прекрасных грибов.

У меня, например, никогда не было ощущения, что красный мухомор — гриб поганый, напротив, я всегда любовался им и люблюсь до сих пор, когда увижу. Зато с детства производил на меня впечатление поганки гриб, который встречается часто и обильно в еловых лесах. Помоему, у этого гриба самый что ни на есть неприятный вид. Общее впечатление чего-то ослизлого и серого. Шляпка у этого гриба серого цвета, но и сама серость эта бездарна. Она какая-то мутная и тусклая. По общему тону она больше всего сходна с цветом осинного гнезда. Но осинное гнездо шершавое, сухое, теплое, невесомое. Здесь же — жирная, мясистая, тяжелая шляпка цвета осинного гнезда покрыта толстым слоем бесцветной, но плотной слизи. Эта слизь окутывает всю шляпку и нижнюю ее сторону, там, где пластинки. Она прикреплена к ножке и таким образом натянута между ножкой и краями шляпки. За этой слизью, если ее брезгливо удалить, скрываются пластинки, тоже серые, тусклые, а позднее почти черные. Пластинки эти какие-то редкие и тупые, они еще более усиливают неприятное ощущение от этого гриба. Не украшает его и то, что белая сероватая мякоть ножки у самой земли, то есть именно там, где срезает нож грибника, ядовито-желтого цвета.

Много лет попадался мне под ноги этот неприятный гриб, и всегда я считал его за поганку, более того, он был



Зонтик пестрый

для меня воплощением поганки, олицетворением ее, и очень часто бывало, что я шел домой с пустой корзинной, сшибая ногами серые и ослизлые грибы и досадуя, что вот уродилось же то, что не нужно, а того, что нужно, не уродилось.

Наконец однажды, когда мне в руки попал определитель грибов, я вспомнил про неприятные поганки, растущие в еловых лесах, и решил узнать, что же это такое. После пятиминутного путешествия по страницам определителя с заглядыванием то в цветные таблицы, то в описание признаков, я точно узнал, что мой гриб называется — мокруха еловая. Что ж, действительно и мокруха и еловая. В самом названии гриба меня ничто не удивило, но тут же я прочитал: «Съедобен, четвертой категории, свежий». Это мне было странно. Значит, выходит дело, я много лет проходил мимо безвредных съедобных грибов, даже в дин, когда корзина была совершенно пуста.

Узнав о съедобности еловой мокрухи, я, разумеется, решил ее попробовать в свежем, то есть в жареном виде. Нужно сказать, что, пожалуй, не зря ее не берут в народе. Ничего особенного она из себя не представляет. Ни аромата, ни вкуса. На зубу она тоже не очень приятна, слишком мягка и жирна. Мы подмешивали ее на сковороду в другие грибы, тогда она сходила за все остальные, не выделяясь из них. Однажды мы поджарили ее с чесночком, о котором речь пойдет ниже, и она, приняв от чесночка его крепкий аромат и вкус, сама сделалась вкусной и душистой. Одним словом, гриб как гриб. Есть в лесу грибы лучше мокрухи — не стоит тащить тяжесть домой, нет других грибов, можно брать и ее. Мокруху, наверно, можно сушить, но мы не пробовали.

Этой осенью, собирая рыжики в молодых елочках, я заметил, что на мокрухах очень часты беличьи погрызы, в то время как на маслятах и рыжиках, растущих тут же, погрызов нет. Значит, подумал я, белки почему-то предпочитают мокруху. Может быть, в ней есть что-то такое, что нужно и полезно белке. Какие-нибудь витамины и вещества. Может быть, это беличье лекарство, вроде как мухомор для лося. Белка, конечно, лучше нас знает, что ей грызть, и после этого у меня уважение к мокрухе несколько возросло.

Название «мокруха еловая» я вычитал в книге, когда сам гриб уже, как говорят в народе, намозолил мне глаза. С другим грибом произошла обратная история.

Много раз я встречал в книгах упоминание о чесночном



грибе, или, проще, о чесночнике. Говорилось, что этот гриб обладает запахом чеснока и что из него можно готовить разные приправы и соусы к мясным блюдам. Как-то я не обращал внимания на указываемые размеры гриба и даже на такое замечание, что он встречается «не редко, иногда в значительном количестве экземпляров, но по массе очень мало». Несомненно, если бы я после чтения вообразил этот гриб, какой он по размерам и как примерно он должен выглядеть, то и в лесу обнаружил бы его раньше, ибо с некоторых пор я старался отыскать чесночник в наших лесах, разламывал и нюхал каждый не знакомый мне гриб. Но увы, ни один из них не пах чесноком.

Не знаю, по каким причинам я однажды обратил внимание на то, мимо чего всегда проходил, не останавливая взгляда. В еловом бестравном лесу я, приглядевшись, увидел, что вокруг старой ели высыпали и водят хороводы какие-то мельчайшие грибишки, какие-то растеньица, которые сначала и не примешь за грибы. Не знаю почему, но однажды изменился фокус моего зрения и я вдруг увидел, что вокруг старой ели растет множество грибов, крохотных, пусть больше похожих... впрочем, если разглядывать каждый гриб в отдельности, то он гриб как гриб и ни на что, кроме гриба, не похож.

Представьте себе ножку гриба, высотой со спичку, но в несколько раз тоньше. Она как травинка, причем из тонких травинок. Цвет у ножки ближе к земле темно-красный, я бы даже сказал, темно-вишневый. Ближе к шляпке ножка светлеет, превращается даже в темно-желтую. Вся она блестящая, как будто покрыта лаком.

На этой ножке, похожей на тонкую травинку, покоится миниатюрная шляпочка, сначала колпачком, потом зонтиком. Размер шляпки — с двухкопеечную монету. Толщина ее... потолще, конечно, обыкновенного бумажного листа, но не толще игровой карты. На некоторых экземплярах шляпка может разрастись до трехкопеечной монеты, даже до трех сантиметров, но это был бы уже чесночник-гигант.

Обычно ходишь, не обращая внимания на эти крохотные грибочки. Когда в лесу тепло и сыро, там все растет, все лезет из земли и тронутой гнилью древесины: мхи, лишайники, теперь вот какие-то растеньица, похожие на грибы. Механически сощипнул я один грибочек, механически растер между пальцами, и вдруг явственный крепкий запах свежего чеснока облаком расплылся меж мокрых елей, благоухающих смолой и хвоей. Это было так неожиданно,

что я забыл на этот раз про все другие грибы и начал щипать, как молодую травку, крохотные частые грибки и бросать их в корзину.

Правильно было написать в книге, что «в значительном количестве экземпляров, но в массе очень мало». В корзину грибы ложились рыхло, как сено, а так как их было очень много, то постепенно их набралось столько, что можно было бы брать горстями и пригоршнями. Из корзины пахло так, будто там не грибы, а растолченный чеснок.

В этот день я пришел домой с необычайной добычей. Страшно было класть грибы на сковородку. Казалось, они сейчас все высохнут, перегорят и ничего не останется. Но вопреки ожиданиям получилось очень острое и душистое кушанье. Я думаю даже, если бы привыкнуть к этим грибам, то все остальные стали бы казаться пресными и скучными.

Интересно, что когда, опробировав новый гриб, я через два дня пришел в тот же лес, чтобы насобирать целую корзину, то, сколько ни ходил, не увидел ни одного грибка. Как будто они мне приснились позавчера, как будто они спрятались снова в землю. Тогда я стал внимательно рассматривать лесную почву и обнаружил, что мои грибочки за эти два дня совершенно высохли, потемнели и сделались незаметными. Всегда ли так бывает с этими грибами, я не знаю, потому что обнаружил их для себя только в этом году и проверить было еще некогда.

Потом они появились снова, но очень мало. Я набирал их одну горстку, и мы клали их на сковороду с другими грибами, отчего все жаркое становилось острее и душистее.

Теперь я вспоминаю, что у меня были случаи, когда в безгрибные годы или дни я останавливался посреди леса и говорил: «Ну хоть бы один гриб! Что это за лес, в котором нет ни одного гриба?» А оказывается, я ходил в то время по живым грибам, которых росли сотни и тысячи. Теперь-то я уж никогда не пройду мимо удивительного грибочка, называемого чесночником.

Пока что я видел его только в еловом лесу, но говорят, что он водится и в лиственных, особенно он любит, как говорят и пишут, опушки лесов и молодняки. Сам я этого подтвердить не могу, потому что собирал чесночник около старых дремучих елей.

У деревьев с грибами большая дружба. Ученые утверждают, что, если бы не было грибов, не было бы на земле

и таких пышных лесов, не встречалось бы в лесах деревьев-великанов.

Пробовали сеять рыжики около липы или около березы — не выросло ни одного гриба. Пробовали сеять рыжики около елей и сосен — на другой год появились рыжики.

С другой стороны, если бы почву около молодых елочек искусственно стерилизовать, лишить грибницы, то елочки стали бы расти хуже, а может быть, и совсем зачахли.

Поэтому, когда человек, заинтересованный в разведении леса, в его здоровье и благоденствии, видит гриб, он радуется не только как грибник, увидевший добычу, но и как хозяин, встретивший своего верного помощника. Впрочем, у наших лесов нет сейчас настоящего хозяина. Мало людей смотрят на лес глазами, так сказать, сеятеля и выращивателя. Все больше глядят на дерево, прикидывая, с какой стороны удобней к нему подойти и в какую сторону ему удобней будет падать.

Но если бы нашелся сердобольный человек, то, увидев грибы, о которых я сейчас хочу сказать два слова, он нахмурился бы и помрачнел.

Правда, это зависит также и от того, где встретились бы грибы. Если на порубке, где нет уж ни одного дерева, одни только пни, то нечего и мрачнеть. Если же в здоровом лесу — есть причина для тревоги. Но в том-то и дело, что про такой лес нельзя уж было бы сказать, что он здоровый. В одной книжке так и написано: «Чаще всего опенок осенний поражает участки леса с угнетенными деревьями, ослабленными плохими условиями жизни». Одним словом, все как у людей. Но, по правде сказать, мне редко приходилось встречать опенки не на пнях, а на живых деревьях. Из всех пней, с точки зрения опять, лучше всего еловые.

Вот гриб, может быть, самый универсальный из всех грибов. Мы говорили о том, что белый гриб практически не солят, точно так же, как рыжики и грузди не сушат, а сыроежки не жарят на сковороде. В грибном справочнике, в описании какого-нибудь вида, в последней строке сообщается, как этот гриб лучше всего употреблять. Например, написано «свежий» или «свежий, соленый». Редко собраны в одно место слова «свежий, сушеный, маринованный», как, например, про белый гриб или про осиновик. С этой точки зрения, пожалуй, один только гриб достоин в равной степени всех четырех способов употребления. Го-

вора о нем, можно смело ставить: «свежий, сушеный, со-  
леный, маринованный». Этот гриб — осенний опенок.

Осенью, отправляясь в лес по грибы, я беру одну кор-  
зину для всех обыкновенных грибов, но в карман кладу три  
авоськи. Это на всякий случай, если попадутся опенки, по-  
тому что если уж они попадутся, то любая корзина будет  
мала.

Иной пень кругом, как шубой, одет со всех сторон  
опенками, растущими плотно, шляпка к шляпке, да еще и  
так, что каждая шляпка сдавлена и стиснута ее соседками.  
Кроме того, никогда не бывает, чтобы на одном пне росли  
опенки, а на пнях поблизости их не было. Поэтому прихо-  
дится уходить из леса, унося неполную корзину разнооб-  
разных грибов: белых, осиновых, березовых, маслят,  
моховиков, сыроежек, мокрух, валуев, свинушек, чесноч-  
ников, волнушек, лисичек, рыжиков, а помимо корзины —  
три авоськи, набитых опенками, в каждой авоське по три  
ведра.

Если бы другие грибы натрамбовать в авоську, дома  
вывалил бы на стол мелкое крошево. Опенки же остаются  
целыми, даже не мнутся. Они, как резиновые, сгибаются,  
пружинят и выпрямляются снова. Можно набить ими рюк-  
зак и отправляться в дальнюю дорогу с уверенностью, что  
не сломается ни один гриб.

Одним движением ножа снимаешь сразу десяток опят.  
Остается около пня десяток прижавшихся друг к другу



белых пятнышек. Еще одно движение ножа, и еще десяток грибов.левой рукой в это время держишь их за шляпки. Они так, кустом, не рассыпаясь на отдельные грибы, и остаются в левой руке. Нож скрипит, разрезая суховатую, упругую, пружинящую мякоть сразу десятка грибов. Оглядываясь, видишь вокруг все новые и новые пни, обросшие грибами, кажется, что все грибы никогда не соберешь, но в конце концов срезаешь все, и они укладываются в авоськи, а долгая зима впоследствии их подбирает до последнего грибочка.

Грибов универсальных по способу употребления немало. Тот же белый гриб можно жарить, сушить, мариновать и даже солить. Но все же никто не будет спорить, что сушеный белый гриб вкуснее соленого или жареного. Опенки, может быть, единственный гриб, когда не знаешь, чему отдать предпочтение. Он одинаково хорош и в жареном, и в сушеном, и в маринованном, и в соленом виде. В одном доме мы пробовали опенки, маринованные с добавлением чеснока, и это было великолепно. После этого мы пробовали добавлять чеснок при мариновании других грибов, но эффекта не получалось. Значит, именно с опенком удачно сочетается чеснок во время маринования.

И все-таки, когда нападешь на участок леса, заросший опятами, испытываешь двойное чувство. Не знаешь даже, как себя вести: то ли срезать грибы аккуратно, как белые или рыжики, чтобы не порвать ненароком грибницу, то ли начать нарочно рвать коричневые шнуры, расплзающиеся по лесу и опутывающие все новые и новые деревья. Все шляпочные грибы в лесу — помощники деревьев, и только один этот — враг, злодей и агрессор. Вот как описывается его агрессивное поведение в одной из книжек.

«Большинству населения, особенно городов, опенок совсем неизвестен как опасный вредитель леса. Между тем специалистам это хорошо известно уже давно.

Известно, что опенок может поражать около 200 видов высших растений, в том числе даже картофель.

Установлено, что в пределах СССР опенок довольно часто поражает молодые культуры и старые насаждения: сосны, ели, пихты, дубы, шелковицы и др. В ряде случаев он вызывает усыхание значительных участков леса. Опенки поражают обычно ослабленные чем-либо (пожаром, недостатком влаги и т. п.) деревья, но может поражать и здоровые.

Нетребовательность опенки к хозяину и субстрату про-

стирается до того, что он поражает не только все древесные породы в любых возрастах, но способен жить и за счет мертвой древесины, обычно пней. Благодаря этому опенок в состоянии распространяться в те участки леса, где его не было, если там ведутся рубки без профилактики, то есть оставляются пни, пригодные к заселению этим грибом. Поселившись на пнях, опенок представляет уже непосредственную реальную опасность для деревьев, окружающих эти, зараженные им, пни.

Это объясняется тем, что опенок распространяется не только посредством спор, но и при помощи ризоформ... которые имеют вид ветвящихся шнуров, темно-бурого цвета, толщиной 2—3 мм и достигающие нескольких метров в длину... Пока ризоформы находятся в почве, они имеют цилиндрическое сечение, проникнув же под кору пня или дерева, они становятся плоскими... Заражение при помощи ризоформы происходит не только через ранки на корнях. Ризоформы способны проникать в корни здоровых деревьев через трещинки и наконец через неповрежденную кору.

Проникнув под кору, ризоформа образует веерообразную грибницу, которая внедряется в древесину корня и одновременно распространяется под корой в ствольную часть на высоту до 2—3 м. Эта грибница обладает способностью светиться в темноте, так же, как гнилая древесина, пронизанная ею.

Внедрение грибницы в древесину происходит через сердцевинные лучи, причем она скопляется в смоляных ходах... В результате этого смола вытекает и скапливается у основания ствола в виде желваков, а в верхних его частях скапливается под корой. Эти скопления смолы создают «смоляные барьеры», мешающие распространению гриба под корой. Однако гриб преодолевает этот барьер. Наступает ослабление дерева: крона становится реже и прострел понижается. Ослабленное дерево легко заселяется короедами, которые ускоряют его гибель. Отмирание большей части корней или большей части камбия по окружности ствола влечет за собой смерть дерева.

Длительность болезни, вызываемая опенком, составляет у молодых растений около 3 лет, а у взрослых — до 10 и более лет» («Грибы — друзья и враги человека»).

Вот, оказывается, какой злодей, какой ужасный агрессор опенок. А мы им восторгаемся, радуемся, когда нападаем на большой урожай, с удовольствием едим.

Но скажу по совести, что, несмотря на подробное описание разбойничьих действий опенка, у меня нет к нему отношения, как к злодею и паразиту. Ну, конечно, он ест деревья. Но ведь и зайчишка ест молодые побеги и обгладывает кору, и лось вредит молодым посадкам, и тетерева оклевывают на деревьях почки.

Дело в том, что когда я вижу большие пространства леса, в котором почва между деревьями вытоптана преступно пасущейся там скотиной настолько, что не растет даже трава, а тем более грибы или молодые деревца; когда я вижу огромные пространства леса, захламленные сучьями, обрезками вершин и стволов настолько, что нельзя пройти, и все это гниет и заражает окружающий лес; когда я вижу огромные пространства леса, где земля разворочена и утрамбована гусеницами тракторов, выволакивающих срубленные деревья; когда я знаю о том, что десятки миллионов кубометров леса у нас гниют на лесосеках, не будучи вывезены на заводы; когда я знаю, что еще десятки миллионов кубометров леса пропадают в виде отходов уже на деревообделочных заводах; когда я знаю, что дно наших великих рек, по которым сплавляют лес, на протяжении сотен и тысяч километров устлано затонувшими бревнами — топляком; когда я знаю, что в Норвегии существует акционерное общество, которое живет тем, что вылавливает лес, упущенный нами из рек в Ледовитый океан; когда я вижу, как ради того, чтобы починить забор, колхозник срубает сотню-другую молодых елочек, которые через десять лет стали бы большими деревьями; когда я вижу, как ради того, чтобы добыть килограмм сосновых зеленых шишек (за зиму можно заработать до пятнадцати рублей), предприимчивый человек обрубает у сосен все сучья сверху донизу; когда я вижу огромные сосновые рощи, из которых активно выкачивается живица; когда я знаю, что при современных темпах рубки, на Карпатах например, не останется через десять — пятнадцать лет ни одного строевого дерева; когда я знаю, что у нас рубят леса даже в водоохранных зонах; когда я знаю, что ежегодный переруб леса по сравнению с приростом у нас достигает 30%...

Когда я все это вижу и знаю, то семья симпатичных опенков, окутывающих, как шубой, пень или даже основание живого дерева, кажется мне невинной лесной идиллией.



Хорошо собирать грибы в лесу. Впрочем, так оно всегда и представляется, что грибник с корзинкой должен идти в лес, какой бы он ни был: молоденький сосновый, с маслятками и рыжиками, бор-беломошник, с боровиками, пестрый березовый лес со всевозможным грибным населением, полутемный еловый, широкошумный и широколиственный, с преобладанием дуба, ольховое, ивовое да осиновое чернолесье.

Но спрашивается: разве плохо собирать грибы на зеленом летнем лугу или в чистом поле? Если вы не охотились за сморчками, растущими в апреле и начале мая, то к концу мая вам очень хочется свежего жареного гриба. Однако в лес идти пока бесполезно. Конечно, хороший грибник не может вернуться из леса совсем с пустой корзиной. В конце концов найдется если не порядочный шляпочный гриб, то какой-нибудь там рогатик, похожий на морскую губку и называемый еще грибной лапшой. В конце концов едят даже молодые трутовики, вырастающие на стволах деревьев. Про каждый из них в грибном справочнике так сказано: «Съедобен в молодом возрасте».

Но чем пытаться пережевывать пробковую мякоть трутовика, лучше идти в это время по косогорам, по склонам оврагов, по зеленым холмам. Уже с мая месяца начинают появляться среди зеленой травы нежные белые шарики, которые впоследствии деревенские ребятишки будут давить босыми пятками, забавляясь облаком то черного, то темно-зеленого, то шоколадного дыма. Про такой гриб говорят — волчий табак. Иные шарики с грецкий орех, иные с



детскую голову. Иные круглые, будто лежит на зеленом поле бильярдный шар, иные похожи на пестик, которым толкут в ступе, а еще больше на электрическую лампочку. После такого пестикообразного гриба, когда он созреет и весь разлетится дымом, остается ножка. Она очень прочна, как из пергамента, и долго еще чернеет среди травы.

Сначала все грибы называешь «волчий табак», потом, узнав, что это дождевики, будешь звать их дождевиками, а потом разберешься, что и дождевики бывают разные: просто дождевик, дождевик шиповатый, дождевик грушевидный, дождевик игольчатый, порховка черноватая, головач круглый, головач продолговатый.

Как бы они ни назывались и какую бы форму и размер ни имели, их объединяют два одинаковых обстоятельства: все они, созрев, становятся вместилищами мелкой легковесной темной пыли, и все они в молодом возрасте съедобны и вкусны.

Как известно, молодой дождевик на ощупь тверд и крепок, а на разрезе бел, как сметана. В эту пору его можно, не сомневаясь, класть на сковороду. Жаркое будет благоухать превосходным грибным ароматом. С возрастом мякоть дождевика начинает сначала слегка желтеть, делается водянистой, надавленная пальцем, не пружинит, не старается распрямиться. На этой стадии дождевики брать уже не следует. Затем желтизна будет все темнеть и темнеть и наконец превратится в сухой порошок, в бесчисленное количество мельчайших спор, насыпанных в кожистый мешочек.

Вспоминаю, с каким конфузом я принес домой первые дождевики, как жена отказывалась их жарить, с каким интересом я их пробовал в первый раз. А теперь это для меня самый обыкновенный съедобный и вкусный гриб, конечно, когда нет в лесу маслят, лисичек или осиновиков. Но и когда они есть, неплохо добавить на сковороду для букета крепеньких молоденьких дождевиков.

(Призываю также в свидетели своего читателя, приславшего мне письмо.

«Очень люблю дождевики. В жареном виде, право, немного уступают они белым. Чтобы блюдо было нежнее, у некоторых из них лучше снять грубую оболочку. Головач продолговатый — осторожно помять в руках, и оболочка трескается и сходит, как скорлупа с крутого яйца. Лучше всего это делать под краном. У некоторых шаровидных

дождевиков оболочка снимается, как кожура с апельсина. Лучший — шиповатый — вообще не доставляет забот: режь и на сковородку. С успехом сушу их. Измельчив в порошок, можно готовить из них отличный суп».)

Грибница под землей, возникая из крохотной грибовой споры, разрастается, как я понимаю, во все стороны лучами или даже, вернее, сплошным блином. Со временем центр блина, как более старый, отмирает, а его окружность остается и продолжает разрастаться дальше. Таким образом, старая, многолетняя грибница, старое грибное дерево должно представлять из себя большое кольцо, по которому и должны в урочное время стоять грибы. Так бы оно и было. Но в лесу грибница натывается то на пень, то на дерево, то на иную преграду. Ее разрушают местами люди или скотина. Кольцо прерывается, отдельные его участки отстают в продвижении вперед, другие убегают. Оторвавшаяся от круга изолированная часть грибницы растет блином в свою очередь и в свою очередь порождает кольцо, кольца грибниц взаимно пересекаются и получается путаница.

Но на зеленом ровном лугу, где не растет ни одного дерева, нет ни одного пня и ни одного камня, можно часто увидеть настоящий грибовый круг. Небольшие желтоватые грибочки со шляпками от трех до пяти сантиметров шириной, на очень тонких ножках и поэтому кажущихся высокими, словно водят среди зеленой травы хороводы, взявшись за руки. Эти грибовые хороводы в народе называют ведьмиными кругами.

Но прежде чем говорить о самих грибах, вернемся к грибнице. Науке давно известно, что грибница находится



в сожительстве с обыкновенными лесными деревьями. Соприкасаясь с корнями дерева, она, видимо, усваивает некоторые вещества, выделяемые корнями в почву, а взамен этого дерево усваивает некоторые вещества, выделяемые в почву грибами. Такое соžitельство разных организмов (к взаимной пользе) в науке называется симбиозом.

Одна сторона симбиоза, а именно влияние дерева на грибицу — наглядно в любом лесу. Известно, что определенные виды грибов как бы приписаны к определенным видам деревьев. Даже и называют некоторые грибы подосиновиками (осиновиками), подберезовиками, ореховиками, сосновиками, поддубовиками. Рыжики растут среди молодых сосен и елочек, маслята — тоже, мокруха так и называется — мокруха еловая, боровики приписаны к бору, то есть к зрелому сосновому лесу...

Но если влияние деревьев на грибицу наглядно и очевидно (без деревьев не было бы и грибов), то влияние грибицы на деревья в лесу проследить труднее. Неизвестно ведь, насколько хилее и плоше была бы сосенка, насколько медленнее она росла, если бы корни ее, подобно белой подстилке, не оплетала грибица маслянка и рыжика.

Между тем в природе существуют случаи, когда влияние грибицы на растения, с которыми она сожительствует, можно не только видеть глазами, но даже измерить результаты симбиоза в граммах и килограммах, взвесив их на весах. Такой пример дает нам грибица лугового опенка.

Я давно еще в детстве замечал на наших лугах и на травянистых склонах оврагов, что трава местами растет более густая, более высокая и более темная, то есть более «жирная», чем вокруг. Эти пятна иногда имеют самую разнообразную форму, иногда форму кругов, иногда отлогих подков, иногда змей.

Замечать-то я их замечал, но никогда не задумывался над происхождением пятен и полос и даже думал, признаться, что они возникают на месте коровьих дорожек, удобряющих землю.

Только недавно, когда я пристрастился собирать луговые опенки, я понял истинную причину этого явления. Я увидел, что луговые опята растут точно по этим темно-зеленым пятнам, своими цепочками повторяя их форму. Значит, не может быть никаких сомнений в том, что своей

густотой, цветом, силой трава в этих местах обязана благоприятному влиянию грибницы.

Но вернемся к луговым опятам.

Я не знаю, почему их называют опятами. Ведь никаких пней на лугу нет. Разве что за дружность, за то, что эти грибы высыпают обильными кучами, словно шубой покрывая иногда землю.

Нельзя сказать, чтобы формой они напоминали опят, если иметь в виду классический осенний опенок. У этого гриба тонкая, очень кожистая ножка, особенно ближе к земле. Желтоватая шапочка сначала колпачком. Хотел назвать их сейчас белыми, но вспомнил сметанную белизну шампиньона и понял, что луговой опенок вовсе не белый, но и не желтый же он! И не серый. Может быть, действительно желтоватый. Хотя про молоденькие грибки (если забыть про настоящую шампиньонную белизну) я все же сказал бы, что они белые. Позже колпачок распрямляется и образуется плоская шляпка размером до пяти сантиметров, которая в сухую погоду становится такой же жесткой и кожистой, как и ножка. Однажды у меня произошел с этими грибами курьез. В течение нескольких дней стояла сухая солнечная погода. Придя на грибное место, я увидел, что мои луговые опята все ссохлись и стали очень мелкими, жесткими. Все же я набрал их немного от непонятной жадности, а придя домой, поглядел на них, поглядел да и выбросил на траву перед домом. Вечером пошел дождь, который шел до утра. Утром, выйдя на улицу, я увидел, что на траве лежат крупные, свежие и нежные луговые опята! Значит, они обладают способностью как бы впадать в спячку в сухую погоду и воскресать во время дождя.

Собирать луговые опята я выхожу не с ножом, а с ножницами. Подойдя к грибной цепочке, приходится опускаться на одно колено и стричь грибы, как стригут шерсть на овце. Попадает в корзину и трава, это неизбежно, однако дома нетрудно грибы перебрать и от травы отделить. Поистине разбегаются глаза, когда попадется косогор с урожаем этих дружных грибов. Кажется, не хватит терпения и времени состригать одну полосу, а в глазах еще две, а там еще три полосы, а там еще и еще бесконечное количество, если бы взялся считать (как считают белые грибы), то в конце концов окажется, что все они уместятся в двухведерную корзину.

Луговой опенок годится куда угодно — и мариновать,

и солить, и сушить, и жарить разумеется. Но все же его, так сказать, амплуа — отвар. Их надо варить в виде супа — либо одни только грибы, либо с добавлением картошки, вермишели. Мы обычно не добавляем ничего, кроме соли, да и то очень и очень в меру. По вкусу, аромату и сладости отвар из луговых опят весьма своеобразен и не может сравниться ни с какими другими грибами.

В китайской кухне очень распространены грибы сянь-гу. Я в своей жизни пользовался китайской кухней один только месяц, когда был во Вьетнаме (вьетнамская кухня имеет много общего с китайской, хотя это и не одно и то же), но приходится иногда бывать в ресторане «Пекин». Во многих блюдах там присутствуют грибы сянь-гу. Приглядевшись к ним повнимательнее и распробовав их, я подозреваю, что это не что иное, как луговые опята.

(Читатель: «Луговой опенок имеет другое, более правильное название — гвоздичный гриб, так как запах у него слегка гвоздичный. Как бы ни было много самых лучших грибов в лесу, мы никогда не проходим мимо «ведьменного круга», гвоздичников. Ведь суп-лапша или картофельный с гвоздичниками — это ни с чем не сравнимый деликатес. Только грибы надо варить не очень долго, минут 10, а то они так же, как и при длительном жарении, потеряют свой аромат».)

Помню, как я гостил однажды у Михаила Николаевича Алексеева в селе Монастырском, близ Саратова. В основном мы занимались рыбной ловлей, но иногда и просто так гуляли без дела. Земля и природа около Монастырского удивительна. Дело в том, что река Баланда весной заливают все монастырские сады, огороды, луга и леса. А потом летом устанавливается очень теплая погода. От тепла и сырости всякая зелень идет в буйный рост. Все там какое-то неправдоподобное, увеличенное в полтора-два раза: горькие лопухи величиной с газету, зонтичные — не достать поднятой вверх рукой, клеверные шапки по куриному яйцу, трава на лугах — по пазухи.

Среди такой травы можно запутаться, и, конечно, среди нее не растет никаких грибов. Но на дорогах через луга, а главным образом на дорогах через цветущие некогда, а теперь одичавшие и выродившиеся сады мы любили собирать шампиньоны. Что это были за шампиньоны! Таких грибов никогда уж не придется собирать. Право же, каж-

дый гриб был чуть ли не по футбольному мячу, такой же круглый, такой же крепкий, с нежно-розовыми пластинками, налитой, тяжелый, прохладный.

По сторонам дороги трава стояла стеной. Трава цвела. Это были ромашки, купальницы, раковые шейки и опушенные сиреневым цветением метелки. На дорогах же росла мелкая травка. Дороги были малоезжены и малохожены, как в некоем заколдованном царстве, где все уснуло по чарам и колдовству злой феи. На мелкой травке дорог и вырастали бело-розовые шампиньоны.



Слово «шампиньон» означает по-французски просто грибы. В Польше шампиньоны зовут печарками, потому, видимо, что они наиболее приспособлены для жарения. По-научному, по-латыни, шампиньон называется «Псалмонта кампестрис». И только в русском языке почему-то для названия этого гриба заимствовано французское слово, означающее все грибы вообще. Это, конечно, чистая случайность, но все же есть в этом и некоторая знаменательность. Например, мы знаем, что все — кошки: и лев, и тигр, и леопард, и рысь, и барс, и пантера. Но все же есть и собственно кошка, домашний зверек, который сосредоточивает в себе все типичные черты своего биологического семейства. Параллель с шампиньоном тут может быть тем полнее, что шампиньон пока единственный гриб, который поддается искусственному разведению в огороде или теплице, то есть приручен и одомашнен. Вот гриб, у которого репутация наиболее расходится с его действительными качествами. Конечно, в любом европейском ресторане вы можете потребовать себе блюдо с шампиньонами и тотчас мо-

жете убедиться, что всякое блюдо, в котором присутствуют шампиньоны, стоит гораздо дороже, чем такое же блюдо без их присутствия. Конечно, и в магазинах изредка торгуют свежими шампиньонами — полтора рубля килограмм. Но стоит отъехать подальше от города, в деревню, и вы удивите местных жителей, если начнете собирать эти крепкие белого цвета грибы, «на перегнойной почве, навозе, на мусорных кучах, в огородах близ жилищ, на лугах, на выгонах».

Вероятно, именно тяга шампиньона к навозу и мусорным кучам способствовала созданию репутации шампиньона, как гриба нечистого, непорядочного, короче говоря, гриба поганого.

Но не везде, впрочем, так. В селе Монастырском, близ Саратова, о котором я только что сказал, шампиньоны берут, называя их белыми грибами. Из них там варят суп. И нам тоже хозяйка, где мы жили, варила похлебку из грибов. Она мелко резала их, добавляла картошки и луку. Еда получалась густая и ароматная. Славится рыбацья уха, но если быть справедливым, то, пожалуй, суп из свежих шампиньонов не хуже никакой, даже тройной ухи.

А вот указание в книге «Грибная быль»: «Целое поколение ростовских огородников Грачевых занималось выращиванием шампиньонов в дореволюционное время, как очень доходной культурой». Можно представить, как разрослось бы теперь, 1966 году, хозяйство Грачевых и сколько шампиньонов, выращенных ими, было бы в магазинах Москвы. Надо полагать, что сами Грачевы были впоследствии наказаны за свою инициативу, но если и нет, то все равно никакого грибного шампиньонного дела под Ростовом сейчас не ведется.

(Вопрос о разведении грибов все-таки остается неясным. Аксаков вспоминает, что он высыпал каждый раз обрезки рыжиков под старую ель и в конце концов под елью начали разводиться рыжики. В настольном календаре за 1903 год, весьма поучительном во всех отношениях, как мне подсказывает один из читателей, говорится, что белые грибы можно выращивать на грядках. Для этого взять зрелые белые грибы, положить в ведро с водой и спустя несколько дней полить этой водой грядки. И вырастут будто бы белые грибы.

Другой читатель прислал мне вырезку из газеты «Красная искра», которая выходит в городе Боровичи Новгородской области. Статья подписана М. И. Лаврентьевым, мастером зеленого строительства и садоводства из совхоза «Красный пограничник» Псковской области. Называется статья «Как я выращиваю грибы». Вот эта небольшая статья от слова до слова.

«Представьте себе, что у вас в саду или на огороде растут такие ценные грибы, как белые и рыжики!.. Ведь это вполне возможно, стоит только создать необходимые условия для их произрастания. Белый гриб (боровик) растет как в хвойных, так и в лиственных лесах. Он любит сухие светлые места, поэтому его можно разводить в междурядьях сада и в огороде.

В 1957 году возле дома я заложил участок площадью 12 кв. метров под посадку белых грибов. На эту площадку я уложил свежий конский навоз слоем 12—15 см. Затем приготовил смесь, состоящую из 4 частей дерновой земли, 3 частей прелых листьев, 2 частей гнилого дерева и 1 части глины (нельзя употреблять только лист и ствол или корень ивы, так как они содержат дубильные вещества). После тщательного перелопачивания эта смесь укладывается на навоз. Перед посадкой смесь хорошо уплотняется.

Есть несколько способов посадки грибов. В одном случае берутся в лесу грибы с частью земли, на которой они произрастали, и мицелий переносится в лунки. Посев покрывается перепревшими листьями слоем 2 см. Через 35 суток появляются зародыши грибов. Тогда листья надо осторожно снять. Если стоит сухая погода — следует произвестить умеренный полив подогретой водой.

Время посева — вторая половина июля. Урожай можно собирать в конце августа. При таком способе посадки грибицы я собирал по 27 белых грибов с 1 кв. м.

Второй способ состоит в посеве спорами. Для этого я брал шляпку созревшего гриба, клал нижней частью на лист чистой бумаги, помещал их на подоконнике. Через сутки на бумаге появлялась тончайшая бурая пыльца — споры. Их я осторожно переносил на площадку. Одновременно испытывал и другой вариант этого приема. Он заключался в том, что две шляпки старого дряблого гриба опускались в садовую лейку с водой. Через несколько суток гриб растворялся, и этой водой я умеренно поливал грибицу. Таким способом достигался равномерный



посев. Всходы грибов оказались дружными, ровными. С одного кв. м я собрал по 57 белых грибов первого сорта.

Подготовленная площадка-грибница пригодна к использованию несколько лет. Ежегодный посев спор в мокром виде дает обильный урожай грибов.

Примерно таким же способом культивируются рыжики. В период грибного сезона собирается мицелия гриба в той части земли, на которой он произрастал. После удаления мусора мицелия укладывается в ящик и хранится в сухом прохладном помещении до весны, когда производится посев в почву, как и белых грибов».)

Что касается нашего села и наших мест, то у нас не только разводить, но и брать шампиньоны было не принято. Поэтому, когда я стал собирать их, у меня возникало даже чувство неловкости перед земляками, будто я их в чем-то обманываю либо обираю. Где-то я читал, как ловкие люди, приехав на островок среди океана, внушили местным жителям, что серебро дороже, чем золото, а медь еще дороже, чем серебро. Я, правда, ничего не внушал. Напротив, показывал пример. Но пример оказался незаразительным и до сих пор не действует. В последний раз тракторист даже остановил трактор и долго наблюдал, как я, испорченный городом чужак, собираю белые поганки на месте прошлогодних картофельных буртов и силосных ям.

Такое отношение местных жителей к шампиньонам делает меня монополистом на шампиньоны по всей округе.

Однажды мы с женой пошли зачем-то в Черкутино. Это село отстоит от нас на четыре километра. По дороге от нашего села до Черкутина то и дело ходят люди, ездят на лошадях, на велосипедах, на автомобилях. Это самая оживленная наша дорога.

Мы вышли на нее под вечер. Значит, все, кому нужно было по этой дороге пройти, уже прошли. И вот мы увидели, что вдоль всей дороги, и по обочинам и прямо в колеях (в последнем случае раздавленные), растут молодые, прекрасные шампиньоны. Они росли на глазах, под ногами, нужно было бы обходить их, чтобы не наступить и не раздавить. И все же не было на всей дороге ни одного гриба, сорванного руками человека.

У меня на ремне оказался ножишко, и мы начали резать. Мы складывали грибы в кучки и продвигались дальше. Никакой посуды, хотя бы и авоськи, у нас не было. Тогда мы уложили все собранные нами грибы на плащ, взяли этот плащ за углы и с трудом понесли домой. Нессти было его трудно по двум причинам. Во-первых — тяжесть. Грибов оказалось не меньше пуда. Во-вторых, их было так много, что они все время норовили сыпаться из плаща, несмотря на то, что плащ глубоко прогиблся.

Подобно валую, шампиньоны, будучи молодыми, похожи на шарики, кругляши, то есть края шляпки у них загибнуты и плотно охватывают ножку. В это время пластинки шампиньона нежно-розового, но явственно розового цвета. И это большое благо, потому что благодаря этому ни за что и никогда не спутаешь шампиньоны с другим грибом, который может оказаться ядовитым. Не надо забывать, что есть ложный шампиньон, и это ни больше ни меньше, как бледная поганка.

С возрастом края шляпки распрямляются, и гриб из кругляша превращается в зонтик. Пластинки некоторое время остаются розовыми даже у вполне развернувшихся шляпок, а потом чернеют и делаются абсолютно черными, как сажа. И у молодых и у старых грибов легко сдирается верхняя кожица, поэтому шампиньоны нужно чистить, тем более что растут они всегда поближе к навозу.

Что касается вкуса шампиньона, то надо сказать следующее: как белый гриб не имеет себе равных в сушеном виде, точно так же шампиньон по праву и прочно держит первое место на сковороде. Ни один гриб, будучи поджаренным, не сравнится по нежности вкуса и по аромату с жареным шампиньоном. В ресторанах шампиньоны готовят и подают обыкновенно в сметане, изрезанными на ломтики, либо, напротив, поджаренными в масле кругляшами, не потерявшими своей формы. Но я думаю, что как бы вы ни искрошили шампиньоны, в какую бы бесформенную массу при жаренье их ни превратили, вкус их все равно останется великолепным. Правда, если жарить «пожилые» грибы с уже черными пластинками, то кушанье выглядит не очень красиво, черновато, но это не должно смущать. Вкус и аромат искупают все.

Придя домой с обильной добычей шампиньонов, нужно первым делом отделить самые молоденькие от молодых,

а молодые, в свою очередь, от старых. Самые молоденькие, «орешки», лучше всего замариновать, молодые можно изжарить, положить в стеклянные банки и залить топленным маслом. Таким образом, вы можете оказаться с запасом первосортных свежих грибов на всю зиму. Старые... все зависит от того, сколько их, можно тоже пережарить в запас, и это будет ваш второй сорт, а можно высушить, чтобы потом добавлять для букета, смешивая с другими грибами, приготовляя грибную икру.

В этом году я нашел новое место, где и собирал шампиньоны. Километрах в трех от нашего села когда-то был хутор. Крестьянская семья, согласно столыпинской реформе, взяла себе отруб — несколько десятин земли и начала хозяйствовать. Вероятно, теперь это могло быть превосходное крепкое хозяйство. Не так давно ко мне пришел один москвич-пенсционер. Он собирает разные исторические сведения о нашей Владимирской земле и уже насобирал интересного и от времени польского нашествия, и от времени революции, и от времени крестьянских восстаний в годы между революцией и коллективизацией. Все он собирает тщательно и хочет написать даже вроде истории не то о становлении Советской власти в наших местах, не то историю партийных организаций.

Он-то, этот человек, оказался сыном того крестьянина, который был хозяином хутора. Он подтвердил мне, что теперь это, вероятно, было бы большое и крепкое хозяйство, но все они, то есть он сам и его братья, разъехались в разные стороны, а на месте хутора — дома, двора, сараев и амбаров — теперь остался один только ряд дубов. Его отец посадил молодые дубки, вытянув их в цепочку. Они взялись, возмужали, выросли и теперь участвуют в создании пейзажа, их видно даже из нашего села. По непонятной случайности их до сих пор не срубили.

Когда он мне рассказал про свой хутор (были еще и другие подробности), я решил съездить на место прежнего хозяйствования русского крестьянина, посмотреть поближе дубки и само место и вдруг попал на невероятные россыпи шампиньонов. Видимо, земля на месте хутора сильно перемешана с навозом, в том числе и с конским, потому что было у хуторянина несколько лошадей и несколько коров. Был и огород, который унавоживали, был и двор, где навоз лежал кучами, был сарай, на месте которого перегнила сениная труха, и вот на столь унавоженной почве теперь высыпали бесчисленные шампиньоны. Я брал

только молодые и все равно не мог собрать всего урожая.

Теперь я должен рассказать совершенно фантастический случай, связанный с шампиньонами. Если бы существовала грибная цивилизация, если бы грибы вели свою историю, отмечали бы наиболее выдающиеся грибные личности, то несомненно был бы воздвигнут памятник трем шампиньонам, выросшим в городе Москве в 1956 году. Могли бы даже и люди воздать должное этим шампиньонам, если не памятником среди столицы, то запечатленностью в сердцах и памяти. Потому что вот пример, на котором можно учиться.

Событие состояло в том, что осенью 1956 года, на тридцать девятом году Советской власти, на Манежной площади, в трех шагах от стены Манежа, три шампиньона пробили из-под земли асфальт, толщиной в несколько сантиметров, разворотили его, как взрывом, и вышли на свет божий.

Конечно, почва около Манежа под мертвым асфальтом унавожена в течение веков: ведь в Манеже держали лошадей. Но какова сила жизни, каково стремление кверху, к свету и солнцу, к воздуху, на свободу!

Спрашивается: почему же они не могли совершить свой подвиг раньше? Можно ответить, что в этот год создались благоприятные условия, может быть, в какую-нибудь трещинку просочилась вода. Но можно ответить и так: копили силы.

Как бы то ни было, когда в каком-нибудь деле становится очень трудно и кажется, что не поднимаешь, не сдвигаешь с места, и полная, бесконечная безнадежность, я вспоминаю о трех нежных, мягких, ранимых шампиньонах, разворотивших, словно граната, бесчувственный мертвый асфальт, который не сразу поддается даже отбойному молотку. Воистину эти три гриба заслужили памятник!

(«Однажды мы были очевидцами колоссальной силы того же шампиньона. Дело было в 1963 году, примерно в конце августа. После работы я и жена решили пойти в кино. Взяв билеты примерно за час до начала сеанса, мы пошли по улице, как говорят, подышать свежим воздухом. Проходя мимо одного из домов, мы обратили внимание, что примерно на высоту 10—15 сантиметров припод-

нята большая плита асфальта. Я шутя сказал жене: «Смотри, вот где куча печериц (так у нас на Украине называют шампиньоны)». Своим словам я не придавал серьезного значения. Но жена, подойдя, нагнулась и посмотрела под плиту асфальта. Видя, что выражение ее лица меняется, я также решил взглянуть под плиту. Картина была потрясающая. Действительно, куча печериц дружными усилиями сорвала с места кусок тротуара и приподняла его. Мы с женой с трудом (!) перевернули плиту асфальта, и наши глаза разбежались. Короче говоря, с собой в кино в срочно купленной «Экономической газете» мы несли килограмма 3—3,5 шампиньонов, причем один из них имел шляпку около двадцати сантиметров в диаметре и ножку в руку толщиной. Этот гриб и его собратья были перекручены от невероятных усилий, имели выступы и наросты, однако выглядели молодцами».)



8

На сорок первом году своей жизни я решил ликвидировать большое белое пятно в своей биографии — поохотиться за сморчками. В самом деле, каких только я не собирал грибов, в каком только виде я их не пробовал! Но всегда висел на душе тяжелый груз, постоянно точила одна и та же мысль — сморчки.

Ведь как мудро устроено в природе. Только что сошел снег. До первых июньских колосовиков, до основных августовских россыпей, до хрустящего осеннего рыжика так далеко, еще невозможно помыслить, и вдруг оказывается,

что и теперь, ранней весной, вырастают прекрасные грибы. Грибные подснежники! Как-то даже не верится. Зарожда-  
ясь в ледяной весенней земле, сморчки будут нести эста-  
фету по апрелю и маю, чтобы передать ее беленьким дож-  
девикам, бархатным подосиновикам, дружным ранним  
маслятам.

У нас в селе, насколько я помню, никто никогда не со-  
бирал сморчков. То ли непривычно ходить в лес сразу  
после снега, то ли потому, что сморчок редок, и коротко  
его время, и нужно ловить заветный час, охотников почти  
не встречается. Но тот, кто собирает, постоянен в своей  
привязанности к сморчкам и ждет апреля с большим не-  
терпением. У нас таким любителем сморчков был покой-  
ный Андрей Михайлович Симеонов, высокий сутулый ста-  
рик с рыжими усами. Я был еще маленький, сам не видел,  
но слышал много разговоров о том, что Андрей Михай-  
лович считает сморчок самым наипервейшим грибом. На-  
верно, он знал сморчковые места, мог бы подсказать, ес-  
ли бы я позаботился пораньше.

Сморчок для меня нечто таинственное. Подозреваю, что  
этот гриб, так же как папоротник или хвощ,— пережиток,  
остаток иных эпох, иного состояния земли. Недаром он  
растет одновременно с цветением волчьего лыка, релик-  
тового ископаемого кустарничка.

Легко представить себе среди гигантских полупрозрач-  
ных хвощей студенистые ноздреватые башенки, странные  
бугристые образования. Впрочем, я никогда не видел сморч-  
сков, так что представить их мне в любом виде было нелег-  
ко. Один раз, несколько лет назад, во время бездумной про-  
гулки по лесу, попалось под палку нечто студенистое, ка-  
кая-то набрякшая водой, синевато-серая дрожалка. Я сшиб  
ее палкой и пошел дальше. Шагов через двадцать меня  
осенила догадка: наверно, это и был сморчок. С тех пор  
ничего похожего не попадалось мне больше на глаза. Ид-  
ти же нарочно по сморчки все как-то не мог собраться с  
духом.

Моя жена чрезвычайно мнительна по отношению к гри-  
бам. Когда она училась в медицинском институте, им чи-  
тали лекции по гигиене питания. Почему-то у нее в памя-  
ти после этих лекций осталось впечатление об ужасной  
коварности этих грибов. Правда, что бледная поганка ко-  
варна. Съев бледную поганку, человек в течение многих  
часов не чувствует никаких признаков отравления. Потом

начинает умирать. И никакие лекарства тогда уж не помогают. Но нельзя же зловещие качества бледной поганки переносить на все остальные грибы. Как-то в разговоре, не помню по какому поводу, я упомянул о сморчках. Тут же мне было сказано, что никогда в нашем доме не должно появиться ни одного сморчка, что этот гриб смертельно опасен и только очень опытные охотники могут позволить себе охотиться за сморчками.

— Да ведь все говорят: сморчки, сморчки — вкусный гриб, значит, едят, пробуют. В чем же дело?

— Дело в том, что рядом со сморчками растут строчки, которые не отличишь от сморчков неопытным глазом. А они-то, строчки, и таят в себе ужасную мучительную смерть. — Тут же по-медицински назван был яд, отравляющий организм, гельвеловая будто бы кислота, а также первые признаки отравления. Сухость во рту, перерождение печени, паралич и так далее.

Я усомнился. Мне хотелось заступиться за невиданные мною пока еще сморчки, и я полез в книжку — определитель. Готовясь посрамить медницу, я начал перелистывать страницы и споткнулся о примечание, набранное, правда, мелким шрифтом, но тем не менее: «Все виды сморчковых грибов в свежем состоянии подозрительны в отношении их ядовитости. Вследствие этого перед приготовлением пищи рекомендуется разрезать их на части и опустить минут на пять-семь в кипящую воду или облить кипятком и дать постоять под крышкой минут десять. После этого грибы вынимают, отжимают и далее поступают как обычно. Воду же, содержащую в себе растворенное ядовитое вещество, выливают прочь. После такой обработки сморчковые многими считаются вполне безвредными...» Тут я поднял было торжествующий взгляд на свою оппонентку. Но торжество мое длилось недолго. Дальше в книжке было написано: «Однако этот вопрос окончательно еще не решен. Особенно в отношении пользующегося наиболее дурной славой строчка обыкновенного, который нами здесь и указывается как в числе съедобных, так и ядовитых...»

Крыть было нечем, остался только один аргумент — опыт. На него-то я и рассчитывал.

Весна в этом году развивалась необыкновенным образом. Мы выезжаем в деревню в последних числах марта, чтобы успеть проскочить по зимнему пути и застать всю весну, начиная с капелей, через полное таяние снегов до

цветения яблонь. В первых числах апреля все рушится, плывет, курится паром. Поют жаворонки, расцветает мать-и-мачеха, грачи хлопотливо таскают на старые липы тяжелые ветки, отламывая их на старых же полуразвалившихся ветлах. Мы запоздали в этом году, ехали с огорчением, что многое уже пропущено, но попали неожиданно под устойчивые двадцатиградусные морозы с обжигающими северными ветрами.

Нетерпение мое было велико. Я несколько раз совался в лес, но все было рано. То придешь, а в лесу еще тонкой дотаивающей корочкой лежит снег, то убедишься, ткнув острой палкой, что земля, освободившаяся от снега, тверда, потому что не оттаяла. Не может быть, чтобы грибы росли из мертвой окаменелой земли.

К этому времени я запасся самыми первыми сведениями из книжки, а именно, что сморчки растут в апреле и мае, редко, но местами довольно обильно в широколиственных лесах, ивняках, на более или менее плодородной почве. Значит, в хвойные леса, куда ходишь по осени за рыжиками, меня теперь не тянуло.

В широколиственных лесах устилала землю ровным слоем слежавшаяся, как войлок, серая прошлогодняя листва. Она осела под тяжестью зимнего снега, к ней прилипла перепутанная паутина. В ранневесеннем лесу гораздо просторнее, чем летом, когда каждый листок мешает смотреть вдаль, и даже просторнее, чем зимой, когда на ветвях, на кустах, на пнях полно снега. Весной видно далеко во все стороны, если, конечно, это не еловая чаща, а вот такое осиновое либо березовое раздолье, по которому я теперь с наслаждением бродил. Под ногами как подметено. Всякий гриб, если бы он высунулся из-под ровной слежавшейся листвы, выделялся бы на ровном месте, был бы виден издали.

Лесу я уделял три часа в день. За это время я успевал обойти столько, что ноги начинали всерьез гудеть. У нас леса не так, чтобы очень велики, не бескрайни, казалось бы, где устать. Но в рвении я обходил вокруг каждый ивовый куст (написано в книге, что сморчки особенно любят ивняк), шел все время зигзагами, колесил, кружился, петлял, изощрялся. Увы, лес был абсолютно пуст. То есть он был пуст, с моей грибной точки зрения. Сам по себе он жил бурной весенней жизнью.

Однажды я остановился и вдруг услышал, что вокруг



все шуршит, как будто идет легкий дождичек. Чем больше я вслушивался, тем сильнее и явственнее становилось шуршание. Причину его я разгадывал недолго. В этом месте среди осин и берез росли невысокие ели. Теперь с них на плотную, как бы даже звонкую слипшуюся листву обильно сыпались отжившие иглы. Впервые в жизни я наблюдал иглопад. Ветра не было. Значит, иглы падали сами по себе. Значит, им было положено в это время падать. По всему лесу, если хорошенько прислушаться, был слышен шелестящий, как дождичек, иглопад. Я подставил ладони, и тотчас на них упало несколько отживших невесомых иголок.

Прошлой осенью я наткнулся в лесу на две яблони. Одна из них на склоне лесного оврага в зарослях калины бросилась мне в глаза крупными желтыми яблоками. Я ее несильно потрянул. Обычно, когда потрянешь, слышен дробный стук о землю: одно яблоко падает первым, потом два вслед за ним, потом несколько штук сразу, потом одно или два с запозданием. На этот раз все яблоки словно только и ждали, когда их потрянут — обрушились в один стук. Я собрал их в грибную корзину, наполнив ее доверху, и мы сварили из них отличное янтарно-прозрачное варенье. Яблоня оказалась яровой антоновкой. Но как она, привитая, попала в лесную глухомань на склоне бугра?

Вторая яблоня стояла на ровном месте среди поляны. Я набрел на нее неделей позже. Все яблоки упали сами и лежали теперь в зеленой траве, образуя желтый круг. Это была лешовка. Мелкие продолговатые плоды с бугорками у основания веточки были, конечно, очень кислы и вяжущи. Но опавшие, поднятые с осенней остывшей земли, они все же держали в себе какую-то тонкую затаенную сласть.

Теперь, весной, я наведаясь к обоим моим знакомым. И под одной и под другой яблоней я нашел по несколько яблок. Они были твердые, сочные, но насквозь коричневые. Я надкусил одно и услышал во рту прохладную винную крепость.

Что особенно радовало глаз в этом апрельском лесу, что делало мои прогулки поистине праздничными — это удивительные среди серого еще однообразия цветы, пробивающиеся сквозь лиственный войлок. Они росли чаще всего в осиннике. Они, может быть, не поражали бы яркостью где-нибудь среди июньского разноцветья, но теперь

они так и горели, так и сверкали, как драгоценности. На одном стебельке покоились, свисая вниз, разноцветные венчики. Один венчик красный, другой венчик синий, третий фиолетовый.

Как и большинство людей, живущих на земле среди цветов и любующихся их красотой, я не знаю названия большинства из них. Не знал я и теперь, как называются эти ранние весенние гости. То есть, вернее, может, я забрел к ним в гости. Они обитали здесь на правах законных и старинных жителей леса. Правда, тем они похожи на гостей, что отцвели и — нет. В конце мая я не встречал уж своих весенних знакомцев.

Так как я заранее предполагал, что где-нибудь обязательно придется упомянуть об этих цветах, нужно было узнать их название. Я очень опасался, что, может быть, они называются как-нибудь неинтересно, как-нибудь казенно, по-научному, и название их больше годится для научной статьи, нежели для легкомысленных заметок о весеннем лесу.

Моя десятилетняя дочь, которую всегда я учил разным земным названиям, впервые научила меня. «Да это же медуница!» — воскликнула она, как будто все эти десять лет она только и делала, что собирала медуницы. Я обрадовался. Какое дивное название. Можно сказать, что мне повезло. Медуница!

Чтобы проверить сведения, полученные не из столь уж надежного источника, я полез в ботанический атлас Монтеверди. Нашел на цветной таблице мой цветок, читаю название: «Легочница лекарственная». Фу ты, грех, отдает аптекой и приемным покоем. Легочница... Это скорее подходит для названия болезни, нежели для свежего, бесконечно прекрасного среди пепельной прошлогодней листвы цветочка.

Безо всякой надежды я заглянул еще в книгу о лекарственных растениях нашей страны. Перечитываю длинный указатель названий. Никакой легочницы нет. Нахожу медуницу и что же? Да, это она, моя медуница, ее разноцветные бубенчики. Рассказано даже, что сначала... да вот не угодно ли просветиться вместе со мной: «...Многолетнее травянистое растение семейства бурачниковых. Имеет тонкое ползучее темно-коричневое корневище с длинными шнуровидными придаточными корнями. Стебли высотой пятнадцать—семнадцать сантиметров, листья цельнокрайние, заостренные, иногда с беловатыми пятнами. Цветы средней

величины, правильные, обоеполые, диморфные, сидящие на коротких цветоножках, расположенных на верхушках цветоносных стеблей. Венчик опадающий, воронковидный, первоначально красный, затем фиолетовый, а под конец синий. Цветет в апреле, мае. Травя применяется в народной медицине в качестве слизистого, смягчительного». Но оставим ученую книгу, пока снова не запахло амбулаторией. Главное, мы выяснили, что все-таки — медуница и почему на одном стебельке разноцветные бубенчики. В другой книге я прочитал, что синие цветки посещаются только случайными неопытными пчелами, потому что сладости в них уже нет.

Но сладость сладостью, а красота красотой. В неприбранном, в безлистном и бестравном лесу цветы медуницы были для меня как дивная сказка. Они и теперь стоят перед моими глазами. И может быть, в следующую весну я пойду в лес не ради сморчков, но ради того, чтобы взглянуть на цветущие медуницы.

В буераке мне попадались кусты калины. Я удивился, увидев на голых ветвях все такие же ярко-красные, все такие же каленые прошлогодние ягоды. Они перезимовали в лесу и, наверно, были зимой во время морозов как звонкие камешки, а теперь оттаяли, но все еще не упали на землю. Удивительнее всего, что их не склевали птицы — больше охотницы до всякой полезной ягоды. Каждая ягода была как крепкий кожистый мешочек, наполненный чем-то жидким, этакий крохотный бурдючок. Я клал ягоду в рот, прокусывал ее, и содержимое выливалось мне на язык. Тут же попадалась и косточка, которую я выплевывал. Содержимое мешочка было прохладным и очень вкусным. По вкусу это больше всего походило на клюкву, но только гораздо слаще, или вернее сказать, что клюква гораздо кислее, потому что и теперь, после морозов, калину трудно было назвать сладкой ягодой. Есть ведь знаменитая пословица: «Калина сама себя хвалила — я с медом хороша. Мед сказал — а я и без тебя неплох». Несправедливо. Сходите в апреле в лес, и вы поймете, что апрельскую калину не нужно противопоставлять меду, у каждого свой вкус, у каждого своя прелесть. И может быть, в следующую весну я пойду в лес не ради сморчков и даже не ради медуниц, а ради того, чтобы собирать прошлогодней калины.

Однако что же мои сморчки? В том-то и дело, что, сколько я ни ходил, как ни вглядывался, мне не попалось

ни одного сморчка. Попадались прошлогодние опята и валуи, темнокоричневые, засохшие на корню, мумии прошлогодних грибов.

Известно, для того чтобы увидеть в лесу нужный гриб, птицу, притаившуюся в ветвях, птичье гнездо, орех на ветке, одним словом, все, что редко попадаетея и так или иначе прячется от глаз, надо держать в воображении то, что ищешь. Олдридж в своей книге о подводной охоте рассказывает, что, когда ему хотелось в подводных скалах увидеть зеленушку, он держал ее перед внутренним зрением, и тогда она попадалась скорее.

Я знаю это правило и всегда пользуюсь им, когда что-нибудь ищу в лесу, но вот беда, я никогда не видел живого сморчка. Значит, теперь в моем воображении вставляли только картинки, только нарисованные сморчки, а это, согласитесь, не одно и то же, что настоящий гриб, среди настоящих деревьев. Некоторое время я думал, что оттого и не могу разглядеть сморчка среди листьев, что не представляю, как он должен выглядеть. Правда, здравый смысл говорил другое: ведь прошлогодние сухие валуи и опята я тоже не держу в воображении, однако они попадают мне то и дело. Что-то тут не так. Но что? Казалось бы, все условия соблюдены. Время? То самое — апрель. Лес? Тот самый — лиственный, с примесью черной ольхи, ивняка, осины — самый сморчковый лес. Старание? О, старания было больше, чем нужно. В один день я обошел всю правую сторону Журавлихи. В другой день перешел на правый берег реки в подосинник, что подымается на гору и поэтому располагается несколькими ярусами один над другим. В третий день я пробрался за Крутовский овраг и ходил по снегиревской стороне и дошел чуть ли не до Снегирихи. В четвертый день я бродил по Самойловскому лесу. На пятый день я вернулся снова в Журавлиху и ходил по ней кругами и зигзагами, пока наконец не выбрал на опушке сухого, нагретого апрельским солнцем пригорка и не устроился на нем отдохнуть, потому что был уже совсем без ног.

Дремучая ель осенила меня своими длинными черными лапами. Ветерок тянул с юга. Он легко, неназойливо обдувал, и я чуть ли не задремал, привольно раскинув праздные руки. Я любил в эти дни отдыхать вот на таких пригретых пригорках. Земля вокруг еще сырая, холодная. Сначала, если сесть на нее, словно бы ничего, но потом услышишь, как из глубины земли уверенно, устойчиво под-

нимается холод. А на пригорке, к припеку, чем больше лежишь, тем теплее становится. Иногда я зажигал маленькую теплинку, не для тепла, для забавы — очень люблю глядеть на ручной огонь. Положишь несколько сухих еловых веточек тоньше карандаша, подложишь под них сосновую ветку с сухими рыжими иглами, поднесешь спичку. Сухая, белесая, выгоревшая на солнце, вымокшая от дождей и под снегом, выветрившаяся на ветру трава начнет выгорать вокруг теплинки. Интересно следить, как крохотные красные хищные зверьки врассыпную начинают свой бег во все стороны, как безошибочно они перепрыгивают с травинки на травинку, впиваются в нее. Травинка взвивается на дыбы, как олень, на загрибок к которому прыгнул кровожадный соболь, извивается в агонии и падает черным невесомым пеплом.

Я даю выгореть сухой траве на полметра вокруг основного огонька, потом приструниваю огненную конницу, этих все более разгульных, все более беспощадных, более многочисленных зверьков. Я приструниваю их обыкновенной сосновой веткой либо даже своей палкой. На том месте, где прекратился бег огненного лоскутка, завивается тонкая струйка душистого лесного дыма. Посредине черного выгоревшего круга моя теплинка горит спокойным ровным пламенем. Я подкладываю в нее палки потолще, чтобы можно потом сидеть не подкладывая.

Стоит, стоит ходить в весенний лес и впредь, если не ради этих проклятых заколдованных сморчков, то ради того, чтобы на сухом пригорке посидеть и поглядеть на теплинку.

В этот раз на опушке я увидел, что ко мне, издали улыбаясь, идет пастух. Всегда, когда охотник, рыбак или грибник возвращается пустой, ему досадно встречаться с людьми, которые будут заглядывать в ведро, сумку, корзину. Правда, я в эти дни слегка хитрил. Не брал кузовка, но клал в карман авоську. Если и ничего не найду — не беда. Я ведь просто ходил на прогулку. Если же найду — в авоську поместится не меньше, чем в кузовок.

Пастух присел около теплинки и тотчас вызвал меня на полную откровенность, можно сказать, вывернул наизнанку. Не заметив как, я начал ему жаловаться, что вот который день хожу и хоть бы один сморчок. Наверно, потому что поздняя весна. Все ведь в этом году запаздывает на три недели.

— Да ты что?! — удивился пастух. — Вчера Игнат пронес с Прокошинской горы бадью верхом. Такие крупные, ядреные. Да сегодня еще Катюшка Громова на той же горе мимоходом фартук набрала. Слышь, Иван очень любит жареные. Да их там на горе-то! Ты ступай скорее туда. Ты там наберешь сколько тебе надо. Вчера Игнат целую бадью приволок.

Прокошинскую гору я знал. Тем большее недоумение вызвал у меня рассказ пастуха. На Прокошинской горе стоят очень редкие сосны и очень частые сосновые и еловые пни. Между пнями горами валяются полустлеловые сучья. Груды, некогда пышные, теперь осели, распластались, меж сучьями пробилась трава, которая обычно растет на порубках: иван-чай да крапива. Попадает и лесная малина. Некоторые кучи хвороста в свое время сожгли. Пепелища на их месте тоже заросли травой. Вокруг пней и хвороста в неправдоподобном изобилии растет земляника. Ближе к пням она мелкая, суховатая, ближе к хворосту в высокой траве — крупная и сочная. Благодатная земляничная гора.

Мне, рыскавшему в эти дни по влажным широколиственным лесам и в голову не приходило наведаться на Прокошинскую гору. Признаться, и теперь, идя к ней, я не очень-то верил рассказу пастуха. Наверное, решил подшутить. Будет смотреть мне вслед, пока я не дойду до сосновых пней и горелых мест, а потом покатится со смеху. Недоверчиво обошел я вокруг первого пня, прошел дальше и вдруг замер от восхищения. То есть восхищаться, может, было вовсе нечему, потому что, если нужно было бы придумать совершенное грибное уродство, грибного квазнмодо, то, верно, нельзя было бы придумать ничего лучше увиденного мною теперь некоего коричневого образования.

Но я и не оговорился. Действительно, первый увиденный мною сморчок восхитил меня сначала одним тем, что я его увидел, а потом я нашел даже в нем своеобразную красоту. Может же быть красной лягушка, хотя с детства она служила нам символом чего-то уродливого, неприятного, мерзкого, до чего противно дотронуться, а не то что взять в руки и полюбоваться.

То, что росло передо мной теперь, больше всего напоминало по виду аккуратно очищенное ядро грецкого ореха. Цвет темно-коричневый, размер с хороший кулак. Нечто мозговидное, с извилинами, с глубокими пазухами, в кото-

рых прохлаждались улитки. На срезе — похожее на хрящ, белое, с легким фиолетовым оттенком.

Восторг золотоискателя, наткнувшегося вдруг на обильную непссякаемую жилу, охватил меня. Почти около каждого пня я находил по два, по три этих нелепых детища не всегда нам понятной природы. В самом деле, мало ли обыкновенных с ножками и шляпками грибов. Теперь вот понадобились еще эти уроды, эти очаровательные, эти восхитительные уроды, эти сочные крепыши. Зачем-то они нужны природе и нужны именно теперь, в апреле, как только растает снег. Этой маленькой тайны мы никогда не узнаем. Да и что нам за дело. Главное, что авоська моя полна, набита битком. Пастух восторженно машет мне издали, и я гордо поднимаю авоську вверх. Впервые за все эти дни я возвращаюсь домой с добычей, да еще с какой. В сущности, много ли надо для того, чтобы человеку стало радостно.

Мои дочки, увидев полиую авоську диковинных грибов, запрыгали, захлопали в ладоши. Жена отнеслась к сморчкам более сдержанно, но все же и она удивилась, что наконец-то я добился того, чего хотел. Да и просто так нельзя было не удивиться, впервые в жизни увидев такие необыкновенные грибы. Тем не менее жена спросила:

— А ты уверен, что среди этих сморчков нет ни одного строчка?

— Что за вопрос! Вчера Игнат набрал целую бадью. Да еще Катя Громова насобираала целый фартук. Игнат бывший лесник, неужели он не знает, что такое сморчки.

— Я вижу теперь, что это сморчки, но дело в том, что мы никогда не видели строчка и не знаем, чем он отличается...

Содержимое авоськи мы высыпали на стол, и все четверо дружно принялись за разборку. Теперь у нас не было разнообразия в ассортименте. Одни сморчки. Мы резали их как можно мельче, тщательно очищали от земли в глубоких складках, от пританвшихся там то муравья, то улитки. Хрупкая плоть наших грибов резалась великолепно, и вскоре перед нами стояла большая кастрюля коричневого крошева.

Варили мы это крошево очень тщательно, кипятили, сливали воду, снова кипятили. Потом, откинув в дуршлаге,

начали жарить. Хозяйка все время приговаривала, что она в рот не возьмет эту отраву, а я говорил, что и не надо, что я испробую сначала на себе, только ради бога поджарь.

Грибы очень сильно уварились. От полной кастрюли осталась едва ли треть, но все же на сковороде они распределились толстым слоем. Тогда мы еще не знали, как нужно правильно готовить сморчки. Мы просто жарили их в масле, как можно дольше. Грибы беспрерывно трещали, взрывались, как в печке сырые дрова. Стрельба несколько смущала нас, но мы утешались тем, что, вероятно, как раз в это время и выходят из грибов все зловредные и ядовитые соки.

Когда грибы хорошенько поджарились, все стали смотреть на меня, осмелюсь ли я поднять вилку ко рту. Но я не только поднес, но стал энергично жевать плавающие в горячем масле черненькие комочки. Жена, естественно, не позволила мне испытывать судьбу одному, но, желая разделить любую участь, тоже начала есть.

Мы ели, стараясь понять, на что это похоже по вкусу. Когда я уже решил про себя, что это похоже больше всего на жареные бараньи кишки, я спросил у жены, что думает она. «Жареные бараньи кишки»,— без запинки ответила моя сотрапезница.

Девочек в это время позвали гулять подружки. Мы решили оставить им грибов на сковороде, чтобы они попробовали потом. Сам я пошел к себе на диван и стал прислушиваться, не начинаю ли я умирать от действия таинственных и беспощадных ядов. Лениво взял я тут же лежавшую книжку Васильчикова о съедобных и ядовитых грибах. Как же так, думал я, Васильчиков утверждает, что сморчки нужно искать в широколиственных, и я потратил столько времени. А оказывается, на сухой горе, на порубке, около пней да горелого хвороста. Вот и верь после этого научным книгам. Да, точно. Ошибки нет. Вот они, сморчки... Надо же допустить такую ошибку в книге. А вот и злополучные, пользующиеся особенно дурной славой строчки: «Мозговидные, темно-бурые, несколько фиолетовые на срезах... Что такое?! (Я даже подпрыгнул на диване). На вырубках, около сосновых пней, на пожарниках...»

Тотчас я почувствовал некоторую сухость во рту и в гортани и даже вроде бы легкое головокружение. Скорее я побежал на кухню. Я боялся, что, может быть, девочки



уже съели остатки грибов, что, может быть, жена уже валяется на полу в мучительных корчах. Но все на кухне шло своим чередом.

— Знаешь,— сказал я,— подождем давать девочкам грибы до завтра. Мало ли... А уж завтра, если с нами ничего не случится...

— А что такое, раскрывай, ты что-то знаешь.

— И знать нечего, это были обыкновенные строчки.

Вопреки здравому смыслу мы расхохотались. Я думаю, больше всего нас успокаивало отсутствие слухов о скоропостижной смерти мужика Игната, насобиравшего целую бадью, а также и Кати Громовой, насобиравшей целый фартук.

Впоследствии я убедился, что наши местные жители вовсе не различают сморчков и строчков, но все, что растет похуже на гриб в апреле и раннем мае, называют сморчками. Оно и проще.

Более того, на рынке в Москве я видел потом большие кучи строчков и сморчков, лежащих либо по отдельности, либо перемешанных между собой, но все равно все это пазывалось одним словом — сморчки. У московских хозяек мы узнали, как нужно по-настоящему готовить сморчки (строчки, сморчки конические, сморчки обыкновенные, сморчковую шапочку и прочее). Сначала мы действовали правильно. Грибы нужно прокипятить, а потом вымыть в свежей воде. Оказывается яд, если он там и есть (гельвеловая кислота), хорошо растворяется в горячей воде. Затем грибы нужно немного обжарить в сливочном масле, залить сметаной и тушить в духовке. Тогда они гораздо меньше напоминают вкус жареных бараньих кишок, тогда они очень нежны на вкус и вполне заслуживают, чтобы за ними охотиться.

(Дополнение читателей о сморчках и строчках.

«В отношении строчков и сморчков. Все они (а не только строчки) ядовиты. Яд у них находится в поверхностном слое шляпки. Для удаления яда их буквально на пять минут достаточно опустить в кипящую воду. Долго варить и жарить их, безусловно, не следует, а то не то что бараньими кишками, а еще невесть чем покажутся. Резать их тоже не надо, даже самые крупные строчки после бланшировки надо слегка обжарить и полить сметаной. Это очень вкусно».

«Хочу сказать о строчках и сморчках. Попробуйте при-

готовить их следующим образом. Целыми, только что принесенными из леса отварить их в бурно кипящей воде минут 12—15 (воды должно быть раза в два больше, чем грибов). Выложите строчки на решето или дуршлаг, облейте холодной водой. Нарежьте грибы помельче, положите в глиняную плошку. Приготовьте два-три яйца, взбитые в молоке. Залейте рубленые грибы, посолите, перемешайте, запеките в русской печи или в духовке. Когда будете подавать на стол, на румяную корочку грибов полейте растопленное масло по вкусу. Так готовила грибы моя мама».

«Прочитав ваши «Письма» о грибах в журнале «Наука и жизнь», я с удивлением заметила, что такой эрудированный специалист, как вы, оказался совершенно беспомощным при приготовлении сморчков! А ведь существует абсолютно точный рецепт, да какой — литературный! Если он вам не известен, то советую и как повару, и как писателю познакомиться с этой очаровательной вещицей. Это «Сморчки» Терпигорева (изд. Маркса, том IV). А судя по вашему дилетантскому подходу к обработке и приготовлению этих редких грибов, вы с рассказом Терпигорева незнакомы. Прочитайте обязательно. Во-первых, получите удовольствие. Терпигорев чудесный писатель. Кажется, лет 10 назад кое-что из его вещей переиздавали. Отбор был сделан очень официальный, по БСЭ, а редактор, как большинство без вкуса и самостоятельного мышления, многое упустил. Во-вторых, сможете насладиться сморчками по рецепту XIX века».

Я пишу эти строки в деревне. У меня нет под руками Терпигорева, «Сморчки» которого я действительно не читал. Что ж, может быть, к лучшему, может быть, и неко-



*С. порчок*



*Строчок*



*Сморчковая шапочка*

торые читатели заинтересуются рассказом Терпигорева и через такой пустяк, как сморчки, познакомятся с писателем, которого я тоже считаю великолепным и незаслуженно забытым).

Но что же все-таки настоящие классические сморчки, растущие в широколиственных? Неужели я потом так и не встретил их в наших лесах?

После того как мы по ошибке наелись строчков, мне нужно было уехать по делам в Москву. Я пробыл в городе две недели. За это время в лесу пробилась трава, распустились листья, папоротники из завитков, похожих на вопросительные знаки, развернулись в широкие опахала. Казалось бы, ранняя весна, как таковая, прошла. Действительно, на злополучной горе с сосновыми пнями и горелым хворостом я не встретил больше ни одного строчка. Даже трудно было представить, что именно здесь-то в изобилии росли эти симпатичные уродцы. И время прошло, и никакая сила не заставит их показаться снова в неурочное, в незапрограммированное для них время.

Зато в лиственном лесу мне то и дело стали попадаться эдакие изыщества, поздраватые восточные минареттики, сооруженные природой из желтоватого с фиолетовым оттенком материала. Вот они какие, настоящие классические сморчки! Ничего бесформенного, мозговидного, безобразного. Полная симметрия. Прямая трубчатая ножка, довольно высокая, овальное тело, заостренное кверху. Если тело округлое — сморчок обыкновенный, если очень уж заостренное — сморчок конический.

На склоне оврага под старыми лесными ивами мне попался большой выводок очень странных сморчков. Ножка неестественно высокая, апельсинового цвета, на самом кончике ножки непропорционально маленькая, сморщенная, как бы приклеенная всеми краями, шляпочка. Я нарезал этих желтых грибов полкорзины и дома точно выяснил, что, оказывается, я познакомился еще с одной разновидностью сморчков, а именно с так называемой сморчковой шапочкой. Но весна действительно кончилась. Просторные без листьев леса, шуршащие иглопады, теплички на обогретых сухих пригорках, прошлогодняя калина, первые цветы медуниц и волчьего лыка, первые и последние, теперь уж удивительные проявления природы, я бы даже сказал — чудеса природы, которые в простоте душевной мы называем пренебрежительным словом «сморчки», все это было теперь позади.

Наступила пора, с точки зрения грибинка, выходить из волглых лесов на зеленые косогоры и луговины, где, принимая грибиую эстафету, вот-вот появятся такие белые, такие заметные среди зеленой, еще не подросшей травки, такие крепкие по своей молодости дождевики.

1967



*TPABA*







Ньютон объяснил,— по крайней мере так думают,— почему яблоко упало на землю. Но он не задумался над другим, бесконечно более трудным вопросом: а как оно туда поднялось?

*Джон Рескин*

Наиболее выдающаяся черта в жизни растения заключена в том, что оно растет.

*К. Тимирязев*

Колокольчики мон,  
Цветики степные.

*А. К. Толстой*

\* \* \*



Строго говоря, я не имею никаких оснований братья за эту книгу. У меня нет ни осведомленности ботаника, чтобы я мог сообщить миру нечто новое, не известное современной науке, ни опыта, скажем, цветовода, чтобы я мог поделиться им, ни накопленных веками, а может быть, во многом интуитивных знаний знахаря, чтобы я мог обогатить народную медицину.

После пятого класса средней школы я уже не считал на цветках лепестков, не разглядывал в лупу тычинок и пестиков, не опылял кисточкой, не засушивал цве-

тов для гербария. Я не выращивал цветов в теплицах или на клумбах. Я не собирал таинственных трав, чтобы развешивать их на чердаке, сушить, а потом варить из них зелье и пить от разных болезней.

Некоторые травы я, правда, собирал, но все больше зверобой, зубровку, мяту и тмин, которые очень хороши для домашних настоек.

Леонид Леонов, всю жизнь разводивший кактусы и



создававший время от времени бесценные коллекции этих удивительных растений, мог бы, вероятно, рассказать нечто интересное из жизни кактусов.

Рядовой работник ВИЛАРА, выезжающий каждое лето в экспедиции на поиски лекарственных трав, мог бы поделиться своими наблюдениями, присовокупив к ним несколько приключений, неизбежных во всякой экспедиции.

Индийские ученые, установившие, что травы воспринимают музыку, что музыка влияет на самочувствие и рост трав, что классическая музыка стимулирует их рост, а джаз угнетает, эти ученые смело могут братья за перо, ибо они имеют сообщить человечеству нечто новое, неслыханное, потрясающее.

Я же умею только мять траву, валяясь где-нибудь на опушке леса, набрать букет и поставить его в кувшин, сорвать цветок и поднести его к носу, сорвать цветок и поднести его женщине и просто смотреть на цветы, когда они расцветут и украсят землю.

Я косил траву, возил ее на телеге, и тогда она называлась сеном.

Я выдергивал одни травы, оставляя другие, и это называлось прополкой.

Я ел траву, когда она была шавелем, заячьей капустой, а также спаржей, луком, укропом, петрушкой, чесноком, сельдереем...

Я бродил по траве, когда на нее упадет роса. Я слушал, как шумит трава, когда подует ветер. Я видел, как трава пробивается из черной апрельской земли и как она увядает под холодным дыханием осени. Я видел, как трава пробивается сквозь асфальт и часто поднимает, разворачивает его, как это можно сделать только тяжелым ломом.

Чаше всего это была трава. Просто трава. Сознание выделяет из нее обычно несколько травок, знакомых по названиям. Крапива и одуванчик, ромашка и василек. Еще десятка два-три. Валериану, пожалуй, не сразу отыщешь и покажешь в лесу. С ятрышником дело будет еще сложнее. Когда черед дойдет до вероники и белокудрейника, не спасует только специалист.

Однажды я записал смешную историю, как мы с другом пытались выяснить название белых душистых цветов, растущих около речек и в сырых оврагах. Лесник, к которому мы обратились, обрадованно сообщил нам,

что это белая трава. Теперь я знаю, то была таволга. Но лесник не знает этого до сих пор, и белая трава для него вполне подходящее и даже исчерпывающее название.

Тут невольно я вспоминаю гениальную книгу Метерлинка «Разум цветов». Метерлинок говорит, что отдельное растение, один экземпляр может ошибиться и сделать что-нибудь не так. Не вовремя расцветет, не туда просыплет свои семена и даже погибнет. Но целый вид разумен и мудр. Целый вид знает все и делает то, что нужно.

Все, как у нас. Поведение отдельного человека может иногда показаться иерасуемым. Человек спивается, ворует, лодырничае, может даже погибнуть. Отдельный индивид может не знать что-нибудь очень важное, начиная с истории, коичая названием цветка. Отдельный Серега Тореев может не понимать, куда идет дело и каков смысл всего происходящего с ним самим. Но целый народ понимает и знает все. Он не только знает, но и накапливает и хранит свои знания. Поэтому он богат и мудр при очевидной скудости отдельных его представителей. Потому он остается бессмертным, когда погибают даже лучшие его сыновья.

Мой сотоварищ по перу Василий Борахвостов, узнав, что я собираюсь писать книгу о травах, стал посылать мне время от времени письма без начала и конца, с чем-нибудь интересным. Обычно письмо начинается с фразы: «Может, пригодится и это...» Или сразу идет выписка из Овидия, Горация, Гесиода.

Чтобы подтвердить свою мысль о поэтичности и мудрости народа, несмотря на невежественность отдельных людей, выписываю полстранички из борахвостовского письма.

«Теперь о траве (эти названия я собрал за 50 лет сознательной жизни, но мне не понадобилось). Русский человек (надо бы сказать — народ. — В. С.) настолько влюблен в природу, что эта его нежность к ней заметна даже по названиям трав: петрушка, горицвет, касатик, гусиный лук, баранчик, лютики, дымокурка, курчавка, чистотел, белая кашка, водосбор, заманиха, душичка, заячья лапка, львиный зев, мать-и-мачеха, заячий горох, белоголовка, богородицы слезки, ноготки, матренка, одуванчики, лада-

нища, пастушья сумка, горечавка, поползиха, нван-чай, павлиний глаз, лунник, сон-трава, ломонос, волкобой, лягушатник, маргаритки, мозжатка, росянка, ястребника, солнцегляд, майник, Соломонова печать, стыдливица, северница, лисий хвост, душистый колосок, ситник, гулевник, сабельник, хрустальная травка, журавельник, копытень, пужичка, сныть, пролеска, подморенник, чнстяк, серебрянка, жабник, белый сон, кавалерийские шпоры, горький сердечник, буркун, сухаребник, девичья краса, калачики, волгоцвет, золотой дождь, таволга, бедренец, купырь, золотые розги, мордовник, куль-баба, ласточник, румянка, наперстянка, богородская трава, белорез, царь-зелье, жигунец, собачья рожа, медвежье ушко, ночная красавица, купавка, медунца, анютины глазки, бархатка, васильки, вьюнок, нван-да-марья, кукушкны слезки, незабудка, ветреница, кошачья лапка, любка, кукушкин лен, барская спесь, бабний ум (перекати-поле), божьи глазки, волчий серыг, благовонка, зяблица, водолюб, красавка... Сколько любви и ласки!»

Конечно, хоть и за пятьдесят лет, Борахвостов собрал не все. Достаточно заметить, что в списке нет хотя бы колокольчиков, мышиной репки, птичьей гречки, ландыша, солдатской еды, столбцов, земляники, майжетки, купальницы, зверобоя, чтобы понять, как список не полон и как можно продолжать и продолжать. Но зато в нем есть истинно народные названия, не встречающиеся в ботанических атласах.

Важно и другое. Читая все эти названия трав, отчетливо понимаешь, насколько народ знает больше, чем мы с тобой, ты да я. И что, пожалуй, мы с тобой (ты да я) просуществоем на свете зря, если не добавим хоть медной копейки в драгоценную вековую копилку, коли иметь в виду не названия трав (которых мы с тобой, безусловно, не добавим), но всяких знаний, всякой культуры, всякой поэзии, всякой красоты и любви.

## БОРАХВОСТОВ



«Я, видимо, больной человек, если я что-либо захочу узнать, то обязательно должен докопаться до нуля.

То же вышло и с золототысячником. Он не давал мне покоя.

Не может быть, чтобы наш русский народ назвал траву золототысячником. Это ни в какие ворота не лезет. Это произошло, видимо, в эпоху нашествия немцев на Россию при Петре I или при Екатерине II, которые «втихаря» колонизировали Русь, предоставляя лучшие земли немецким переселенцам. Так, напри-

мер, появились немцы Поволжья и колония Сарепта (знаменитая сарептская горчица) в Сталинградской области...<sup>1</sup>

Или же золототысячник появился у нас (название, конечно) в то время, когда наша интеллигенция стала изучать немецкий язык.

Но ведь у нас в истории были времена, когда — слава богу! — не было интеллигенции, а народ — слава богу! — был, и трава тоже — слава богу! Значит, наш народ как-то называл ее. Наши древляне не ждали, пока придут немцы и назовут эту траву, а мы потом переведем ее на наш кодовый язык.

И я стал копать. И докопался. Народ ее называет и до сих пор «игольник», «грыжник», «травенка» и «турецкая гвоздика» в зависимости от области, края.

Так же в свое время я интересовался происхождением названия «бессмертник». Оказывается, в этом опять виновата наша — на этот раз не интеллигенция, а аристократия. Привыкнув с детства балакать по-французски, они

<sup>1</sup> Приводя здесь выдержки из писем моего любезного корреспондента, я оставляю на его совести подобные исторические экскурсы и оценки, некоторые рискованные суждения (не о травах), а также эмоциональные сопоставления русского народа с другими просвещенными народами, мне лично не свойственные.

название этих цветов (травы) просто перевели с французского. Там она называется «иммортели», это в переводе и означает — «бессмертник». А наш великий народ называет эту траву «неувядка», «живучка». Куда там французикам тягаться с нами в любви к природе. «Бессмертник» и «неувядка» — канцелярщина и поэзия!

Еще нашел я тебе о траве в некоторых книгах. Вот «Записные книжки» Эффенди Капиева.

«Как бедны мы, горцы! Как беден наш язык! Виноград у нас называется «черный цветок», подсолнух у нас называется «пышный цветок», розу у нас зовут «многознающий цветок» (с. 198).

Это я привел для сравнения с нашими многообразными и многозначительными названиями трав. А теперь — Куприн:

«Для своего обихода, для своих несложных надобностей русский крестьянин обладает языком самым точным, самым ловким, самым выразительным и самым красивым, какой только можно себе представить. Счет, мера, вес, наименование цветов, трав...» (Куприн, «Бредень»).

Примечание: И это писал человек, знавший немецкий и французский!

— Вы бы, мужички, сеяли мяту. Э... вы бы мяту сеяли (Лев Толстой, «Плоды просвещения»).

Примечание: Так аристократ Вово учил крестьян сельскому хозяйству.

Снова Куприн:

«Обхожу его (древнеримский цирк. — В. С.) по барьеру. Кирпич звенит под ногами, как железный, кладка цементная, вековая, в трещинах выросла тонкая трава, иглистая, жесткая, прочная, терпкая. Вот и теперь она лежит передо мной на письменном столе. Я без волнения не могу глядеть на нее» («Лазурный берег»).

«Потом Зоя затуманилась, развздохалась и стала мечтательно вспоминать Великую неделю у себя в деревне.

— Такие мы цветочки собирали, называются «сон». Синенькие такие, они первые из земли выходят. Мы делали из них отвар и красили яйца. Чудесный выходил синий цвет» («По-семейному»).

Примечание: Зоя — проститутка.

«Сегодня тронца. По давнему обычаю, горничные заведения ранним утром, пока их барышни еще спят, купили на базаре целый воз осоки и разбросали ее, длинную, хрустящую под ногами, толстую траву, всюду: в коридорах, в кабинетах, в зале» («Яма»).

Примечание; У нас в Волгоградской области посыпают полы богородской травой, на Украине — чабрецом. Есть о травах и у Марко Поло, но я не выписывал, а память изменяет, начинается склероз. Да и читал-то я его лет сорок назад.

Жером Бок. «Книга трав» издана в 1557 году. Есть в нашей библиотеке. (В библиотеке Центрального Дома литераторов. — В. С.) В ней много интересного, вплоть до средневекового салата из крапивы, листьев фиалки и репейника. Без уксуса (тогда еще не знали его) и без масла (оно в то время считалось роскошью). В салат для остроты прибавляли хрен.

Я еще покопаюсь в записных книжках. Привет!»

\* \* \*



Существует точное человеческое наблюдение: воздух мы замечаем тогда, когда его начинает не хватать. Чтобы сделать это выражение совсем точным, надо бы вместо слова «замечать» употребить слово «дорожить». Действительно, мы не дорожим воздухом и не думаем о нем, пока нормально и беспрепятственно дышим. Но все же, неправда, — замечаем. Даже и наслаждаемся, когда потянет с юга теплой влагой, когда промывает майским дождем, когда облагорожен грозowymi разрядами. Не

всегда ведь мы дышим равнодушно и буднично. Бывают сладчайшие, драгоценные, памятные на всю жизнь глотки воздуха.

По обыденности, по нашей незамечаемости нет, пожалуй, у воздуха никого на земле ближе, чем трава. Мы при-

выкли, что мир — зеленый. Ходим, мнем, затаптываем в грязь, сдираем гусеницами и колесами, срезаем лопатами, соскабливаем ножами бульдозеров, наглухо захлопываем бетонными плитами, заливаем горячим асфальтом, заваливаем железным, цементным, пластмассовым, кирпичным, бумажным, тряпичным хламом. Льем на траву бензин, мазут, керосин, кислоты и щелочи. Высыпать машину заводского шлака и накрыть и отгородить от солнца траву? Подумаешь! Сколько там травы? Десять квадратных метров. Не человека же засыпаем, траву. Вырастет в другом месте.

Однажды, когда кончилась зима и антифриз в машине был уже не нужен, я открыл краник и вся жидкость из радиатора вылилась на землю, там, где стояла машина — на лужайке под окнами нашего деревенского дома. Антифриз растекся продолговатой лужей, потом его смыло дождями, но на земле, оказывается, получился сильный ожог. Среди плотной мелкой травки, растущей на лужайке, образовалось зловещее черное пятно. Три года земля не могла залечить место ожога, и только потом уж плешинна снова затянулась травой.

Под окном, конечно, заметно. Я жалел, что поступил неосторожно, испортил лужайку. Но ведь это под собственным окном! Каждый день ходишь мимо, видишь и вспоминаешь. Если же где-нибудь подальше от глаз, в овраге, на лесной опушке, в придорожной канаве, да, господи, мало ли на земле травы? Жалко ли ее? Ну, выпалил шлак (железные обрезки, щебень, бой-стекло, бетонное крошево), ну, придавили несколько миллионов травинок. Неужели такому высшему, по сравнению с травками, существу, как человек, думать и заботиться о таком ничтожестве, как травинка. Трава? Трава она и есть трава. Ее много. Она везде. В лесу, в поле, в степи, на горах, даже в пустыне... Разве что вот в пустыне ее поменьше. Начинаешь замечать, что, оказывается, может быть так: земля есть, а травы нет. Страшное, жуткое, безнадежное зрелище! Представляю себе человека в безграничной, безтравной пустыне, какой может оказаться после какой-нибудь космической или не космической катастрофы наша земля, обнаружившего на обугленной поверхности планеты единственный зеленый росточек, пробивающийся из мрака к солнцу.

Не помню где, в воспоминаниях какого-нибудь революционера, я вычитал трогательную историю о травинке.

Арестанту, заключенному в одиночке, принесли из большого мира стопу книг. Кроме самого арестанта в камере не было ничего живого. Каменные стены, железная кровать, тюфяк, набитый мертвой теперь соломой, табуретка, сделанная из бывшего живого дерева.

Ученый человек тотчас прервет меня и скажет, что плесень в углу тоже есть жизнь и разные там бактерии в воздухе... Но не будем педантами. Забудем даже про то, что в тюремном тюфяке могли водиться совсем уж живые существа. Будем считать условно, что кроме самого арестанта никакой жизни в камере не было. И вот ему принесли стопу книг. Он стал книги читать и вдруг увидел, что к книжной странице прилипло крохотное, право же, меньше булавочной головки семечко. Арестант аккуратно это семечко отделил и положил на лист бумаги.

Непонятное волнение охватило его. Впрочем, если вдуматься, то волнение арестанта можно понять.

Как дышим воздухом, точно так же бездумно мы обдуваем головки одуванчиков, раздавливаем в пальцах созревшую ромашку, пересыпаем с ладони на ладонь сухое зерно, лузгаем семечки подсолнуха, щелкаем кедровые орешки.

Но в особенной обстановке, в безжизненном (как мы условились) каменном мешке, в оторванности от обыденной жизни планеты, арестант посмотрел на семечко другими глазами. Он понял, что перед ним на листе бумаги лежит величайшее чудо из всех возможных чудес и что все это поистине величайшее чудо (и в этом еще дополнительное чудо) помещается в крохотной, едва различимой соринке.

При своем тюремном досуге арестанту не трудно было вообразить, что, допустим, оголилась земля и осталось от бывшего пышного изобилия, от роскошного даже, как бы праздного зеленого царства, одно это, последнее, случайно прилипшее к книжной странице, семечко.

Ну да, в одной коричневой легковесной шелушинке могут скрываться гигантский сосновый ствол, крона, подобная зеленому облаку, и даже впоследствии целая сосновая роща. Или бело-розовые яблоневые сады, если взять глянцевого, лакового, остренького с одного конца зернышко яблока, или колосющееся пшеничное поле, если взять столь знакомое всем пшеничное зерно.

Но как узнать, что скрывается в семечке, если оно не знакомо нам по своему внешнему виду? Сумев увидеть и



понять в семечке великое чудо, наше сознание невольно делает еще один шаг и тотчас натывается на глухую, абсолютно черную, непроницаемую завесу, отделяющую нас от тайны тайн.

Если бы в распоряжение арестанта, обладающего таинственным семечком, были отданы все современные химические и физические лаборатории мира с их сложными реактивными, утонченными анализами и электронными микроскопами, если бы эти лаборатории изучили каждую клетку семени, если бы они после клетки добрались потом до молекулы, до атома, до атомного ядра, если бы они даже расщепили все атомы, из которых составлено семя, они все же не сумели бы приподнять черной завесы и не узнали бы, какое растение (какой формы листья, какого цвета, какого вкуса плоды) заключено в семечке, так просто лежащем на листе бумаги, перед вопрошающим, но бессильным взглядом человека.

Короче говоря, все ученые мира, вооруженные современными знаниями и современной техникой, не смогли бы все равно помочь тому арестанту и прочитать ту программу, которая вложена в семечко и у которой только две судьбы в этом мире. Либо погибнуть вместе с семечком при неблагоприятных условиях, либо включиться, прийти в действие, в осуществление и тогда показать, проявиться и сделаться видимой для простого человеческого глаза. И тогда чудо превратилось бы в повседневность и будни: одуванчик, подорожник, ромашка с белыми лепестками, ядреная морковка или душистый укроп (порезать в суп).

Завеса остается непроницаемой.

Что из того, что мы вмешиваемся в жизнь растения, скрещиваем, создавая всякие черемухо-вишни, картофеле-томаты и много всего мичуринского. Все равно мы манипулируем при этом с видимыми результатами тайной программы, с цветами, почками, ветками, а не с самой программой, зашифрованной надежным шифром.

Так радиотехник может уметь починить приемник, хорошо разбираясь в проволочках и гаечках, но ничего не знать о теоретической сущности радиоволн. Так наши пращуры пользовались огнем, не сознавая, что тут происходит соединение веществ с кислородом, бурное окисление, сопровождаемое выделением тепла и света. Так мы пользуемся теплом и светом напропалую, все еще не зная их конечной, а вернее, начальной сути.

Но подобные рассуждения увели бы нас далеко, а

главное, совсем развеяли бы ту обстановку романтичности и таинственности, которая создавалась в одиночной камере Шлиссельбургской крепости, когда заключенный обнаружил в книге неизвестное, случайное семечко. У заключенного не было другого способа разгадать тайну, кроме как посадить семечко в землю и предоставить дальнейшее самой природе.

Тюремный ли режим тех времен допускал подобные сантименты, поговору ли со сторожем, но у арестанта появилась банка с землей. Дрожащими руками человек опустил семечко в землю, и оно тотчас потерялось в ней. Теперь, если бы человек снова захотел отыскать семечко и отдельно положить его на бумагу, то вряд ли ему это удалось. Семечко измазалось в земле, само стало как земля, слиплось, слилось с остальной массой, относительно огромной, если даже и всего-то земли было там треснутый негодный горшок.

В красивой классической легенде узник поливает цветок в темнице своими слезами. В нашем, не столь уж романтичном случае обошлось без слез, но можно было из своей кружки отдавать немного цветку. Впрочем, пока еще не цветку, а черной земле, хранящей тайну поглощенного ею семечка.

Если бы я обладал точными ботаническими знаниями, я написал бы, на который день произошло произрастание семени и как именно выглядел первый, высунувшийся из земли росточек. Из книжки, прочитанной мною давным-давно и наполовину забытой, явствовало лишь, что семечко, найденное прилипшим к странице, в конце концов проросло и что это очень обрадовало человека. Да и как могло не обрадовать. Дело было не только в том, что затея удалась, но и в том, что та завеса, которая, как мы предполагали, абсолютно непроницаемая для человека, вдруг прираздвинулась сама собой, показав сокровенное и чудесное.

Чудо, к которому мы там привыкли только потому, что оно происходит вокруг нас всегда в миллионно-миллиардном повторении, но тем не менее все-таки самое подлинное чудо начало происходить и разворачиваться на глазах у потрясенного узника, как награда за его внимание и терпение.

Первым делом из земли показалось нечто нежно-зеленое и при тщательном рассмотрении (без рук, без дотрагивания, конечно, — замерла душа) нечто собранное в комо-

чек, в щепотку и покрытое прилизанными серебристыми ворсинками, отчего и выглядело вовсе не столько зеленым, сколько серебристым.

Счастливым сеятель (если можно назвать счастливым человека, сидящего в тюрьме, но все равно счастливый относительно того маленького дела, о котором идет речь), наверное, наблюдал за развитием растения, как теперь наблюдает иногда замедленная кинокамера, в объективе которой наглядно разворачиваются листья и раскрываются бутоны цветов. Нам приходится следить за растениями рывками, и вот, во-первых, обнаруживается, что серебристый росток помер еще и развернулся вдруг в два самостоятельных отдельных листа. Листья при этом получились не простые, а строенные, разрезанные. Три овальных, зубчатых по краям плоскости сходятся в одной точке, образуя розетку. Можно и так сказать, тонкий стебелек, поднявшись из земли и дорастая до определенной высоты, растроился, разбежался на три жилки. Каждая жилка сделалась осью зеленой овальной плоскости. Три жилки, три плоскости, а в целом — один тройной лист. Сверху он получился почти темного зеленого цвета и если не глянецовый, то, во всяком случае, гладкий, снизу же матовый, серебристый. Стебелек, вознесший лист над черной материнской землей, — тонкий, круглый в сечении и весь покрыт мелким нежным пушком. Зачем ему этот пушок, мы не знаем (растут же другие без пушка!), но, значит, зачем-нибудь нужен.

Два стебелька подняли два листа, подставив тем самым свету две огромные, грандиозные, в масштабах посеянного зернышка, зеленые плоскости. Эти светоуловители сразу же начали действовать. Сверхсложная и сверхточная химическая лаборатория заработала на всю мощь. Вскоре двух светоулавливающих плоскостей оказалось мало, и были выставлены еще две дополнительные плоскости. Потом появился и быстро перерос все растение еще один тонкий стебель. Однако он не торопился увенчивать себя листом, но разделлся на два отдельных, еще более тонких стебелька. На конце каждого из них возникло по островерхой зеленой шишечке, очень похожих на миниатюрные церковные луковки.

Эти луковки-маковки росли не по дням, а по часам, набухали, что-то распирало их изнутри, словно некие гномы под землей день и ночь работали насосами, нагнетая подземную силу и в листья, и в стебель, и в островерхие

шишечки. И вот — стебелек держится прямо, не сгибается и не никнет. Огромные зеленые плоскости, сочные и потому, безусловно, тяжелые, держатся горизонтально, а не повисают, как тряпки. Островерхие шишечки раздуваются и того гляди лопнут.

Настал день, когда шишчатые бутончики действительно не выдержали внутреннего напора, лопнули, и два ослепительно-белых цветка озарили сырую тюремную камеру.

Напрасно было бы гадать и спрашивать, где взяло растение такой нежный и белый материал, как оно сумело соткать такие чистые тонкие лепестки, по пяти на каждом цветке. Где взяло оно и яркого желтого материала на круглую шишечку в середине цветка и на крохотные булавочки, натыканные в эту шишечку со всех сторон.

Сравнительно с самим собой семечко подняло эти цветы на головокружительную высоту, если учесть, что стебель у куста лесной земляники около двадцати сантиметров, а семечко земляничное в одном миллиметре уложится не четыре ли раза.

Значит, цветок цветком, кустик кустиком, но больше всего это похоже на мощный зеленый взрыв неведомой энергии, сконцентрированной и сжатой, до времени упакованной в весьма экономную портативную упаковку мельчайшего семени.

Кустик был красив, а вернее сказать — прекрасен. Два листа, протянувшихся горизонтально, держались почти около земли. Три стебля росли прямо вверх и поддерживали там каждый по листу... Еще один стебель держал два белых цветка. Все вместе радовало глаз законченностью, стройностью и той разумностью, которая не поддается анализу и объяснению, но которая воспринимается тем не менее человеком, может быть, потому, что и сам он содержит в себе частицу все той же разумности, а вернее, является ее частицей.

Откуда ни возмись, проклюнулся и быстро вытянулся новый гибкий стебель, значительно тоньше остальных, снабженный на конце утолщением. Этот стебель не стремился держаться прямо, в нем не было жесткости, которая позволила бы потом держать лист или цветок. Он вытягивался в длину, но все время тяготел к земле, словно искал соприкосновения с ней.

Сколько ни гадал терпеливый наблюдатель, что разовьется из утолщения на конце этого нового, странно ведущего себя стебелька — цветок или лист, ничего не вы-

ходило. Чем длиннее вытягивался стебель, чем дальше уносил он от куста свою утолщенную головку, тем настойчивее искала головка желанной влажной земли. Но витала она в бесплодной пустоте, потому что в поисках земли стебель унес ее за пределы той банки или того горшка, где расцвел коренной куст. И ежели новоявленный садовод догадался подставить под шарящую в пустоте округлую головку новую банку с землей, то она дотронулась бы до нее, раздвинула бы наружные комочки, вонзилась в глубь земли, пустила бы корни. Так растение, преодолев свою корневую прикрепленность к одному месту, сделало шаг в пространстве. Шаг небольшой, но зато надежный.

Конечно, шагнуло растение и тогда, когда сумело прилепить свое семечко к книжной странице, и когда книгу увели, может быть, за тысячу верст от того места, где семечко вызрело, и передали в тюрьму, а оно все ждало своего часа и, как нетрудно это понять, могло бы ничего не дожидаться. Но это даже не шаг, а целый космический перелет.

Правильно ли написать о растении, что оно «сумело прилепить свое семечко»? Не сознательно же оно его прилепило? Да. Но зачем оно вырабатывало сложную сочную, ароматную ягоду? Только затем, чтобы этой ягодой кто-нибудь напился. Проще всего, если склюет птица. Тогда — путешествие на крыльях. Птица уронила бы семечко, пролетая над лесом, и это был бы для растения тоже шаг в пространстве. Собственно, на птицу и был основной расчет, а вовсе не на книжную страницу. Но так же, как у людей, бывают, оказывается, и у семян необыкновенные, приключенческие, прямо-таки фантастические судьбы. Например, пролежать сорок веков в гробнице египетского фараона, а потом прорасти в парижской лаборатории. Согласимся, что и наше семечко постигла именно такая приключенческая судьба.

Но растение полно реализма. Оно не доверяет случаю. Романтика ему ни к чему. Оно выбрасывает гибкий стебель с шишечкой на конце и в десяти—двадцати сантиметрах от себя укореняет новый куст. На птицу надеясь, а сам не плошай. Маленький шажок, но зато надежный.

Арестант, в своих изданных впоследствии воспоминаниях, утверждал, что у него в жизни ни до тюрьмы, ни в тюрьме (естественно), ни после тюрьмы не было радости

более полиой и острой, нежели та, которую подарила ему земляинка, выросшая в разбитой плошке.

Глоток воздуха, когда человек задыхается. Зеленая живая травинка, когда человек совсем отрезан от природы. А вообще-то — трава. Скобли ее ножами бульдозеров, заваливай мусором, заливай горячим асфальтом, глуши бетоном, обливай нефтью, топчи, губи, презирай...

А между тем ласкать глаз человека, вливать тихую радость в его душу, смягчать его нрав, приносить успокоение и отдых — вот одно из побочных назначений всякого растения и в особенности цветка.

Какой-то восточный мудрец учил: если хочешь быть здоровым, как можно больше смотри на зеленую траву, на текучую воду и на красных женщин. Некый практик захотел уточнить: нельзя ли ограничиться только третьим, а травой и водой пренебречь? «Если не будешь смотреть на зеленую траву и текучую воду, на женщин не захочется смотреть само по себе». Так ответил мудрец.

Но любясь и даже наслаждаясь растением, не каждый может быть, вспоминает, что перед ним, кроме того, сверхсложный работающий химический кабинет.

В книге о грибах под названием «Третья охота» я истратил порох, отпущенный мне для прославления земляники. Переписывать, пусть свое же, из одной книги в другую излишне. Лучше я перепису частично то, что говорит о землянике Михаил Андреевич Носаль, которого я назвал бы знахарем с высшим образованием.

«При чтении перечня болезней, которые лечат ягодами и листьями, а также стеблями земляники, собранными в цвету, у читателя невольно возникает вопрос: почему же так полезна земляинка? Ответом на этот вопрос в известной степени может служить ознакомление с богатым химическим составом, которым обладает невинная дикая ароматная ягода. Как свидетельствует ряд источников, в составе земляинки прежде всего известны:

1. Многие иатроины и кислоты (яблочная, лимонная, хиинная). 2. Дубильные вещества. 3. Салицил. 4. Пигменты или красящие вещества. 5. Летучие масла. 6. Сахары. И наконец: 7. Витамины, особенно витамин С. Из всех известных мне дикорастущих лекарственных растений я не знаю более богатого, пожалуй, по химическому составу растения, чем наша земляинка. В земляинке, я уверен, имеются и другие, еще не изученные лечебные вещества. Вот почему она так полезна.

Земляничный сезон обыкновенно продолжается у нас от 3 до 4 недель. Если бы мы правильно использовали этот сезон несколько лет кряду (года 2—3), мы бы реже нуждались в курортах... На курорты раньше имели возможность ездить не все больные. Однако приходилось наблюдать, что и без курортов больные вылечивались земляникой. Лечение земляникой в народе популярно.

Многие в народе знают, что такое земляника, пользуются ею, и от нее получают исцеление.

При лечении земляникой просто едят ее сырую, но не вареной или сушеной. Едят одну или с молоком, сливками, молодой сметаной, с сахаром (иногда с вином). Из личной практики и наблюдений над самим собой прихожу к заключению, что ее можно и нужно есть так много, чтобы на третьей неделе она настолько надоела, что нужно заставлять себя есть ее. Давайте ее детям, давайте много. Не жалейте средств на приобретение земляники. Не считайте ее баловством или роскошью, а считайте ее необходимой, как хлеб, крупу, картофель...

...Не умаляя достоинства чая, как общезвестного напитка, скажу одно, что если бы прижился такой же напиток из листьев земляники, как чай, здоровье людей при этом только выиграло бы...

...По действию на организм похожа на землянику еще одна ягода — черника. Кнейп по поводу этих ягод оставил нам такой афоризм: «В том доме, где едят землянику и чернику, врачу нечего делать».

\* \* \*

### БОРАХВОСТОВ

«Володя, может, пригодится и это...

О траве лук — личные наблюдения. Народу исстари известно, что «лук — от семи недуг», «кто сеет лук, тот избавится от мук», «лук да баня — все правят». Это его целебное действие я наблюдал лично. В 1935 году меня

черти носили (по командировке Главзолото) около двух лет по золотым приискам Якутии и Дальнего Востока.



Так летом мы (старатели и я) спасались от цинги диким луком.

Во время войны, когда наша дивизия дралась на Ленинградском направлении, то во время блокады кое-кто из дистрофиков находил в себе силы перейти через линию фронта. Кормить их солдатской пищей было бесполезно. Они умирали от нее. Их кишки уже присохли к спине. Но в одной деревне нашлась старуха, которая спасала дистрофиков от смерти. Она перетирала зеленый лук в зеленую кашицу, сдабривала его сметаной и кормила их этой жевкой. Только одним луком. И больше ничем. Порция — не меньше миски. Я думал, что они «дадут дуба», а получилось наоборот. После лечения этим заслуженным деятелем знахарства они на другой день уже могли принимать нормальную шамовку.

Еще о луке.

В средние века, в эпоху крестовых походов лук был очень дорог. Он считался панацеей от всех болезней. О его стоимости можно судить по тому, что в 1250 году французы выменивали своих пленных у сарацинов по цене 8 (восемь) луковиц за одного человека.

В древности лук служил наглядным пособием по астрономии. Учитель разрезал луковицу и по ее слоистому строению объяснял строение вселенной, якобы состоящей из нескольких сфер — оболочек, окружающих землю.

Теперь трава — перец. О ее целебных свойствах Ф. Ф. Талызин (врач-биолог, советник по вопросам медицины в Представительстве СССР при ООН) в своей книге «Под солнцем Мексики» пишет (с. 61): «Заметив действие на меня перца, дон Плетч (мексиканский врач) поясняет обычай пользования им в каждом блюде.

— Видите ли, — говорит он энергично, направляя картошку с перцем в рот, — в Мексике довольно часты желудочно-кишечные заболевания, дизентерия и летние диареи (понос. — В. Б.). Чтобы избежать их, тут принято широко добавлять в пищу перец. Он наилучший защитник от болезней. Советую и вам побольше перчить содержимое тарелки».

Жозуэ де Кастро в своей книге «География голода» пишет: «Хронически недоедающие люди почти не замечают отсутствия пищи. Чувство голода у них ослаблено, а иногда и вовсе исчезает. Чтобы возбудить притупленный аппетит, хронически голодающие народы часто вынуждены стимулировать его различными возбуждающими средства-



ми, такими, как перец и прочие острые специи, что, например, имеет место в Мексике».

Записки, сделанные мной, когда я был еще студентом рабфака. Интересуясь народной медициной, я побеседовал со старой — 93 года — казачкой, известной в то время знахаркой, которая была неграмотна и ни хрена не знала в анатомии, но великолепно вправляла вывихи.

Вот ее рецептура:

Донские степи, как известно, покрыты полынью. Поэтому она была ингредиентом любой микстуры.

Так, например, расстройство желудка народ лечил полынью с небольшой примесью «травы-дивины» (что это за трава, я не знаю).

От простуды лечили той же полынью, но только настоящей на водке с примесью белоголовника или золототысячника.

Полынь же входила в настойку, которой лечили больных коклюшем, рожей, дизентерией и лихорадкой. Подорожником пользовали гнойные раны, нарывы и зубную боль.

От кашля хорошо помогал настой на репьях, выдраных из собачьих хвостов. Когда я поинтересовался у колдуньи — почему именно из собачьих хвостов? Она объяснила, что собаки уносят на своих хвостах только самые спелые репы.

Камни в печени и мочевом пузыре лечили соком редьки.

Жар сбивали малиной, липовым цветом и бузиной.

Людей, покусанных бешеными собаками, лечили соком молочая. Технология лечения укушенных бешеными собаками была такова:

Знахарка ставила на стол икону и перед ней разжигала в миске древесные угли. Помешивая их серпом (а не чем-нибудь еще), она шептала:

— Царь-огонь разгорается. Царь-железо накаляется. Царь-железо царь-огню покоряется. Репей-трава прилипчива. Больное сердце сбивчиво. Сердце на место стань! Хворь бесова перестань! Уйди болезнь лихого зуба, дурного духа бешеной собаки! Будь мое слово крепким, твердо-крепким, тверже самого твердого белгорюч-камня. Шел на Голгофу Иисус Христос, крест тяжелый на себе нес. Ты помахай Иисус крестом — мясоедом и постом! Отгони хворости-напасти от бешеной пасти! Аминь, аминь, аминь!

А потом на рану прикладывались листья подорожника...

Теперь — забавное о траве.

Я не знаю, как это делается у вас во Владимирщине, а у нас на Волге и на Дону, если хозяйка не желает, чтобы курица стала наседкой, то как только она «распалается» и начинает квохтать, то ее ловят и, обнажив задницу, бьют крапивой. Это помогает. Будущая насадка теряет всякий интерес к воспроизведению потомства и продолжает нести яйца...

...Кузьмичевскую траву поставлял главным образом Бузулук, в окрестностях которого ее очень много. Она якобы помогала от 40 (сорока) болезней...

...Душевные болезни и ипохондрию древние лечили чемерницей. Об этом есть как у древних греков, так и у римлян. Видимо, нет дыма без огня...

...В Японии выведены съедобные сорта хризантем. Из их лепестков делают салат. Высушенные лепестки идут на врачевание. Им лечат простуду и употребляют как аппетитные капли...

«Луговая и степная трава настолько отличаются друг от дружки, что это понимают не только люди, но и скотина. Траву она предпочитает степную, а сено — луговое. Это я знаю по своему личному опыту, когда пас коров и овец. Мой хозяин, как опытный крестьянин, выбрал место для своего хутора на грани луга и степи, и скотина, выгоняемая мной на рассвете, обычно тянулась в степь, а не на луг, а хозяин предпочитал луг, а не степь: больше нагула, больше молока, и оно лучше по вкусу, ибо все женщины Волгограда и до сих пор, покупая молоко, спрашивают:

— Степное или луговое?

Или, не доверяя торговцам, пробуют.

А мясо — наоборот, лучше степное.

Научного объяснения этому, то есть разницы между лугом и степью, я не знаю, но думаю, что степи моей области слегка солоноваты, и та трава, что там растет, имеет соленый привкус, то есть является чем-то вроде салата, приготовленного природой. Луговая же почва каждый год промывается полой водой в течение двух месяцев, но зато «ассортимент трав» там лучше и они «жирнее».

Мясо в сыром виде, конечно, нельзя отличить степное от лугового. Поэтому женщины задают продавцам коварный вопрос:

— Из какого района ваше мясо?

Но продавцы тоже не дураки. Они говорят то, что нужно...

...Собаки и кошки лечатся травами.

Снова Куприн:

«— Помнишь, как мы с тобой — тебе было одиннадцать лет, а мне десять — как мы ели с тобой просвирки и какие-то маленькие пупырышки на огороде детской больницы?»

— Конечно, помню! Такой сочный стебель с белым молоком.

— А свербигус? Или свербига, как мы ее называли?

— Дикая редька?

— Да, дикая редька!.. Но как она была вкусна с солью и хлебом!» (А. Куприн, «Травка»).

...Пифагор был вегетарианцем. Он поучал жить на подножном корму. Питаться травкой. Овидий отобразил это в своих «Превращениях»: «Не оскверняйте, люди, своих уст нечистой пищей! Есть у нас деревья, есть яблони, склонившие ветви свои под тяжестью плодов, есть на лозах зрелый виноград, есть сладкие овощи, которые можно употреблять в пищу, если сварить их в воде».

...Толстой (Лев, конечно, ибо в литературе было много Толстых, но только один из них Лев, даже с маленькой буквы) любил, чтобы в его кабинете всегда лежала охапка сухой травы (сена).

Пока все. Но где-то есть еще кое-что записанное. Привет. Бо-рахвостов В.».

\* \* \*

Лежать на траве. Опуститься, опрокинуться навзничь, раскинуть руки. Нет другого способа так же плотно утонуть и раствориться в синем небе, чем когда лежишь на траве. Улетаешь и тонешь сразу, в тот самый миг, как только опрокинешься и от-

кроешь глаза. Так тонет свинцовая гирилка, если ее положить на поверхность моря. Так тонет напряженный воздушный шарик (ну, скажем, метеорологический зонд),



когда его выпустишь из рук. Но разве есть у них та же стремительность, та же легкость, та же скорость, что у человеческого взгляда, когда он тонет в беспредельной синеве летнего неба. Для этого надо лечь на траву и открыть глаза.

Еще минуту тому назад я шел по косогору и был причастен разным земным предметам. Я, конечно, в том числе видел и небо, как можно видеть его из домашнего окна, из окна электрички, сквозь ветровое стекло автомобиля, над крышами московских домов, в лесу, в просветах между деревьями и когда просто идешь по луговой тропе, по краю оврага, по косогору. Но это еще не значит — видеть небо. Тут вместе с небом видишь и еще что-нибудь земное, ближайшее, какую-нибудь подробность. Каждая земная подробность оставляет на себе частицу твоего внимания, твоего сознания, твоей души. Вон тропа огибает большой валун. Вон птица вспорхнула из можжевелевого куста. Вон цветок сгибается под тяжестью труженика-шмеля. «Вот мельница. Она уж развалилась».

Ты идешь, а окрестный мир снабжает тебя информацией. Эта информация, по правде говоря, не назойлива, не угнетающа. Она не похожа на радиоприемник, который ты не волен выключить. Или на газету, которую утром ты не можешь не пробежать глазами. Или на телевизор, от которого ты не отрываешься в силу охватившей тебя (под влиянием все той же информации) апатии. Или на вывески, рекламы и лозунги, которыми испещрены городские улицы.

Это иная, очень тактичная, я бы даже сказал — ласковая информация. От нее не учащается сердцебиение, не истощаются нервы, не грозит бессонница. Но все же внимание твое рассеивается лучами от одной точки ко многим точкам.

Один лучик — к ромашке (не погадать ли на старости лет — и тут далеко уводящая цепочка ассоциаций), второй лучик — к березе («чета белеющих берез»), третий лучик — к лесной опушке («когда в листве сырой и ржавой рябины заалеет гроздь»), четвертый — к летящей птице («Сердце — летящая птица, в сердце — щемящая лень»), и пошла лучиться, дробиться душа, не скудея, не истощаясь от такого дробления, но все же и не сосредоточиваясь от многих точек к одной, как это бывает в минуты творчества, в минуты — вероятно — молитвы да еще вот когда ос-

танешься один на один с бездонным небом. Но для этого надо опрокинуться в летнюю траву и раскинуть руки.

Между прочим, хватит у неба глубины для тебя и в том случае, если по небу будут неторопливо и стройно двигаться белые полчища облаков. Или если эти облака будут нежиться в спяне неподвижно. Но лучше, конечно, чистая синяя бездна.

Лежишь на траве? Купаешься в небе? Летишь или падаешь? Дело в том, что ты и сам потерял границы. Ты стал с небо, а небо стало с тебя. Оно и ты стали одно и то же. Не то летишь, возносясь — и это полет по стремительности равен падению, не то падаешь — и это падение равно полету. У неба не может быть ни верха, ни низа, и ты это, лежа в траве, прекрасно чувствуешь.

Цветочная поляна — мой космодром. Жалкими представляются отсюда, с цветочной поляны (где гудит только шмель), бетонированные взлетные дорожки, на которых режут неуклюжие металлические самолеты. Они режут от бессилия. А бессилье их в том, что они не могут и на одну миллионную долю процента утолить человеческую жажду полета, а тем более его жажду слиться с простором неба.

Вот, допустим, — прозой пересказываю к случаю свое давнее стихотворение, — ты не в силах больше терпеть. Ты жил на земле и с усладой смотрел на белые плывущие облака. Вся твоя сущность тянулась ввысь. Улететь в небо, раствориться в нем, что может быть желаннее, слаще? Судорожно отсчитываешь ты тридцать рублей, нетерпеливо топчешься у весов, где сдают чемоданы, потом около трапа, по которому поднимаются в самолет. Скорее садись в кресло. Уши твои забивает грохотом. Каждая твоя клетка неприятно и болезненно вибрирует вместе со стенками самолета.

Ну что же, вот она, твоя синь, вот они, твои облака. Скопление сырости и тумана. По стеклу иллюминатора бегут бесконечные капельки воды. Около желудка тошнотворно сжимает. Назовите мне человека, который, летя в самолете, вожаденно смотрел бы вверх, на небо, а не вниз, на землю.

Внизу между тем лес, похожий больше на мох. Речка, словно серебристая нитка. Около речки — зеленая поляна. Какая-то букашечка там, среди поляны. Человечек! Он лежит на траве, раскинув руки, и смотрит вверх, в небо. Господи! Скорее туда, на землю, где трава и цветы. Лечь и раскинуть руки...

Моряки, как бы они ни тосковали по морю, хорошо знают, что море прекрасно только тогда, когда у него есть берег.

Человек сам как трава, как растение, на которое извечно действуют две противоположные силы: тяжести, привязанности, прикрепленности к земле и стремления вверх, полета, роста.

У прорастающего семени появляются два ростка. Один неукоснительно стремится вниз, а другой кверху. Один превращается в корни, которые все глубже будут зарываться в землю, другой в стебель, а то и в ствол, который будет тянуться выше в небо. С одной стороны, растение тянет к себе центр земли, а с другой стороны — центр солнца. Поэтому растение не обвисает, подобно мертвому бесчувственному шнуру. Пока оно живо, то есть пока оно способно подвергаться воздействию внешних космических сил и воспринимать их, оно будет натянуто в пространстве. Оно растягивается в противоположные стороны двумя, казалось бы, враждебными, а на самом деле согласованно действующими силами.

Как хмель, украшающий дачную террасу, растет вдоль шпагатных струн, натянутых для него человеком, так всякая травинка, всякий стебель и ствол растут вдоль незримого силового луча, натянутого между двумя точками: центром земли и центром солнца.

Скажут: но бывают же кривые, изогнутые стебли? Где же их скольжение по прямому лучу? Где же их стремление к свету, где же их прямизна?

Отвечу: прямизна их — в стремлении. Все они рождены, чтобы быть и расти прямыми. Однако внешние случайные, привходящие, чаще всего механические силы заставляют их сворачивать с прямого пути. И все же, если взглянуть на искривленный, на уродливый стебель (ствол), нетрудно заметить, что, может быть, он и искривился только для того, чтобы обойти внешнее грубое препятствие, а потом снова подчиниться лучу.

Кроме того, в его стремлении вверх таится глубокое, с трагическим оттенком противоречие. Чем больше стебель растения подчиняется тяготению вверх, чем длиннее (выше) он становится, чем больше строительного материала приходится ему употреблять, строя самого себя, тем он становится тяжелее в самом земном и вульгарном смысле этого слова. Стебель начинает сгибаться в дугу. Жизнь принимает характер борьбы, она протекает отныне между

поползновением и порывом. Береза стремится кверху, а ветви ее свисают вниз. Налившийся ржаной колос сгибает в лебединую шею прямой, как стрела, целеустремленный стебель. Созревшие яблоки не только сгибают, но и ломают сучья.

Возьмем уже упомянутый хмель. Вся жизнь его является примером титанической непрерывной борьбы между пресмыканием и полетом.

В дедовом саду был уголок между двором и старой рябиной, где водился хмель. Строго говоря, ему был отведен даже не уголок сада, а участок тына, протяженностью в десять шагов, по которому он и завивался из года в год. Тын в этом месте был нарочно сделан в два раза выше, нежели по всему остальному саду. Кажется, дед устанавливал здесь еще и дополнительные высокие колья, чтобы было хмелю куда расти.

Хмель живописно украшал дедов сад. Рядом с ним стояли пчелиные улья, так что уже здесь невольно и случайно пока соседствовали хмель с медом, предназначенные впоследствии друг для друга.

Соединялись они в бочонке, в котором варилась «кумушка» — медовая, хмельная (от слова «хмель») брага. Хмель этой браги, по общему мнению всех многолетних гостей, бил в двух направлениях: и в ноги, и в голову. Голове он придавал легкость и веселость, а ногам тяжесть и неподвижность. Головой словно вскочил бы и — плясать, порхать с платком по просторным и чистым половицам, а ноги невозможно сдвинуть с места и оторвать от пола.

«Неужели? — думаю я теперь. — Неужели два своих состояния, две своих крайности; тяжелую, удручающую пресмыкаемость и легкость, граничащую с полетом (на восемнадцатиметровую высоту), хмель сообщает потом и нам; и мы говорим его именем: хмель, хмельной, захмелел, хмельная голова, во хмелю, похмелье...»

Дедов сад постепенно нарушался. От прежнего протяженного тына остался только тот его десятишаговый отрезок, где вился хмель. Когда я стал возобновлять дом и сад, то новый забор провел, отступя на три шага от старого, и вот внутри сада получилась у меня весьма живописная, декоративная, как сказали бы теперь, гнилушка, все еще напоминавшая своим видом старый тын. Вокруг этой реликвии густо разрослись хмелевые лианы.

Надо бы этот обломок старого сада оберегать и хранить. Но он, как и все остальное в саду, был пущен на

произвол судьбы и однажды зимой под тяжестью снега рассыпался, теперь уж на форменные гнилушки. Оставлялось их собрать и сжечь в печке.

Когда собирали остатки тына — ранней весной, — хмель сидел затаившись в земле. Ведь он каждый год вырастает заново. Мы как-то и забыли про него, пока он сам не напомнил нам о себе, превратив заросли малины в одну непролазную зеленую мочалку. С какого бы конца ни подошел, куда бы ни протянул руку за малиной, всюду натыкаешься на хмель. Он расползлся от того места, где раньше стоял тын, во все стороны, цепляясь за все на своем пути, и все ему было мало. Окончание каждой ползущей зеленой змеи было ищущим, шарящим и, что поразительнее всего, смотрящим вверх. Ползет по земле, а смотрит в небо!

Пришла идея украсить хмелем ту часть дома, которая выходит в сад. Сказано — сделано. Впрочем, чтобы сделать это, надо было ждать либо поздней осени, либо ранней будущей весны и, вернее всего, весны, когда хмель еще не вырос в длинные змеи, но уже проклюнулся из земли и обозначил себя: видно, где врезать в землю острый железный заступ. Вот еще одно обстоятельство в жизни хмеля: каких бы ни достиг похвальных результатов за лето, на какую бы ни вскарабкался высоту, на будущий год все приходится начинать сначала. Но неправда, не совсем напрасно прошел год. В земле выросли на какую-нибудь толику, пустили новые отростки, укрепились еще больше толстые, глубокие корневища. За этими корневищами мы и пришли теперь с острым заступом. Раздвинув стебли малины, мы увидели, как из черной перегнойной земли высовываются тут и там острые, сочные, яркие ростки хмеля. Мы стали обкапывать землю вокруг побегов, и лопата вскоре наткнулась на древовидные, толщиной не с руку ли, еще при дедушке росшие корни. Хмель угнал их в землю на трехметровую глубину, и мы не пытались, конечно, выкорчевывать хмель со всеми его корнями. Мы брали обрубки корневищ, горизонтальные, с тремя-четырьмя вертикальными ростками на них и укладывали эти обрубки в землю вдоль бревенчатой стены нашего дома. Ложке для этих обрубков мы сначала выстилали перегнойной землей из того же малинника, из того же места, откуда взяты были обрубки.

Первый год пересаженный хмель болел. Побеги он выпустил тонкие, хилые, листья мелкие, а вскоре на него



набросилась тля. Эта травяная вошь, как и человеческая, набрасывается на больных, хилых, съедаемых тоской или другим душевным недугом.

На второй год, переболев и освоившись на новом месте, хмель показал свою силу.

Я наблюдал за ним. Уже с первых шагов ему пришлось решать дополнительную задачу по сравнению, скажем, с близрастущими одуваичиками и крапивой. У одуваичика есть, наверно, свои, не менее сложные, задачи, но все же на первых порах ему нужно просто вырасти, то есть создать розетку листьев и выгнать трубчатый стебель. Влага ему дана, солнце ему дано, а также дано и место под солнцем. Стой на этом месте и расти себе, наслаждайся жизнью.

Другое дело у хмеля. Едва-едва высунувшись из земли, он должен постоянно озиаться и шарить вокруг себя, ища за что бы ему ухватиться, на какую бы опереться надежную земную опору. На молодом побеге хмеля больше всего заметно действие тех сил, о которых говорилось немного раньше. Естественное стремление всякого ростка расти вверх преобладает и здесь. Но уже после пятидесяти сантиметров жирный, тяжелый побег льнет к земле. Получается, что он растет не вертикально и не горизонтально, а по кривой, по дуге. Эта упругая дуга может сохраняться некоторое время, но если побег перевалит за метр длины и все еще не найдет, за что ухватиться, то ему волей-неволей придется лечь на землю и ползти по земле. Только растущая, ищущая часть его будет по-прежнему и всегда нацелена вверх. Хмель, ползя по земле, хватается за встречные травы, но они оказываются слабоватыми для него, и он ползет, пресмыкаясь, все дальше, шаря впереди себя чутким кончиком. Что делали бы вы, очутившись в темноте, если вам нужно было бы идти вперед и нащарить дверную ручку. Очевидно, вы стали бы совершать вытянутой рукой вращательное, шарящее движение. То же самое делает растущий хмель. Его шершавый, как бы сразу прилипающий кончик все время совершает, продвигаясь вперед или вверх, однообразное вращательное движение по часовой стрелке. И если попадется по пути дерево, телеграфный столб, водосточная труба, нарочито поставленный шест, любая вертикаль, нацеленная в небо, хмель быстро, в течение одного дня взлетает до самого верха, а растущий конец его снова шарит вокруг себя, в пустом пространстве. Не выяснен вопрос: чув-

ствует ли хмель возможную опору на некотором расстоянии и ползет ли в ее сторону? Есть предположение, подтверждаемое практикой, что побеги хмеля ползут по земле предпочтительнее в сторону близко расположенных опор. Во всяком случае, когда мы натянули на наш дом параллельными струнами шпагат и когда хмель, несмеленно воспользовавшись нашей помощью, полез по нему с проворностью матросов, карабкающихся по вантам, все же некоторые побеги, успевшие отклониться от стены, мне пришлось пригибать к шпагату и как бы показывать этот шпагат побегам, подобно тому, как слепых котят тыкают мордочками в соски матери.

Дорастая до крыши, ветви хмеля начали шарить вокруг, но натыкались лишь друг на дружку. Они сплетались, перепутывались, свисали беспорядочными, праздными кудрями. Силы еще были, а высоты больше не было. Хмель залезал во все щели, в неплотно прикрывающиеся окна, под застреху, под тесовую обшивку.

Один побег я с самого начала не захлестнул на шпагат, и можно было наблюдать, как он, бедняга, день за днем пластается, ковыляет, ползет по земле, обремененный собственной силой, собственной тяжестью, как он вынужден переползать и тропинку, и лужайку, и помойку; и пора бы уж изнемочь и отказаться от цели, но самая нежная, самая чувствительная часть зеленой шершавой змеи все время продолжала быть начеку, все смотрела вверх, в синее теплое небо, в высоту, по которой так тосковало все растение в целом.

Этот хмель напоминал человека, переползающего гибкую трясину и почти уж засосанного ею. Тело его увязает в воде и грязи, но голову он из последних сил старается держать над водой. И взгляд его, полный тоски, устремлен кверху.

Я бы сказал тут, кого еще мне напомнил этот хмель, если бы не было опасности переключиться от невинных замечаний о траве в область психологического романа.

Достаточно сказать, что вот я лежу на траве и каждая моя клетка льнет к земле и, между прочим, блаженно, радостно льнет, а какая-то иная часть меня рвется в синюю бездну. Да, я ползаю, погрязая и пресмыкаюсь. Но самое лучшее во мне, самое ищущее и чуткое, всегда нацелено вверх, и, может быть, это лучшее и чуткое нашарит еще какую-нибудь опору, и тогда недорастраченные

силы устремятся в последнем рывке завоевывать зыбкую высоту, которой жажду...

...Вчера я пересказал вслух соображения насчет двух сил, действующих на растение и растягивающих его вверх и вниз. Слушательница — моя дочь, — получившая уже достаточное количество двоек по физике, чтобы задавать осмысленные вопросы, спросила:

— Следовательно, у растения есть точка, где эти силы уравниваются одна другую и на которую не действуют никакие силы? Наверно, эта точка испытывает состояние невесомости и блаженства? Неужели такая точка на растении никак и ничем не обозначена?

Может быть, именно в этой точке на растении возникает цветок...

\* \* \*



### БОРАХВОСТОВ

«Привет, Володя!

Кое-что раскопал для тебя в старых книжках.

«Флора.

Юная, маленькая, нежная богиня цветов, столько же привлекательная, как и сами цветы, и столь же упонительная, как аромат их. Она страстно любила Зефира, который, как ни был ветрен, по преданию платил ей взаимной неизменной любовью; они были неразлучны вместе: когда Борей сгоняет с полей Зе-

фира — нежная Флора лишает те поля даров своих. Царство ее — вечная весна!» «Волхв., или Полное собрание гаданий с краткой мифологией», Москва, 1838 (есть у нас в библиотеке).

### «Гаданье»

«В июле месяце можно набрать двенадцать различных цветов, сплести из них небольшой венок и положить на ночь в головы под подушку. Суженый непременно явится. Должно при этом заметить, что это делается

только раз в неделю: именно с понедельника на вторник» (Т а м же, стр. 265).

«Когда созреет хлеб, должно взять три различных колоса с той десятины, которую еще не начали жать, обернуть их во что-нибудь льняное или шелковое и, ложась спать, укрепить поясом этот сверток так, чтобы он был прямо против сердца, и сказать — суженый, ряженный, приходи ко мне рожь жать.

Суженый верно явится» (Т а м же, стр. 265).

«В Семик, когда завьют венки, оставить свой, как он есть; потом вплести в него еще несколько цветков, стараясь, чтобы в нем было семь разных сортов растений; ложась спать, надеть венок на голову и три раза проговорить:

— Суженый, ряженный, явился ко мне сам! Я тебе украшенный венок свой отдам!

Суженый приснится. Только должно заметить, что, проговорив эти слова, не должно после ни с кем разговаривать в этот вечер» (Т а м же, стр. 266).

Я еще наткнулся на кое-что...

Наговор. (Даю, так сказать, технологию присушки.)

Из-под правой ноги, из-под самой пятки нужно вырвать клочок травы (какой безразлично) и положить ее под матицу (потолочная балка), приговаривая следующее заклинание:

«И как трава сия будет сохнуть во веки веков, так чтоб и он, раб божий (имярек), по мне, рабе божьей (имярек), сохнул душой и телом и тридесатью суставами. Чтобы мне, красной девице, быть для него милее светлого месяца, красного солнышка, роднее отца-матери, дороже живота (жизни). Спать бы ему не заспать, есть ему не заесть, пить бы ему не запить, гулять бы не загулять без меня, красной девицы. И как рыба-белуга без воды бьется-мечется, так чтобы и он, раб божий (имярек), без меня бился-метался».

Примечание: Говорят, что действовало. Не знаю. Я не пробовал. Но меня присушивали. Так я полагал, когда был волжским грузчиком, ибо деваха та была неказиста. Но потом, с годами, я понял, в чем дело.

Это тоже о траве...

Царское правительство ежегодно весной, когда особен-

но часто умирали чахоточные, устраивало «День белого цветка» (ромашки). По улицам ходили парочки — гимназисты и гимназисточки, студенты и студентки — с жестяными кружками, опечатанными сургучными печатями, и побирались в пользу больных туберкулезом...

...О значении цветов.

Желтые — разлука и измена, красные — любовь, белые — уважение, невинность. А у древних греков роза служила символом тайны. Если над столом висела роза, следовательно, все, что будет здесь говориться, должно остаться в тайне.

...Еще нашел в записных книжках, что существует книга Скальера Метьюза «Полевые и лесные цветы». Привет!»

\* \* \*



...Итак — лежать на траве. Но почему именно на траве? Что же, если не нравится, ложитесь на пыльную дорогу, на кирпичи, на обрезки железа, на кучу минерального удобрения, на сучковые доски. Можно, конечно, расстелить на земле плащ. Но я бы советовал — на траве. Эти минуты сделаются, может быть, лучшими, памятными минутами вашей жизни.

Недавно я ездил в Белоруссию. Янка Брыль и Пимен Панченко приветили меня в Минске и решили показать мне, хоть немного, родную землю. Они раз-

добыли на три дня казенный автомобиль, и мы помчались на запад.

Поездка захватила три области: Минскую, Брестскую и Гродненскую. Мы обошли кругом озеро Свитязь и любовались сквозь прозрачную воду его белым песчаным дном. У лесничего в погребе мы пили квас из березового сока. Мы сидели на берегу Немана в предвечерней тишине и видели, как бултыхнулся жерех в десяти метрах от нас. Мы осмотрели несколько закрытых полуразрушенных церквей. Мы обедали в Новогрудке ядреной редиской и

щами из свежего щавеля. Мы ночевали в Любиче, в тихой деревенской гостинице. Мы осмотрели замок Радзивиллов в Несвиже, а также прекрасный радзивилловский парк, где меня поразила необыкновенная высота самых обыкновенных деревьев: берез, лип, дубов, вязов и даже рябин. В костеле, в подвалах костела мы осмотрели фамильный склеп Радзивиллов. Около города Мир (старое название) мы любовались восстанавливаемыми руинами замка и зарослями шиповника, омывающими руины, подобно розовому прибою. Мы побывали на родине Адама Мицкевича и взбирались на так называемый Курган Бессмертия, который насыпали поляки, принеся сюда землю в горстях со всех уголков своей страны. Наконец, мы просто ехали три дня по красивой земле Белоруссии.

Янка Брыль, как инициатор поездки и как уроженец тех мест, все время говорил нам с Пименом Панченко:

— Ну что? Какова земля? С вас за такие виды надо брать по гривеннику с каждого километра.

Таким образом определилась шутливая цена окрестным пейзажам. Иногда Янка Брыль уточнял, когда попадался очень яркий луг (дело было в июне) или очень красивый изгиб реки:

— За этот километр я с вас возьму по сорок копеек.

Иногда мы сами, восклицая, опережали хозяина:

— За этот километр даем рубль!

Между тем разговаривали, вспоминали, делились мыслями, признавались в желаниях и мечтах. Так, например, Янка Брыль вдруг сказал:

— Хотите верьте, хотите нет, лет двадцать уже мечтаю полежать во ржи!

— И за чем дело?

— Да вы сами-то когда лежали в последний раз?

— Давно. Не вспомнишь когда.

— Так же и я. То — одно, то — другое.

Большая часть жизни проходит в городе, в поездках, в самолетах, в гостиницах. Считаю, что важнее просидеть три часа на собрании или в ресторане, нежели пролежать эти часы во ржи. Проходят годы, а мечта остается мечтой. Она все отодвигается. Думаешь: ничего, успею. А потом — инфаркт, инсульт, не дай бог — прихватит рачок, и прощай рожь навсегда...

Мы ехали в это время по узкой полевой дороге, а справа и слева от нас колыхалась высокая, почти уж

цветущая рожь. Должно быть, потому и зашла о ней речь.

— Может быть, не надо больше откладывать? — робко посоветовал я. — Отойди на двадцать шагов от дороги и ложись.

— Разве я об этом говорю? — удивился и даже обиделся Янка Брыль. — Разве так нужно лежать во ржи?! Чтобы я лежал, а вы сидели в машине и ждали? И поторапливали меня: ну скоро ли, наверно, уж належался?

— Я знаю, что во ржи так не лежат. Но все-таки, если двадцать лет не удавалось, то, может быть, лечь хоть на три минуты?

— А вы?

— Что мы? Ляжем тоже.

Машина остановилась. Трое взрослых, более того, пожилых людей пошли в тихую зеленую рожь, расходясь веером, чтобы отдалиться на несколько шагов друг от друга. Потом я опрокинулся на спину, и в мире не осталось ничего: ни друзей, ни машины, ни Белоруссии, ни Москвы. Высоко в небе, почти не склоняясь надо мной, стояли колосья.

Внизу, где я лежал, был микроклимат и микромир. Он состоял из зеленого полусвета, прохладной тишины, свежести, пахнувшей молодой сочной рожью. Гораздо выше меня в тех сферах, где находились колосья, струился легчайший ветерок. Его не хватало на то, чтобы шевелить сами колосья, но трепетали на ветерке пылинки — продолговатые серые мешочки, как бы приклеенные к колосьям. На каждом колосе их было по десять, а то и больше, и все они трепетали, вытягивались в одном направлении, и можно было предугадать, как через день-другой из них полетит пыльца и ветерок будет развевать ее, оплодотворяя все это поле.

Конечно, не о таком, минутном лежании во ржи мечтал поэт Янка Брыль (то, что он пишет прозу, не имеет значения), конечно, это было эрзацлежание во ржи, суррогат. Однако суррогатными были лишь наши обстоятельства, а рожь была настоящая, и утро было настоящее, и жаворонок над нами (один на всех нас тронх) был самый подлинный, неподдельный жаворонок.

Рожь доказала нам свою власть и силу. Вечером, подъезжая к Минску, стали вспоминать весь проделанный

путь — замки, озера, реки, города, деревни, костелы, склепы, рестораны...

— Объявляется конкурс. Давайте оценим по нашей шкале не километры, а отдельные эпизоды путешествия. Что поставим на первое место?

— Рожь! — воскликнули мои друзья. — Рожь, лежание во ржи и песню жаворонка над нами.

— Цена?

— Сто рублей!

На втором месте оказалось озеро Свитязь.

\* \* \*

### БОРАХВОСТОВ

«Копаясь в старых записных книжках эпохи своего студенчества, случайно наткнулся на высказывания Лукреция о травах. Посылаю, может, сгодится.

Кроме того, почему распускается роза весной.  
Летом же зреют хлеба, виноградные осенью гроздья?  
Не иначе как потому (перевод, конечно, хреновый,  
хотя издание «Академии»), что  
Когда в свое время сольются  
Определенных вещей семена.

*(Лукреций. О природе вещей)*

Без дождей ежегодных в известную пору  
Радостных почва плодов приносить никогда не смогла бы,  
Да и природа, живых созданий корму лишивши,  
Род умножать свой и жизнь обеспечить была бы не в силах.

*(Там же)*

В самом начале травой всевозможной  
и зеленью свежей  
Всюду покрылась земля изобильно,  
холмы и равнины,  
Зазвенели луга, сверкая цветущим покровом.  
*(Там же, с. 327. Изд. Ак. наук СССР, 1946)*

«Володя!

Я сейчас занимаюсь «повторением пройденного». Перечитываю свои записные книжки. В них я наткнулся еще на античную траву. Правда, не такую древнюю, как у Лукреция. Но все же! Это — Овидий. Вот что он писал в своих буколиках и георгиках:



Мальчик прекрасный, сюда! О, приди!

Тебе лилии в полиных

Нимфы корзинах несут, для тебя

белоснежной наядой

Бледных фиалок цветы («Фиалок цветы» — перевод не ахти,  
но это не я, а Шервинский)

и высокие сорваны маки,

Соединен и нарцисс с (три «с» подряд)

анисовым цветом душистым.

(Овидий. *Сельские поэмы*.

Изд-во «Академия», 1933, с. 28)

Травы, что мягче, чем сон,

и источники, скрытые мхом,

И осенявший редкою тенью зеленый кустарник,

Вы защитите от зноя стада.

(Там же, с. 49)

Высохло поле. Трава, умирая

от порчи воздушной,

Жаждет...

(Там же)

Прежде всего, выбирай для пчел

жилище и место,

Что недоступно ветрам (затем, что препятствуют ветры

Пищу к дому нести), где ни овцы,

ни козы-бодалки

Скоком цветов не сомнут, где корова,

бредущая полем,

Утром росы не стряхнет и поднявшихся

трав не притопчет.

(Там же, с. 119)

Этот мой интерес к травам объясняется тем, что в 1918—1919 годах я был пастухом у нас под Царицыном — Сталинградом — Волгоградом. Получив высшее образование, я решил узнать, как интеллигенция называет травы, которые я видел и которые щипала моя скотина.

Еще немного античности.

Спорить давай, кто скорей: сорняки

из души я исторгну,

Иль же ты — из полей, и кто чище:

Гораций иль поле?

(Квинт Гораций Флакк. *Полное собрание сочинений*. Изд-во «Академия», 1936, с. 307)

Вот пасут пастухи жирных овец стада,

Лежа в мягкой траве, тешат свирелью слух.

(Там же, с. 163)

Вот в чем желания были мои, необширное поле,

Садик, от дома вблизи непрерывно текущий источник.

К этому лес небольшой.

(Он же. *Сотулы*, 1958, с. 167)

...Сивилла сказала, что может  
Пеньем и травами мне горечь любви облегчить.  
(Авл. Левий Тибул. Любовные  
элегии. 1961)

Идет молва, что она (Венера.— В. Б.) одна обладает  
зловредными травами... Она сказала мне, что ее чары и  
травы властны потушить огонь моей любви (Тибул. Эле-  
гии. 1912, с. 5 и 6. Переведено прозой)».

\* \* \*



У растения во время любви под-  
нимается температура. В осо-  
бенности это происходит у тех  
растений, которые цветут пыш-  
ными крупными цветами. У Вик-  
тории-регии, у магнолии, напри-  
мер. В белых, бело-розовых брач-  
ных одеждах, величественные,  
роскошно раскрывшиеся навстре-  
чу неизбежному и самому глав-  
ному, одурманивающие воздух  
вокруг себя крепкими аромата-  
ми, эти царицы, эти клеопатры,  
эти жрицы любви распалются  
настолько, что температура  
внутри цветка получается на це-  
лых девять градусов выше тем-

пературы окружающего воздуха или температуры того же  
цветка, но только в спокойном состоянии.

Но и у самого скромного цветочка, у любого из наших  
луговых, лесных, полевых цветов все равно наступает  
возбуждение, сопровождающееся повышенной температу-  
рой, пусть и не такое бурное, как у тропических красавиц.

Выражение насчет любви у растений звучит на непривычный слух вульгарно, как метафора либо поэтическая  
вольность. Существует даже термин — антропоморфизм. То  
есть приписывание животным и растениям человеческих  
свойств и человеческих чувств.

Однако дело не в антропоморфизме, но в истинной  
суть происходящего.

Возьмем несколько разных пар, то есть несколько жен-

ских и мужских особей, соединяющихся велением закона жизни. Их соединение принято называть любовью<sup>1</sup>.

Испанец поет серенады своей возлюбленной, дерется из-за нее на шпагах, пробирается по шелковой лестнице в заветное окно. Навстречу ему тянутся нежные руки возлюбленной. Страстный шепот, объятия. Любовь.

Жених и невеста приезжают из загса. Свадебный пир, провозглашение здоровья, песни и пляски. Потом молодые остаются одни. Страстный шепот, объятия. Любовь.

Воображение и память подскажут нам десятки и сотни известных (хотя бы из литературы и других видов искусства) любовных пар. Влюбленные разлучающиеся, гибнущие, упивающиеся счастьем, путешествующие, ревнующие, изменяющие, раскаивающиеся...

Влюбленные на балу, в церкви, в театральной ложе, в корчме, на берегу моря, в уединенной хижине, на войне, на службе, на трудовой вахте... Какое нагромождение событий, переживаний, восторгов, слез, надежд, ожиданий, разочарований, взаимных упреков, встреч, прежде чем влюбленные останутся одни и обнимут друг друга. Любовь.

Два огромных тяжелых лося сходятся в поединке. Самка ждет в стороне, независимо пощипывая траву. Два лебедя, два волка, два зубра (он и она)... Двое сходятся, чтобы из двух разрозненных единиц образовать пару.

В книге о дельфинах написано, что любовное желание у дельфина-самца возникает после того, как самка несколько раз дотронется до него своими лапами. Все это, очевидно, тоже — любовь.

Может быть, внешняя надстроечная сторона тут проще, чем в случае с испанцем, поющим серенады, звякающим шпагой и карабкающимся по шелковой лестнице. Или чем в случае с Карениной и Вронским. Или чем в случае с Дубровским и Машенькой Троекуровой.

Но, с другой стороны, был я однажды в доме отдыха. Десятки пар разбредаются после кино по обширному темному парку, и не слышно ни серенад, ни звяканья шпаг.

Внешняя сторона события может быть очень разной. Назвать остров или пролив именем любимой женщины и взять женщину, не поинтересовавшись, как ее зовут. Посвятить женщине поэму и дать ей рубль. Преодолевать

---

<sup>1</sup> Здесь и далее имеется в виду половая любовь, а не любовь как философская, нравственная, религиозная и т. п. категория.

ради нее тысячеверстные расстояния и не проводить до троллейбусной остановки. Застрелиться из-за женщины и обложить ее матом.

Совершают государственные карьеры, становятся великими художниками, производят грандиозные ограбления, поют песни, спиваются, изменяют отечеству (Андрей из «Тараса Бульбы»), попадают в руки врагов (какого-нибудь атамана в кинофильме ловят непременно, когда он идет к женщине)... Тысячи романов уже написаны, тысячи еще будут написаны, и все это называется любовью, вернее, внешней, событийной, декоративной, надстроечной частью любви. Потому что ученые говорят, и в частности наш великий ученый К. А. Тимирязев, что «брак на всех ступенях органической лестницы, начиная водорослью и кончая человеком, представляет одно и то же явление: это слияние... двух клеточек в одну».

Я уж думаю, иногда вырисовывается странное, фантастическое предположение: а может быть, реально в основе, и существуют-то на земле эти самые половые клетки, может быть, они-то (а ведь они живые организмы) и есть основное, реальное население мира? Эти существа умеют создавать для себя очень сложные обиталища, которые, кроме удобств, еще и обеспечивают им практическое бессмертие. Ибо обиталища время от времени отмирают и истлевают, а половые клетки (вместе с генами и хромосомами) продолжают существовать во времени и пространстве, воссоздавая себе все новые и новые обиталища.

Но оставим шутки и вернемся к неоспоримой истине: любовь у человека, любовь у дельфина и любовь у цветка по своей сокровенной сути ничем не отличаются друг от друга — она есть соединение двух половых клеток.

Вокруг этих клеток, вокруг факта их соединения существует разный антураж. Чем дальше от них, тем антураж различнее, непохожее, но чем ближе к самому непосредственному соединению их, тем различие все больше утрачивается.

Скакание на тройках, тайное венчание в ночной сельской церкви; игры двух подвижных существ в теплой морской воде; утонченное ароматное цветение ночной фиалки. Это все еще как будто далеко одно от другого. Но все равно дело сквозь любовную шелуху должно идти к двум клеткам, и чем ближе оно к ним будет подвигаться, тем общее, однороднее, похожее будет становиться любовь. А

все эти тройки, игры, благоухания останутся позади, осыпятся сами собой. У цветка это произойдет весьма наглядно, когда осыпятся лепестки, в других случаях не так уж буквально и зримо. Дело закончится прикосновением, соединением и слиянием.

Причем, как утверждает К. А. Тимирязев, «сущность этого явления, химизм этого процесса для нас почти неизвестен». «Почти» употреблено ученым из осторожности. Зато все ученые сходятся на том, что каков бы ни был этот процесс, в нем нет никакой принципиальной разницы.

Но если это так — а это так, — то нет и никакого иносказания, никакого антропоморфизма в том, что мы употребляем слово «любовь» применительно к растению, к цветку. Напротив, может быть, нужно идти в приписывании качеств и свойств от цветка к человеку. Да мы так и делаем на каждом шагу, отнюдь не называя это фитоморфизмом. Такого и слова-то не существует в человеческом языке. Сейчас оно впервые появилось написанным на бумаге.

Но разве мы не говорим о какой-нибудь женщине, что, полюбив, она расцвела? Или разве мы не говорим о женщине, что она преждевременно увяла? Или разве мы не говорим о подрастающем поколении: молодо-зелено? Не называем его порослью? Не называем кого-нибудь пустоцветом? И разве то, что мы называем человеческой любовью (вся событийная сторона любви), не есть цветенье нашей души? И как вернее сказать — цветок ли расцветает подобно душе влюбленного человека или душа влюбленного раскрывается и расцветает подобно цветку?

Цветенье души проявляется в поступках. Мужчина становится ласковым, нежным, предупредительным. Он приглашает ее в кино, на футбол, на хоккей. Он начинает лучше учиться или работать. Он следит за своей внешностью. Он томится, грустит, улыбается, ликует. Все это (если брать не отдельного влюбленного «антропоса», а человека как такового) должно найти себе обобщенное выражение, должно проявиться в каком-нибудь локальном образе. И оно действительно перерастает и воплощается в слово и в музыку. Слово и музыка — вот обобщение цветения человеческой души. «Лунная соната», «Я помню чудное мгновенье», сонеты Петрарки...

Но разве цветок менее удачное, менее яркое и выразительное обобщение того же самого?

Ни поэт, ни живописец, ни музыкант не нашли бы столь

образного, столь лаконичного и — главное — столь наглядного выражения своей любви, как если бы они воплотили ее в живой благоухающий цветок и, показав людям, заявили: вот какова моя цветущая душа, вот какова моя любовь!

И люди изумились бы и были бы потрясены, потому что ничего прекраснее и чище цветка нет и быть не может.

Подсознательно мы так и делаем, даря своим любимым цветы. Разве мы не передаем вместо намека на то, что и я, мол... и у меня, мол, в душе... и моя, мол, любовь похожа на этот цветок, приближается к нему.

Украсить землю цветами — это значит украсить ее любовью.

Когда бы созвали самых великих художников и сказали им, что существует во всей Вселенной голый серый камень и что нужно украсить его разнообразно и одухотворенно, с тем чтобы красота облагораживала, поднимала, делала лучше и чище, разве могли бы они, эти художники, придумать что-нибудь прекраснее обыкновенного земного цветка?

Но дальше встает вопрос: сумели бы эти художники или нет додуматься до цветка, если бы они никогда его до сих пор не видели, не знали бы, что это такое, то есть если бы не было в их распоряжении образца?

Важнейшим принципом и образцом. Потом-то, оттолкнувшись от образца, они насочиняли бы, сконструировали бы и василек, и ромашку, и незабудку, и ландыш, и одуванчик, и подсолнух, и клевер, и кошачью лапку, и шиповник, и сирень, и жасмин.

Постепенно они дошли бы до каких-нибудь экстравагантных заумных форм, до расщепления формы, до цветка абстрактного, то есть, по-русски говоря, беспредметного, до какого-нибудь там кубизма в цветах. В этом нет никакого сомнения.

Сомневаюсь я в другом: что они смогли бы с самого начала додуматься до цветка, так сказать, изобрести цветок, если бы в их руках не было образца.

Смотрю на цветок жасмина. Его чистота, нежность и тонкость неправдоподобны. Глаз не устает любоваться им. Кроме того, он источает неповторимый, во всей многообразной природе только ему, жасмину, присущий аромат. Его конструкция проста и строга, он построен по законам геометрии. Его четыре лепестка, расположенные крестообразно, вписываются в условный круг.

Все это — и белые лепестки, и желтая серединка цветка, и даже сам аромат,—все это создано при использовании девятиста двух (или сколько их там теперь открыли?) элементов менделеевской таблицы, путем геннальных комбинаций.

Ни один элемент в чистом виде жасмином не пахнет. Ни один элемент не может произвести такого же эстетического воздействия, то есть такого же очарования, какое производит живой цветок.

Ну конечно. Ведь и буквы, будучи рассыпанными, тоже не значат ничего. Возьмем хотя бы такой бездушный и бесчувственный, бесцветный набор букв: в, з, ы, э, ш, х, о, м, у, д, и, и, о, ы, р, а, д, с, в, к, о, у, ь, и, о, м, р, о, к, и, ж, ы, и, й, ж, у, ь, и, е, я, ж, у, ь, и, е, я, ж, с, ч, б, ш, ь, о, ч, и, х, а, т, и, у, с, п, ы, ж, я, и, е, м, ж, л, е, и, в, о, у, г, б, и, в, з, д, я, з, с, а, д, з, е, в, з, ю, о, е, о, г, и, п, р, ш, о.

Увидим ли мы, читая эти буквы, какую-нибудь картину, тем более прекрасную? Услышим ли аромат темной горной ночью, ее тишину? Возникает ли перед нами мерцание звезд, почувствуем ли мы в гортани прохладу ночного свежего воздуха, а в сердце — неизъяснимую тревогу и сладость?

Но вот буквы меняются местами, группируются, соответствующим образом комбинируются, и мы читаем, шепчем про себя, повторяем вслух:

Выхожу один я на дорогу,  
Сквозь туман кремнистый путь блестит,  
Ночь тиха, пустыня внемлет богу,  
И звезда с звездою говорит.

Не аналогичным ли образом должны группироваться и перегруппировываться элементы менделеевской таблицы, чтобы из их безобразной и бесчувственной россыпи получилось живой и душистый цветок жасмина?

Теперь задаем себе вопрос: сколько миллионов лет нужно встряхивать на подносе рассыпанные буквы, чтобы они сами собой сложились, в конце концов, в гениальное лермонтовское четверостишие? Или в поэму «Демон»? Или в сонет Петрарки? Или в целого Гёте? И не придем ли мы к выводу, что для того, чтобы из рассыпанных букв получилось гениальное стихотворение, нужно, как и печально в этом признаться, поэт.

Итак, оправдав кое-как понятие «любовь» применительно к цветку, возвращаемся к первой фразе этой главы:

«У растения во время любви поднимается температура». Наука, конечно, объясняет это как может. Она говорит, что в цветах появляется усиленная химическая деятельность. Они жадно поглощают кислород, выдыхая углекислоту, и это-то усиленное дыхание и сопровождается заметным повышением температуры всего цветка, в особенности тычинок.

Во-первых, говоря об учащенном и усиленном дыхании, не проще было бы сказать, что цветок возбужден. Во-вторых, объяснение правильное, но разве полное?

Оно очень характерно для нас, людей. Именно в такой степени мы объясняем большинство явлений, в суть которых проникнуть пока не удастся. Естественно, что при учащенном дыхании, при возбуждении организм разогревается. Но дыхание-то почему становится чаще и глубже — вот вопрос?

Можно вспомнить и еще подобные же объяснения подобных не совсем изученных явлений природы. Общеизвестно, что листья мимозы, если до них дотронуться, мгновенно складываются. Почему? Так это же очень просто! Там, где листья примыкают к черенкам, а черенки к стеблю, находятся особые утолщения, подушечки. Клетки этих подушечек переполнены соком и находятся в напряженном состоянии. В момент дотрагивания до листа, то есть в момент раздражения, они вдруг теряют напряженность, делаются вялыми, неупругими, они уже не в состоянии поддерживать черенок, и он падает, пригибается. Можно найти и прочесть подробное описание этого механизма, очень сложного и очень точного. Но все же после тщательного исследования наука устами добросовестного Тимирязева заключает: «Итак, в конечном анализе причина занимающего нас явления сводится к быстрому выталкиванию воды из переполненных ею тонкостенных клеточек раздражительной ткани, вследствие чего эта ткань так же быстро утрачивает свое напряжение. Но почему же раздражением имеет следствие выталкивания воды и какие силы заставляют клеточку переполняться водой? На этот вопрос мы пока еще не в состоянии дать ответа...»

Общеизвестно, что одуванчик закрывает свой цветок в пасмурную погоду и перед вечером. Почему? Очень просто.

«Не трудно убедиться, что это зависит от действия света и темноты.

Объяснить все подобного рода явления мы можем неравномерным ростом и напряжением тканей верхней и



нижней или наружной и внутренней части движущегося органа. Мы видели, например, что свет задерживает рост, следовательно, под его влиянием наружные части будут задержаны в росте, внутренние их обгонят и будут стремиться выгнуться наружу, цветок раскроется; но теперь большему освещению будут подвергаться эти внутренние или верхние части; наружные (или нижние), затененные в свою очередь, опередят их в росте, цветок закроется».

Получается все очень складно, за исключением мелочи. Если дело только в росте тканей и в воздействии на них света и тени, то почему же одуванчик то закрывается, то открывается, а рядом цветущие цветы: василек, ромашка, земляника, не поддаются разъясненной нам механике и держатся открытыми в самые темные ночи и холодные росы?

Будем ли мы чистосердечно признаваться, что «мы пока еще не в состоянии дать ответа», или будем изощряться, но не можем допустить одного, а именно, что растение способно чувствовать и на самом деле чувствует, коль скоро оно отвечает на внешние раздражители. И уж конечно, язык наш не повернется произнести, что растение может быть разумно. Не один экземпляр растения, а целый биологический вид.

Способные на дерзкие эксперименты и обобщения, мы не осмеливаемся, однако, произнести те два слова, которые поэт и мыслитель осмелился сделать заглавием своей замечательной книги — «Разум цветов».

Но разум предполагает мозг, а не чувствительность, наличие нервов или хотя бы нервных клеток. Ни того, ни другого у растений как будто нет.

Действительно, как бы ни были таинственны и удивительны процессы, происходящие в человеке (мы говорим сейчас лишь о биологических процессах, а не о психической, не о духовной жизни человека и не об абстрактном мышлении), как бы ни было удивительным поведение любого четвероногого или пернатого, а невежество всегда может найти себе лазейку в объяснении этого поведения и сослаться на мозг.

Да, есть пульт управления, есть верховная инстанция, которая всем руководит. По бесчисленным проводам бегут в этот центр разные сигналы и донесения, а обратно бегут распоряжения, приказы, сигналы, предписания к действию. Сложно, очень сложно, подчас непостижимо, но все же очевидна и понятна хотя бы схема. А тут? Никакого мозга

даже в зародышевом состоянии, ничего, напоминающего мозговой центр у растения нет, а между тем им что-то руководит, определяя пропорции веществ, сроки, характер поведения.

Ну что же, представим себе человека (пресловутого марсианина, что ли?), у которого понятие о музыке обязательно связано со струной. Вне струны он не может представить себе музыкального звука. И вот ему в руки дают предмет. Он вертит этот предмет в руках так и сяк и наконец возвращает его нам, говоря, что никакой музыки тут быть не может, потому что нет струны.

А между тем в руки ему давалась флейта — прекрасный музыкальный инструмент.

Не в таком ли положении находимся мы по отношению к растениям. Если нет мозга, если нет нервных путей, значит, не может быть ни чувствительности, ни разума. А между тем растение живет, осуществляет сложные химические процессы, строит само себя, заботится о продлении вида, о потомстве, путешествует, завоевывает пространство, осуществляет грандиозную, основополагающую для всей жизни на земле задачу фотосинтеза, то есть превращение солнечного света в органическое вещество, и, наконец, оно чувствительно в самом вульгарном смысле этого слова, если реагирует на свет, на температуру, на влажность и даже — иногда — на прикосновение, не говоря уж о том, что в момент любовного акта начинает дышать чаще и глубже... Струны нет, а флейта поет.

Пишу с тревогой на сердце. Щемит сердце так, как если бы увлекся во время морского купания, оглянулся, а берега нет. И может быть, не хватит сил вернуться обратно, к твердой почве.

Мало ли что — красивое сравнение с флейтой, мало ли что — Тимирязев. Это было давно. Наука идет вперед. В растерянности обозревая зыбкие волны, шарить глазами: на что бы опереться, за что бы ухватиться рукой? Теперь бы доску, обрубок бревна, не говоря уж о спасительном круге. И вот попадаете под руки отрадная, твердая опора.

В статье доктора географических наук, профессора Московского университета И. Забелина вижу строки, которые ничем не выделены в газетном столбе («Литературная газета», статья «Опасные заблуждения»), но мне эти строки показались напечатанными жирным шрифтом.

«Мы еще только начинаем познавать язык природы, ее душу, ее разум. За семидесятью семью печатями для нас

«внутренний мир» растений: сегодня само это понятие звучит сказочно, но в той или иной форме он, видимо, существует».

Ладно. Оперся, передохнул. Но опора, в общем-то, зыбкая, эмоциональная, вроде моей струны. Натянуть бы эту струну на железные колки эксперимента и доказательств. Снова вокруг бездонная хлябь, но не я же один плаваю в открытом море. И вот уж не просто плавучий предмет под рукой, но иная картина: твердая палуба под ногами, сухая удобная одежда, глубокие кресла в капитанской каюте, в широких, сужающихся кверху бокалах темное золото согревающего напитка.

— Не угодно ли сигару, сударь?

— Благодарю.

— Это из моей гаванской коллекции...

Итак, газета «Правда», 1970 год. Репортаж В. Черткова «О чем говорят листья».

«А знаете, растения разговаривают. Я сам был свидетелем этого. Да ладно бы разговаривают, а то ведь и кричат. И это только кажется, что они безропотно встречают свои невзгоды и молча переносят обиды. При мне ячменный побег буквально вопил, когда его корень окунули в горячую воду. Правда, «голос» растения уловил лишь специальный и очень чуткий электронный прибор, который рассказал о «неведомых миру слезах» на широкой бумажной ленте.

Перо прибора, словно обезумев, виляет по белой дорожке. Ячменный побег в предсмертной агонии, хотя, если посмотреть, ничего не говорит о его плохом состоянии: листочек не сник и по-прежнему зелен. Но «организм» растения уже непоправимо болен — какая-то его, будто даже «мозговая» клетка уведомляет нас об этом своими сигналами, что фиксируются на ленте...

...Лауреат Государственной премии профессор И. И. Гунар, заведующий кафедрой физиологии растений Тимирязевской академии, проделал со своими сотрудниками сотни опытов, и все они подтверждали наличие в растениях эмпирических импульсов, подобных нервным импульсам человека.

— Мы полагаем,— говорит профессор,— что координации внутренних процессов и уравнивание их с внешней средой осуществляется у растений при помощи сложной раздражительной системы, под контролем которой находятся все процессы их жизнедеятельности... Очевидно, ра-

стения принимают сигнал, передают его по особым каналам в какой-то центр, где информация принимается и обрабатывается, а потом уж дается команда исполнительным элементам, которые в свою очередь имеют обратную связь с «приемщиком сигнала» извне.

Пока ученые не нашли все звенья этой системы, но она, как говорит профессор, обязательно есть...

Приборы должны рассмотреть многие электрические явления в растениях, которые являются глашатаями процессов возбуждения и торможения — этой основы жизнедеятельности всего живого. Уже ясно, что эти явления не просто какие-то частные феномены или нечто побочное, сопровождающее какой-либо физиологический процесс, а что они закономерны. В растениях заложены элементы памяти. Об этом тоже свидетельствуют наши опыты... надо внимательно изучить клетки корневой шейки, именно здесь, как мне кажется, должен быть заложен центр сбора всей информации».

Об элементах памяти сказано вскользь. Но ведь написано же черным по белому в газете, расходящейся тиражом в несколько миллионов экземпляров, а никто не звонил друг другу в возбуждении, никто не кричал в телефонную трубку захлебывающимся голосом:

— Слышали? Растения чувствуют, растениям больно, растения кричат, растения все запоминают!

Другой профессор, академик из Новосибирского академгородка рассказывал моей знакомой москвичке Галине Ильиничне Балиной (указываю ее девичью фамилию во избежание досужих читательских писем, обращающихся обычно за разъяснением подробностей).

— Не удивляйтесь, — говорил академик, — мы проводим многочисленные опыты, и все они говорят об одном: у растений есть память. Они умеют накапливать и долгое время хранить впечатления. Одного человека мы заставили несколько дней подряд мучить и истязать куст герани. Он щипал ее, обрывал листья, колот иглой, делал надрезы, капал на живую ткань кислоту, подносил к листьям зажженную спичку, подрезал корешки.... Другой человек бережно ухаживал за тем же кустом герани: поливал, рыхлил землю, опрыскивал свежей водой, подвязывал отяжелевшие ветки, лечил ожоги и раны.

Потом мы подсоединили к растению электрические приборы, которые фиксировали бы и записывали бы на бумагу импульсы растения и смену этих импульсов. Что же

вы думаете? Как только «мучитель» приближался к растению, стрелка прибора начинала бесноваться. Растение не просто «нервничало», оно боялось, оно пребывало в ужасе, оно негодовало, и, если бы его воля, оно либо выбросилось бы в окно, либо бросилось на мучителя.

Но стоило ему уйти, а на его место прийти доброму человеку, как кустик герани умиротворялся, его импульсы затухали, стрелка прибора чертила плавные и, можно сказать, ласковые линии.

— Теперь я понимаю, почему зацвела моя герань! — воскликнула другая добрая женщина, услышав об этих опытах. — Дело в том, что я на все лето уезжала из Москвы. Ухаживать за своими цветами поручила соседке. Она и ухаживала, и поливала их время от времени, выставив за окно. То ли кустик герани далековато стоял — не дотянуться, то ли соседка махнула на него рукой по той причине, что он захирел в первый же летний месяц и было видно, что не жилец, но даже и тогда, когда неожиданно выпал ранний снег, соседка не убрала его в тепло.

Однако хозяйка, возвратясь домой после длительных летних странствий, пожалела герань. Тем более что у нее с этим цветком было связано что-то личное и лирическое. Она взяла его в комнату, оборвала сухие листочки, полила, обласкала. И вот полузасохшее, безнадежно больное растение на третий уже день выбросило алый цветок. А как, скажите, оно еще могло приветствовать свою добрую хозяйку и ее возвращение, как еще могло отблагодарить за любовь и за ласку, за спасение жизни?

Конечно, ничего не зная о столь чудесных опытах, о которых тут было вскользь рассказано, можно смело говорить, что цветение этой гераньки — совпадение и случайность. Но зная об этих опытах, зная о них, можно, пожалуй, рассказать и о том отправном случае, с которого начался разговор между Галиной Ильиничной Балиной и профессором из Новосибирского академгородка, то есть, вернее, с которого их разговор перешел на цветы.

Галина Ильинична была в гостях у своих дальних родственников и осталась там ночевать. Ее положили в небольшой уютной комнате. Она почитала немного перед сном, а потом погасила свет. Она уже засыпала. Уже сознание ее находилось на той зыбкой грани между явью и сном, когда, как видно, ворота его (сознания) наиболее беззащитны, незаперты, распахнуты. Вдруг безотчетный ужас охватил Галину Ильиничну. С криком выбежала она

из комнаты к людям. Она не могла ничего объяснить, но зубы все еще стучали о край стакана, а сама она вздрагивала и всхлипывала.

Ночевала она вместе с хозяйкой, а утром ей признались, что в той маленькой уютной комнате, где ее положили сначала, две недели тому назад удавилась сестра хозяйки, пятидесятилетняя женщина...

— Ну вот и дошли до мистики, до загробной жизни, до привидений и духов.— Так сказал бы, пожалуй, всякий рядовой, считающий про себя, что все он знает, то есть невежественный человек. Однако профессор из Академгородка, выслушав Галину Ильиничну, вдруг серьезно спросил:

— Скажите, а не было ли в той комнате цветов?

— Там, где я легла спать?

— Да. Где на вас напала смертельная тоска и смертельный ужас.

— Там... там было много цветов.

— Тогда не надо удивляться. Дело в том, что цветы концентрируют в себе настроение людей, живущих с ними вместе, их психическое состояние. Мало того, что концентрируют, сохраняют очень долгое время. Мало того, что сохраняют, способны, как вы сами убедились, передавать это настроение другим людям.

— Но это... так непривычно. Это же сверхъестественно.

— Напротив, очень даже естественно. Если плохое или хорошее настроение может передаваться от одного человека к другому, почему же оно не может передаваться цветку. Ведь он живой, не менее чем мы с вами.

После этого-то профессор и рассказал о тех опытах с «мучителем» и «доброжелателем», которые, какими бы ни показались фантастичными, есть уже достойные науки.

Придя из этих гостей домой, я сказал жене и дочерям:

— Знаете что? Или ухаживайте за цветами как следует, или лучше в доме их не держать.

— Мы и так за ними ухаживаем. Поливаем, пересаживаем, все как следует,— ответила мне жена.

— Надо ухаживать за ними еще лучше. Надо подходить к ним не между делом и в спешке, а с любовью, надо их ласкать и жалеть, надо подходить к ним в хорошем настроении. Дело в том... короче говоря, дело в том, что они живые!

## БОРАХВОСТОВ



«Володя, я еще наткнулся кое на что... Даю выписку из недавней газеты. Ученые Канады ...высказали предположение, что на урожайность пшеницы (как ты знаешь, эту пшеницу в Канаде мы покупаем.— Б. В.), помимо чисто биологических факторов, влияет н... направление рядков посева. Посеянная вдоль географической широты — на запад или на восток — пшеница, по их утверждению, растет заметно быстрее и дает лучший урожай, чем посеянная по меридиану: с юга на север. Как полагают исследователи, это удивительное явление

объясняется чувствительностью растений к силовым линиям магнитного поля земли».

А вот это из моих записных книжек.

...Зверобой, железняк, тимьян, золототысячник, черно-больник, шалфей, просвирник, ромашка, наперстянка, стародубка и анютины глазки — по народному поверью — бывают целебными лишь в том случае, если они сорваны после очередной «воробьиной ночи».

Тогда я стал интересоваться — почему? Интеллигенты объясняют это тем, что атмосферическое электричество влияет на жизнь растений.

Методо-технология лечения, кроме приема внутрь, заключается в том, что такую траву или ее корни надо завернуть в чистую тряпочку и после соответствующей обработки знахаркой, произнесшей шепотом слова таинственного наговора, необходимо подвесить на гайтан нательного креста.

Говорят, помогает. Сам носил, но не понял. То ли помогла трава на шее, то ли крепкий ребячий организм, но излечился от лихорадки, которая трепала больше двух месяцев.

...Какне-то травы зашивались в пояса и носились на животе. Это от желудочных болей.

От головы хорошо помогали травы, которые клались на ночь под подушку.

...Будучи на Дальнем Востоке, я узнал, что для того, чтобы женьшень не потерял своих магических целебных свойств, искатель женьшеня не должен быть вооруженным. Выкапывать корень он обязательно должен только лопаточкой, сделанной из кости...

...Травы чувствительны к музыке. Сын мне пишет (он работает атташе в нашем посольстве в Индии), что индийские ботаники установили, что определенным подбором мелодий (два «что» подряд — не ахти, но это не я, а Борахвостов.— В. С.) можно ускорять и замедлять рост трав. После семилетних опытов они установили, что самыми «музыкальными» травами являются табак и рис.

Примечание: Ну, это, может, трава растет от индийских мелодий. От музыки вряд ли что произрастет. Скорее завянет<sup>1</sup>.

...Травы, растущие на скалах, разрушают их. Это происходит потому, что корни трав выделяют угольную кислоту, которая обладает способностью растворять некоторые породы камня.

...Травяные часы.

Цикорий открывает свои лепестки в 4—5 часов утра и закрывает в 14—15 часов. Шиповник открыт с 4 до 19; мак с 5 до 15; картофель с 6 до 17; белая кувшинка с 7 до 19; кислица с 9 до 17...

...Ежегодно растения земли связывают около 150 миллиардов углеводов с 25 миллиардами тонн водорода и выделяют примерно 400 миллиардов тонн кислорода.

Для сравнения тебе: один современный самолет «Бонинг», например, перелетая из Нового Света в Старый, сжигает 48 тонн чистого кислорода. Привет!»

---

<sup>1</sup> Спешу поправить Борахвостова. Я читал об этих опытах индийских ботаников в наших газетах. Индийские мелодии не имеют никаких преимуществ перед европейскими. Наиболее воспринимаемой и благотворной для трав оказалась музыка Мендельсона, Штрауса и Чайковского. Джазовая музыка производит на травы угнетающее действие.





ночные фиалки

Нашли и вскрыли гробницу Тутанхамона. То попадались все разоренные, разграбленные захоронения египетских фараонов, и вдруг нашлась нетронутая гробница: все цело, все как сейчас положено.

Археолог Картер пишет, передавая свои первые впечатления от соприкосновения с древностью:

«Что, однако, среди этого ослепительного богатства произвело наибольшее впечатление, это хватающий за душу венок полевых цветов, положенных в гроб молодой вдовой. Вся царская пышность, все царское великоле-

пие побледнели перед поблекшим пучком цветов, которые еще сохранили следы своих давних свежих красок. С неотразимой силой они напомнили нам, каким мимолетным мгновением являются тысячелетия»<sup>1</sup>.

В книге «Жизнь и творчество Тютчева» К. Пигарев утверждает:

«То, что Тютчев, по собственному признанию, начал впервые чувствовать и мыслить среди русских полей и лесов, имело, несомненно, очень большое значение для его будущего развития как поэта. В частности, когда над землей сгушались сумерки, он любил бродить по молодому лесу вблизи сельского кладбища и собирать душистые ночные фиалки. В тишине и мраке наступающей ночи их благоухание наполняло его душу «невыразимым чувством таинственности» и погружало в состояние «благоговейной сосредоточенности». В этих прогулках зарождалось то острое, проникнутое романтикой восприятие природы, которое станет со временем отличительной особенностью тютчевской лирики».

Итак, букетик полевых цветов потряс ученого-археолога больше, чем вся ослепительная, золотая, царская роскошь.

<sup>1</sup> Выписано из книги Зенона Косидовского «Когда солнце было богом».

Ночная фиалка наполнила душу поэта (вспомним также, что у Блока есть поэма «Ночная фиалка») невыразным чувством таинственности и погрузила ее в состояние благоговейной сосредоточенности. От нее зародилось обостренное, проникнутое романтикой восприятие природы, которое сделалось отличительной чертой лирики одного из великих русских поэтов. И все это наделал скромный лесной цветок, называемый в обиходе ночной фиалкой, а более научно — любкой двулистной. В народе же в разных местах ее еще называют любка, ночница, люби меня не покинь...

Она относится к орхидеям, очень интересным цветам. Говорят, если разглядывать каждый цветок в отдельности, можно увидеть много интересного. Метерлики посвящает орхидеям целую главу в своих несравненных записках «Разум цветов».

«У орхидей мы найдем самые совершенные и гармонические проявления разума цветов. В этих измученных и страстных цветах гений растения достигает своих высших точек и пробивает необычным пламенем стенку, разделяющую царства».

Конечно, чем пристальнее и кропотливее исследование, тем больше удивительного обнаружится. Хотя тот же Метерлик, вероятно, прав, говоря, что тут, как и во всех вещах, истинное великое чудо начинается там, где останавливается наш взгляд. Может быть, осозная это, Пришвин прямо и говорит:

«Разве я не понимаю незабудку: ведь я и весь мир чувствую иногда при встрече с незабудкой, а спроси — сколько в ней лепестков, не скажу. Неужели же вы меня пошлете изучать незабудку?»

В основе каждой гармонии лежит алгебра, но разве, любясь прекрасной женщиной, мы вспоминаем об аналитике и стремимся увидеть за ее чертами и линиями чертежно-конструкторскую графику скелета, а за синим туманом взгляда черное зияние пустых костяных глазниц?

В цветке, как ни в каком другом произведении природы, сосредоточен колоссальный обобщающий момент, поэтому он воздействует на нас непосредственно, прямо, минуя анализирующую инстанцию и обращаясь к тому самому, что является нашей подлинной сутью.

Цветок воспринимается нами, как и прекрасное стихотворение, когда мы постигаем одновременно и смысл, и

музыку, и второй смысл, и поэтический заряд и не считаем про себя чередование ударных и безударных слогов.

Археолог Картер даже не назвал нам, что за цветы были в гробнице Тутанхамона, тем более он не считал на них лепестки. Они пронзили его сразу наповал, для того чтобы затмить блеск и силу золота, притом не в слитках, а в древнеегипетских изделиях, отличающихся, как известно, изяществом и высокой художественностью, для этого нужно обладать — согласитесь — огромной силой воздействия на нашу психику, на нашу душу.

Цветок засохший, безуханный,  
Забутый в книге вижу я,  
И вот уже мечтою странной  
Душа наполнилась моя:  
Где цвел? Когда? Какой весной?  
И долго ль цвел? И сорван кем,  
Чужой, знакомой ли рукою?  
И положен сюда зачем?  
На память нежного ль свиданья,  
Или разлуки роковой,  
Иль одинокого гулянья  
В тиши полей, в тени лесной?  
И жив ли тот, и та жива ли?  
И ныне где их уголок?  
Или уже они увяли,  
Как сей неведомый цветок?

Зададимся вопросом: какой еще предмет можно было бы положить в книгу на память нежного свиданья или разлуки роковой? И какой предмет, найденный поэтом в книге, мог так же вдохновить и подвигнуть его на написание стихотворения, украшающего теперь нашу отечественную лирику? Красивая ленточка? Сторублевая бумажка? Прядь волос, наконец? Дешево, смешно и пошло. Сколько бы мы не искали, окажется, что в данном случае цветка нельзя заменить ничем!

Есть в русской поэзии также и «Ветка Палестины». И опять, ища и перебирая разные вещи, мы очень скоро убедимся, что никакой предмет, принесенный из святых мест, из Иерусалима, не остановил бы поэтический взор гениального юноши, не всколыхнул бы его души, не высек бы стихотворной искры, как это сделала простая древесная ветвь.

Неужели под беседой, под взаимным разговором, а тем более под взаимным влиянием можно понимать исключительно только разговорную речь. Как будто нет безмолвно-

го разговора глаз. Как будто животное (даже котенок) не умеет внушить нам, чтобы его обогрели и накормили? Что ж удивительного, что и цветок может передать нам нечто и даже наполнить нашу душу, по признанию Тютчева, «невыразимым чувством таинственности». Притом, надо заметить, что именно это чувство мог внушить именно этот, а не другой цветок. Придеремся к слову и возьмем это самое «невыразимое чувство таинственности».

Может ли такое чувство внушить ромашка? Василек? Колокольчик? Лютик? Полевая гвоздичка? Кошачья лапка? Одуванчик?

Каждый цветок внушит нам какое-нибудь свое, другое чувство: навеет задумчивость, разбудит мечту, создаст ощущение душевной легкости, светлости, чистоты... «Невыразимым же чувством таинственности» могла наполнить душу только ночная фиалка, любка, ночница, цветок, на котором как будто действительно лежит печать волшебства.

Дело не в тютчевском антураже: близко сельское кладбище, собирал и упивался ароматом в лунные ночи. Дело в самом цветке. И не пришло ведь в голову ходить в лунные ночи за иван-чаем, за зверобоем, за тмином...

В любом травнике можно найти подробное описание ночной фиалки. Например, так: «Семейство орхидные. Многолетнее травянистое растение с двумя продолговатыми овальными кориеклубнями: старым — крупным и дряблым и молодым — меньшего размера, сочным. Стебли прямостоячие, ребристые, при основании с буроватыми влагалищами, с двумя продолговатыми эллиптическими, суженными к основаниям, листьями. Цветы мелкие, белые, неправильные, сильно душистые, с длинными изогнутыми шпорцами. Цветки усиливают аромат к вечеру и в ночное время. Высота 20—60 сантиметров. Время цветения июнь — июль. Местообитание: растет в смешанных и широколиственных лесах на лесных полянах и опушках, а также среди зарослей кустарников и на сыроватых лесных лугах. Химический состав: кориеклубни содержат слизь (до 50 процентов), крахмал (до 27 процентов), сахар (1 процент), белки (до 5 процентов) и минеральные соли».

Не правда ли, исчерпывающая характеристика. Скажем так: Аниа Петровна Кери. Рост — 170 (все цифры условны), объем груди — 90, объем талии — 60, объем бедер — 100, зубов — 32. Нос прямой, глаза серые...

Но было же что-то и такое, что заставляло волноваться

мужчин от одного только ее присутствия, хотя бы рядом сидели другие, не менее красивые женщины и у каждой из них было по тридцать два зуба.

Одновременно пишется светлое и целомудренное «Я помню чудное мгновенье», и одновременно говорится про нее в частном письме — «вавилонская блудница».

Сказано это, по-моему, в сердцах и прежде всего на самого себя за невозможность противиться той таинственной и сладкой силе, которую излучала эта женщина, вероятно, помимо своей воли. Такова уж она была.

Пришвин пишет: «На мое чутье, у нашей ночной красавицы порочный запах, особенно под конец, когда исчезнут все признаки весны и начинается лето. Она как будто и сама знает за собой грех и стыдится пахнуть собой при солнечном свете. Но я не раз замечал: когда ночная красавица теряет первую свежесть, белый цвет ее потускнеет, становится желтоватым, то на этих последних днях своей красоты она теряет свой стыд и пахнет даже на солнце. Тогда можно сказать, что весна этого года совсем прошла и такой, как была, никогда не вернется».

В другом, то ли более раннем, то ли просто предварительном варианте сказано у Пришвина еще резче: «...на мое чутье, обыкновенная наша лесная ночная красавица скрывает в себе животную сущность...» (!) (Сравните с Метерлинком: «В этих измученных и странных цветах (орхидеях, к которым и относится любка.— В. С.) гений растения достигает своих высших точек и пробивает необычным пламенем стенку, разделяющую царства».)

Добавьте к этому, что в старинные времена, во времена суеверий и знахарства, наивных представлений и детской непосредственности восприятия природы, именно эти цветы считались приворотным зельем и «...молодежь пользовалась ими для любовных чар» (М. А. и М. Носаль «Лекарственные растения и способы их применения в народе»).

Но лучше всего идите в начале лета на лесную поляну. В обрамлении светлых берез и темных елей вы увидите траву и цветы. Теперь самое место и время было бы сказать, как и говорилось не один раз во многих книгах, что вы увидите «ковер из цветов», «озеро цветов», «цветочный прибор», «кипение цветов», «пир цветов», «роскошное убранство», «буйное июньское разноцветье», «огромный букет», «царство красок и ароматов»... Но все равно, что бы мы теперь ни сказали, все будет приблизительно и бледно,

поэтому лучше сказать, как и есть на самом деле: вы увидите траву и цветы, а еще точнее — цветущие травы.

Некрасивых цветов на свете нет. И если, слившись в целую лесную поляну, они ласкают наш взгляд пестротой и свежестью сочных и ярких красок, то при разглядывании каждого цветка вы будете поражены сверхточной, идеальной формой каждого венчика, каждого лепестка и каждой жилки на лепестке.

Вы пойдете по цветам, потому что по ним, оказывается, можно так запросто идти, можно мять и даже срывать, и будете уходить все дальше по золотому, розовому, лиловому, синему, голубому, белому, затененному, залитому солнцем, жужжащему пчелами и шмелями.

Невозможно идти и отделять цветок от цветка. Они сольются для вас в общую картину, в поляну, в опушку, во многие плывущие перед вашими глазами лесные поляны. И вдруг вы остановитесь, потому что вас остановит перед собой этот лесной цветок. Я не знаю, зачем ему это надо, но он действительно остановит вас.

Сейчас, конечно, стираются грани, но этот цветок выделяется, как если бы на прежнем деревенском гулянье, нарядном и разноцветном, появилась заезжая гостья в длинном белом платье и в белых перчатках почти до плеч.

Как если бы в табуне крестьянских лошадей появилась белоснежная арабская кобылица, как если бы тонкая фарфоровая чашка среди фаянсовой и глиняной посуды... Так возникнет перед вами ночная фиалка среди остальных лесных цветов.

При всем том, вовсе нельзя сказать, например, про незабудку, что она простушка, про ромашку, что она деревенщина, про колокольчик, что он нанвен. Все другие цветы исполнены своего благородства. Недаром кто-то из немецких, кажется, ботаников воскликнул про тысячелистник, совсем не бросающийся в глаза: «Достаточно вам увидеть этот цветок, как вы поймете, что находитесь в хорошем обществе».

Но если в ночной фиалке какой-то оттенок, нечто такое, что сразу выделяет ее из остальных цветов. Не хотелось бы соглашаться с Мих. Мих. Пришвинным, что это «нечто» оттенок порочности. Правда, что оттенок порочности выделяет и притягивает. Но ведь может и оттолкнуть. Нет, просто этот цветок «из другого общества».

Не мудрено было бы выделиться таким образом из всей лесной поляны нарциссу, тюльпану, гиацинту, ирису,

другому садовому чуду, выведенному путем столетнего отбора и скрещивания. Условия равны. Речь идет о столь же дном, о столь же лесном цветке, как и все окружающие его соседи и соседки.

Вот повод посудачить соседкам, когда разольет любка в полночь свой аромат и когда начнут слетаться к ней ночные бабочки: «Потайная она, эта любка. При луне с ночными бабочками свадьбу свою справляет. То ли дело мы, остальные цветы. Мы любим, чтобы пчелы. Чтобы пчелы и солинышко».

Неправ и еще раз неправ даже такой тонкий наблюдатель, как Пришвин. Не отцветая пахнет любка сильнее всего, а в первые минуты цветения, когда в ночной темноте раскроет она каждый из своих фарфорово-белых цветочков (зеленоватых в лунном луче) и в неподвижном, облагороженном росой лесном воздухе возникает аромат особенный, какой-то нездешний, несвойственный нашим лесным полянам.

Ну, ландыш еще. Но ландыш пахнет, если его поднести к лицу, к носу и нарочито понюхать. Этот же непривычный аромат заструится из лунного света в лунную ночь, наполнит поляну, утечет за мохнатую ель, просочится через орешник, поднимется в воздух, где то вспыхивают, то погасают, перелетая из света в тень, беленькие, но теперь тоже зеленоватые ночные бабочки.

Дай вам бог, каждому, кто читает эти строки, увидеть хоть раз в жизни, как расцветает в безмолвном и неподвижном лунном свете ночная фиалка, ночная красавица, ночница, любка, любн меня не покинь...

Вы скажете, что видели эти цветы у торговки возле входа в метро, связанными в большие пучки, по цене двухгривенный за пучок. И ставили даже в воду. И они стояли у вас, пока не пожелтели (а стебли успевают к этому времени в воде осклизнуть).

Тогда и я вам скажу, что видел сказочных морских рыб, ярких, как цветы,—лежало полтонны в цинковом ящике на рыбзаводе.

Видел я и тропических бабочек приколотыми к картону, видел и тропических зверей в зоопарке в клетках. Но признаюсь, что не видел ярких морских рыб, плавающих среди кораллов и водорослей, не видел тропических бабочек, летающих над тропическими цветами, не видел леопарда, прытавшегося на древесном суку, а тем более в прыжке с этого дерева, не видел я и тигра, промелькнув-

шего в уссурийских папоротниках и рыкнувшего на меня, прежде чем исчезнуть в таежных зарослях.

Не говорите же и вы, выбрасывая раскисший в застывшей воде пучок травянистого вещества, что имели счастье видеть любку двулистную, ночную фиалку и что вдыхали ее аромат.

Между прочим, ее родственнички, в такой близкой степени родства, как если бы двоюродные братья и сестры,— все ятрышники: лиловый, шлемовидный, мужской, болотный, мясокрасный, дремник, кукушкины слезы и даже любка зеленоцветная, хотя и имеют точно так же спаренные клубеньки, то более овальные, то более круглые, хотя и обладают почти теми же разнообразными свойствами, все же почему-то не вышли в такие же люди, как иочная красавица. Чего-то не хватило им, не досталось какой-то толики. Здесь, как и во всяком искусстве, знаменитое «чуть-чуть» отделяет просто талантливое от гениального.

И получилось, словно в старой крестьянской семье: все дети остались при доме, при земле, а одна дочь учится в губернском городе в образцовой женской гимназии.

Или в старой мещанской семье: все дочери кто за чиновника, кто за купца, а одна — княгиня.

Все похоже у бедных родственников: и цветы, и клубеньки, и образ жизни, и места обитания — близкие родственнички, братья, сестры. Но аромат не тот, впечатление не то, очарование не то, какая-то внутренняя сущность не та. И вот особняком стоит наша ночная фиалка от всех ятрышников.

Между прочим, благодаря этому цветку, я обнаружил в себе черту, роднящую меня, как отдельного индивидуума, с целым человечеством, но, тем не менее, отвратительную черту. Вот так было дело. Но сначала — оговорка и отступление.

Александра Михайловна Колоколова, врач, травница и замечательный во всех отношениях человек, однажды, несколько лет тому назад, постучалась в мою комнату, где я жил тогда в доме отдыха в Карачарове. Не успел я моргнуть, как эта на седьмом десятке женщина оказалась передо мной на коленях. Впрочем, не успел я моргнуть второй раз, как она быстро встала с пола и начала говорить:

— Видели? Хотите встану на колени еще раз?

— Но помилуйте, Александра Михайловна! Что с вами?

— Я слышала, вы собираетесь писать книгу про целебные травы.



— Это не совсем так. Про целебные травы, вернее, про целебные свойства трав я писать не собираюсь и не могу. Я же не знахарь, не травник, не народный лекарь. Я просто хочу написать...

— А! Значит, и правда, хотите!

— Да что тут плохого?

Александра Михайловна сделала новый порыв опуститься на колени.

— Владимир Алексеевич, дорогой, прошу вас, не пишите про травы.

— Почему?!

— Я читала вашу книгу про грибы, знаю, как вы пишете. Получается очень наглядно и убедительно. Не пишите. Хотите еще раз на колени встану? Вы не представляете, что будет. Все ринутся в леса, на луга, на поля. Истребят все, уничтожат цветы, траву, всякую зелень.

— Кажется, вы преувеличиваете силу убедительности моих книг. Грибы ведь никто не истребил.

— Грибы собирают испокон веков. Создалось равновесие. Потом остается грибница. Она в земле. За травами пока что охотятся только некоторые знатоки и любители. Многие травы приходится брать с корнями. И ежели хлынет масса... поверьте мне, истребят зверобой, истребят кипрей, истребят подорожник, истребят каждую целебную траву...

Так вот, Александра Михайловна, я действительно не буду даже упоминать про целебные свойства трав, но вовсе не потому, что разделяю ваши опасения, но потому, что действительно не имею права. Я не доходил до этих свойств своим умом или опытом. Я только читал о них в травниках и других специальных книгах. Зачем же я буду теперь переписывать из чужих книг в свою сведения, вроде тех, что ромашкой хорошо мыть голову, подорожник надо прикладывать к нарывам и ранам, а спорыш замечательно пить от камней в почках?

Просто у меня, за полвека почти, накопились некоторые личные отношения, некоторые чувства к тому или другому цветку, а выражать чувства — моя основная профессия.

Вся эта оговорка понадобилась мне для того, чтобы не распространяться здесь, зачем мне однажды понадобилось добыть некоторое количество клубеньков ночной фиалки, которые, как мне говорили, если сорвать их в определен-

ное время и в определенных условиях и соответствующим образом обработать...

Но стоп! Иначе зачем же было делать пространную оговорку.

Так всегда у человека и получается: сперва красота, очарование, сказка, поэзия, душевный трепет, созерцание и любование, а потом вдруг — корысть. И уж если появилась и заговорила корысть, то ни красота природы, ни разум, ни даже чувство самосохранения не властны остановить и заглушить ее.

Как раз перед этим я читал книгу француза Дорста «До того, как умрет природа». Да и вообще, если попадется на глаза газетная, журнальная статья, просто замечательная, всегда обратишь внимание, а то и вырежешь. В результате всей этой информации невольно перестанешь идеализировать человечество и с тревогой будешь следить, как плоскость, по которой мы скользим, становится с каждым днем все иаклоннее и наклоннее.

Трудно представить себе космонавтов, летящих на корабле через космическое пространство и сознательно портящих свой корабль, сознательно разрушающих сложную и тонкую систему жизнеобеспечения, рассчитанную на длительный полет.

Земля — космическое тело, и все мы не кто иные, как космонавты, совершающие очень длительный (но не бесконечный, надо полагать) полет вокруг Солнца, а вместе с Солнцем и по Вселенной.

Система жизнеобеспечения на нашем прекрасном корабле устроена столь остроумно и мудро, что она самообновляется и таким образом обеспечивает благополучное путешествие миллиардов пассажиров.

Но вот постепенно, но последовательно мы эту систему жизнеобеспечения с безответственностью, поистине изумляющей, выводим из строя.

Если на маленьком космическом корабле космонавт начнет развинчивать гайки и обрывать провода, это надо квалифицировать как самоубийство. Мы делаем то же самое, только результаты, по сравнению с маленьким кораблем, сказываются не так скоро.

Порча корабля и его системы жизнеобеспечения идет по нескольким, но, надо сказать, основным, коренным направлениям:

1. Отравление и загрязнение пресных вод.
2. Порча Мирового океана.

3. Порча земной атмосферы.

4. Истребление и порча зеленого покрова Земли.

5. Истребление животных и птиц, вплоть до полного, безвозвратного истребления многих биологических видов.

6. Уничтожение верхнего, плодородного слоя земли, называемого почвой, который подвергается все большей эрозии.

7. Опустошение недр, последствия чего пока еще не ясны.

Если бы какие-нибудь всемирные диверсанты были посланы уничтожить все живое на Земле и превратить ее в мертвый камень, если бы они тщательно разработали эту свою операцию, они не могли бы действовать более разумно и коварно, чем действуем мы, живущие на Земле люди и не только не считающие себя диверсантами, но мнящие себя друзьями природы.

Где-нибудь в ЮНЕСКО есть, наверное, исчерпывающие цифры, характеризующие нашу деятельность по всем семи названным направлениям. У меня нет этих цифр, да и ни к чему они здесь, в заметках.

Говорят, что мы сбрасываем в Мировой океан ежегодно 10 000 000 тонн нефти. Говорят, Рейн несет в своих водах каждые сутки столько же ядовитых химических веществ, сколько могут перевезти 1000 железнодорожных составов. Говорят, одна только средней мощности электростанция, работающая на мазуте, выбрасывает в сутки в окружающий воздух 500 тонн серы, в виде серного ангидрида, который, соединяясь с любой водой, тотчас дает серную кислоту.

Цифры, если их собрать, потрясающие; картина, если ее нарисовать, ужасна.

Остановиться уже нельзя. Но я сейчас думаю не о точке остановки, а о точке начала, о той пружине, которая дала первый толчок и подвинула человека на этот пагубный путь.

Лев, нападая на стадо антилоп, убивает только одну. Сытый лев пропускает мимо себя стадо антилоп, не пошевелив ухом. Ястреб не будет заниматься бесцельным истреблением птиц, например, перепелят. Он схватит одного и улетит, чтобы насытиться, утолить голод, утолить потребность в пище, запрограммированную в нем от века. Насекомоядная птица по своей прожорливости могла бы съесть сразу всех, ну, каких-нибудь там личинок, однако ее возможности ограничены самой природой.

Но вот я разглядываю картинки в книге Дорста «До того, как умрет природа». Люди расстреливают стадо бизонов с поезда. Тысячи туш остаются лежать и гнить в степи, потому что людям нужны были только шкуры. Врезавшись в одуревшее стадо бизонов на летящем поезде, люди стреляют, пока есть патроны либо пока есть бизоны.

Лежбище котиков. Люди ходят между беззащитными зверями и палками избивают их. Избиение продолжается до тех пор, пока есть силы или есть котики. Как можно больше убить, как можно больше схватить.

Истреблена морская корова, истреблена птица гага, истреблены — фактически — зубры, если не считать нескольких штук в Беловежской пуще. Под угрозой истребления киты, слоны, страусы, крокодилы, носороги, многие виды животных и птиц.

Бей, пока есть патроны, бей, пока видишь, бей, пока шевелится, бей, если можешь убить и... положить в карман гладкий холодный кружочек золота.

Да, как ни печально это сознавать, но первым толчком, подвигнувшим человека на путь так называемого технического прогресса, была неутолимая, ненасытная жадность.

Можно оскорбиться и обидеться в этом месте, но перешагните уязвленное самолюбие, посмотрите внимательно на действия человека в разные эпохи и в разных условиях, проанализируйте его действия от охотника за жемчугом до Александра Македонского, от золотоискателя на Аляске до Наполеона, от собирателя грибов до собирателя миллионов, и вы увидите, что именно жадность была основным двигателем человеческой истории.

Покажите мне охотника, который, имея возможность убить двух уток, убивает только одну, или человека, который имел возможность взять три рубля, берет только один.

Есть, правда, попадаютсся и вовсе не охотники. Бывает даже, отдают другим людям последний рубль. Но таких людей мало, и не они, к сожалению, двигают наш прогресс. Они только помогают нам оставаться людьми, когда это трудно и почти невозможно.

На такие, примерно, размышления навело меня чтение книги Дорста «До того, как умрет природа».

И вот мне понадобилось некоторое количество клубеньков любки двулистой, ночной фиалки. Я надеялся, что они окажут благотворное действие на здоровье одного близкого мне человека.

Все лесные поляны, где можно встретить этот цветок, я знал. Иной раз во время предвечерней прогулки сделаешь большого крюку, чтобы в холодеющем уже воздухе наклониться над белой башенкой цветка и вдохнуть аромат. Иногда я срывал их несколько штук и дома ставил в воду.

Тем не менее задача моя оказалась не из легких. Дело в том, что клубеньки надо добывать только осенью, когда цветов уже нет и растение не выделяется среди других трав, не бросается в глаза издалека, за пятнадцать — двадцать шагов. Я думаю, если ползать по лесу на коленях, и то едва ли обнаружишь те два глянцевиых листочка, льнущих к земле, благодаря которым любка и называется двулистой.

Воображение во время охоты всегда работает на охотника. Идешь по грибы и заранее рисуешь себе, как под темной елью стоят шоколадные белые грибы. Или видишь как наяву оранжевые блюдца рыжиков в зеленой траве. Говорят, такое охотничье воображение помогает охотникам обнаружить тетерева, затаившегося в древесной кроне, зайца, слившегося со снежной белизной, любую дичь, тот же боровик под еловой тенью.

Но часто в жизни все оказывается не так, как рисовало воображение. Заглядываешь под еловые лапы, а там темная пустота. Кажется, не может не быть под такой классической елью белого гриба, а его нет и нет. Найдешь его потом под какой-нибудь елочкой-замухрышкой.

Так и теперь, собираясь на эту необыкновенную для меня охоту, я воображал, что как только приду на нужную поляну, так и увижу знакомые (разглядывал летом) листочки, под которыми в земле таятся два загадочных клубенька, никогда в жизни мною не виданных. Но уже сама сентябрьская поляна не походила на ту, которую я запомнил с июня месяца. Все цвело и блистало здесь тогда. Ничего не стоило нарвать красивый букет. В который раз соблазнишься и колокольчиками, подивившись, как можно было оперировать и распорядиться, строя цветок столь тонким и нежным лиловым материалом. Соблазнишься напрасно, как известно, потому что, пока несешь до дома, колокольчики сникнут, словно детские воздушные шарики, из которых утекает воздух. Ничего, долго будут стоять в кувшине другие цветы. Не заказано и на другой день прийти на ту же поляну и вновь увидеть ее все в том же летнем цвету.

Никаких цветов я не увидел теперь на сентябрьской поляне. Не сочный травостой по колена, а приземистая густая щетка травы, с торчащими там и сям сохлыми стеблями бывших цветов, не непременно, перегретое солнцем гуденье пчел и шмелей, а сероватая тишина нахмурившегося денька. Уже и листья кое-где поддались желтизне, и одна березка, уступившая, сдавшаяся раньше других (может, сорт, а может, какая-нибудь березовая болезнь), напорошила на поляну желтых листочков.

Быстрыми шагами начал я ходить по поляне, надеясь тотчас и обнаружить предмет охоты. Но перепутавшаяся трава казалась однообразной. Я был слеп, как слеп непросвещенный человек, глядящий на небо, усыпанное звездами. От горизонта до горизонта — одинаковое небо и одинаковые светлые точки. Ну мигают, некоторые поярче, покрупнее, а в целом — хаос. Рассыпаны звезды, как горох, без всякого порядка. Много-много, что увидит на небе непросвещенный человек, так это ковшик Большой Медведицы, так и я сразу отличил, конечно, на лесной поляне крапиву, выросшую на куче истлевшего хвороста.

Но мне нужна была теперь не Большая Медведица, даже не какой-нибудь там Телец. Мне нужна была Вега — благородная и таинственная звезда!

Долго я бродил по поляне и даже чуть не ползал по ней, а два знакомых листа не давались мне.

Я уж делал и так. Отойду на край поляны, окину ее взглядом и стараюсь вспомнить, где поднимались летом на высоких стеблях белые цветы. Скорее иду в то место, разглядываю, шарю, перебираю траву руками, ничего похожего нет.

Исходил середину поляны, обшарил края, постепенно стал удаляться в глубину леса, где густая тень, где режет трава, где больше под ногами черной земли.

Иногда попадались (еще и на поляне) парные листья, как будто похожие на те, что я ищу. У меня не было никаких копательных орудий, кроме ножа, правда, острого, крепкого. Всадив его в землю, я вырезал вокруг находки землю по окружности, подковыривая, и земля вынималась бочоночком величиной с обыкновенный стакан. Я разминал землю, обнажал корешки и не находил ничего, кроме мочки густых мелких корешков или одного стержневого корешка, похожего на тщедушную петрушку или, если хотите, на мышинный хвостик.

Да и бывают ли эти клубеньки? Не сказка ли, не фан-

тазия ли они? Впору было отчаяться и идти домой с пустыми руками.

Но сказалась старая школа рыболова-поплавочника, способного целый день просидеть над неподвижным кусочком пробки, плавающим на воде около кувшинного листа. Знал я, как рыболов-поплавочник, и то, что терпение всегда вознаграждается.

В стороне от поляны, в тенистом лесу, искать стало легче. Не было травяной путаницы. Травинка от травинки растут отдельно и отдаленно. Может быть, эти два листка? Может, эти? А вот эти я уже проверял.

Мне приходилось писать в другом месте, что валуй, например, можно издавлекa принять за белый гриб, обмануться, но что, когда увидишь настоящий белый гриб, его с валуем ни на каком расстоянии не спутаешь. Веет от него исключительностью, подлинностью, благородством. Так получилось и теперь. Как я мог сомневаться? Как я мог какие-то шершавые, матовые, покрытые ворсинками, изборозжденные прожилками листья принимать за листья ночной фиалки?

Вот они, мои два листа. От одной точки на черной земле они растут в строго противоположные стороны. Около самой точки они совсем узкие. Затем становятся все шире и в широком дальнем конце плавно округлены. Если бы перевернуть лист узкой частью кверху он напомнил бы продолговатую каплю. Но я смотрел на листья сверху, и мне они напоминали крылья огромной зеленой бабочки, которая, может, и улетела бы, если б не корешки, вросшие в землю.

Чистотой зеленого тона, гляцевитостью и четкостью формы листья произвели на меня какое-то нездешнее, заветное впечатление. Правда, надо было еще убедиться, что я нашел именно то, что искал. Я все еще разглядывал листья, а клубеньки оставались в земле.

Встав для удобства на колени (вот где понадобилось бы перекреститься, если бы на моем месте был настоящий знахарь — дед), я вонзил нож в землю в пяти сантиметрах от растения, и мне показалось, что листья вздрогнули. Осторожно стал я обрезать землю по окружности. Под ножом перерезались и трещали мелкие корешки, и лопнул с натуги чей-то толстый корень, вероятно, протянувшийся от молоденького деревца, которые росли тут во множестве. Этот корень я перерезал с большим трудом. Подковырнув ножом и вынув земляной бочоночек, я поставил его рядом

с черной зияющей раной, которую я только что своими руками нанес земле.

Тут надо правильно понять мои ощущения.

Копаем землю заступами под гряды, копаем ямы и врываем в землю столбы. Роем карьеры, котлованы, шахты, открытые рудники, поднимаем взрывами тысячи, миллионы тонн земли, сокрушаем скалы, срываем горы. А тут всего-то ковырнул ножом, и вот уж называется это — зияющей раной! Смешно! Тем не менее ощущение мое было точным. Я знал, что вместе с комком земли изъеял из земли живые клубеньки, из которых на будущий год выросла бы ночная фиалка.

Отойдя на несколько шагов, я решил запечатлеть микрорельеф. Небольшая тенистая елочка. В метр высотой. Поодаль от нее толстый зеленый ствол осины. Сама осина где-то там, наверху, и нам теперь не важна. Между елочкой и осиновым стволом вторглась в наш микроинтерьер и распростерлась, вроде опахала, ореховая лоза. Под ней-то, как под крышей, и расцвела бы на будущий год в зеленоватой тени белая ночная фиалка. Теперь уже не расцветет. Никогда. Я ее не просто сорвал, но искоренил.

Осторожно, нащупывая пальцами каждый комочек, каждый тоненький корешок (но это все были еще не ее корешки), я стал разминать и дробить землю. Вдруг мои пальцы нащупали твердые, гладкие и прохладные округлости, и мне показалось, что я кощунственно прикоснулся к чему-то тайному, запретному, интимному. Земля вся обсыпалась наконец, и сахарно-белые, похожие на женские груди, клубеньки обнажились.

Действительно, один из них был сероватый и дряблый. Как будто кожа сделалась ему велика. Другой был ядерный, крепкий и сочный.

Вниз от каждого клубенька тянулся тонкий хвостик — корешок, а от свежего клубня нацеливался вверх тупоконичный росток. Именно ему надлежало весной пробить крышу темницы, выгнать высокий прямой стебель, на котором и расцвели бы цветы. Уж с осени он приготовился к выполнению своей задачи.

Я держал на ладони белый клубенок, который благодаря коническому ростку, напоминающему колпачок, и тонкому корешку удивительно походил теперь на гномика. Я держал его на ладони и еще раз дивился великому чуду. Где-то хранились в нем (в семечке есть хоть зародыш) будущие ночные фиалки с их очарованием, ароматом, се-



менами. Тянулась от этого клубенька цепочка фиалочьих поколений назад на миллион веков и цепочка фиалочьих поколений вперед на миллионы миллионы веков.

Правда, для этого именно экземпляра я прервал, перерезал ножом миллионнолетнюю цепочку, уничтожив одним движением ножа результаты миллионнолетних усилий природы.

Остались на земле другие экземпляры ночной фиалки. Конечно. Но принципиально от этого ничего не меняется. Кто-то убил последний экземпляр морской коровы, последний экземпляр гаги. Кто-то убьет последний экземпляр кита и лебедя. Мало ли что другие экземпляры. Но ведь именно от этого тянулись назад и вперед цепочки поколений. А теперь осталась только одна цепочка — назад. Нигда перерезана, и перерезана она мной.

«Ну ладно, природа не пострадает», — сказал я себе, кладя клубенек в карман.

Вскоре мне попались две разновидности ятрышника, и я их тоже вырезал из земли. У одного из них были округлые клубеньки, за которые ему дали в народе не совсем приличное прозвище. У другого ятрышника клубни напоминали двух нагих, обнимающихся людей.

Все это было интересно и удивительно, но любка двулистая мне больше не попадалась.

Незаметно из старого смешанного леса я перешел в мелкие частые сосенки. Было тут что-то вроде просеки, узкого длинного ложка. На этом ложке я снова увидел любку. Наклонившись к ней, увидел еще, потом еще, потом сразу пять, потом больше. На коленях я стал переползать от одной любки к другой, нож вонзался, подковыривал, земля осыпалась, клубеньки обнажались, один из них отбрасывался, другой клался в карман.

Мой охотничий азарт усугубился, видимо, тем, что долгие поиски были бесплодными и я даже терял надежду. Рука стала болеть, затекать, я намял мозоль, но был как в чаду. Каждая новая пара листьев казалась мне крупнее предыдущей (а значит, и клубеньки будут крупнее), и я полз на коленях дальше и снова вонзал свой нож, резал, рвал, разминал землю, оголял клубенек, клал в карман.

Ни о чем я теперь не думал, и неизвестно, сколько времени продолжалась бы эта варфоломеева ночь, но вдруг у меня сломался нож. Переломился около рукоятки. Я с сожалением повертел его в руке, отбросил в сторону, рас-

прямился и оглянулся назад. То, что я увидел, поразило меня, как громом. Исковерканная, истерзанная полоса земли тянулась за мной. Было похоже, что тут рылась свинья. Еще час назад на поляну приятно было смотреть. Она радовала глаз ровной зеленью, чистотой. Я увидел ее и в будущем июне, какой она была бы вся в цветущих фиалках и какой будет теперь, когда я ее за один час совершенно обесцветил.

Бизоны, расстреливаемые с идущего поезда, котйки, избиваемые палками, пока не онемееет рука, линючие дикне гуси, загоняемые в загоны и избиваемые палками же, огромные кедры, срубаемые ради кедровых шишек, рыбы, черпаемые из рек и морей миллионами тони... Все, все припомнилось мне на обезображенной мной лесной поляне. Тогда я окончательно понял, что я человек и ничто человеческое мне не чуждо.

А то, что мне снятся до сих пор то белые крепенькие клубеньки, то цветущие под луной ночные фиалки, это мое уж личное дело. Может быть, избивателям котиков тоже снятся потом их симпатичные недоуменные мордочки, а также их с набежавшей слезой ничего не понимающие глаза, в которых наивная доверчивость граничит со смертельным ужасом.

\* \* \*



Оказавшись в гостях, я осматривал дачу и дачный участок. Тут были только цветы. Никакой там клубники, ранней редиски или салата. Одни цветы. Нарциссы, пионы, астры, ирисы, георгины, флоксы, примулы, тюльпаны, розы. Одни уже цвели, другие набирали бутоны, третьи ждали своего позднего осеннего часа.

Под конец нашей цветочной экскурсии меня привели в помещение, называемое теплицей. Нечто вроде сарайчика. Глядя снаружи, можно было подумать, что там хранятся разные садовые инструменты, кое-какне строитель-

ные материалы (мешок цемента, ящик со стеклом, столбик кирпичей, немного тесу да еще в углу ворох стекловаты...), на самом же деле ничего подобного в сарайчике не было. Прежде всего это оказался не летний продувной сарайчик, а теплое, душноватое даже, помещение. Посредине, занимая все пространство, возвышалась, как если бы бильярдный стол, земля. Кругом опоясывала эту своеобразную грядку, это своеобразное поле узкая траншея, по которой можно было ходить вокруг гряды и смотреть на нее со всех сторон. Теперь смотреть было не на что, в теплице ничего не росло.

— Четырнадцать квадратных метров,— пояснил хозяин.— Искусственный климат. Урожай по желанию — в любое время года. Но я приурочиваю к первому января.

— Огурцы или помидоры? Оно конечно, к новому году столу свежий огурчик — цены нет. То же и помидор...

— Ну что вы! Огурцы — это грубо и дешево.

— Так, вероятно, клубника? Она и земляника — почти одно и то же. А известно, что «земляника в январе» стала поговоркой, эталоном, символом роскоши. Но, впрочем, я не согласен. Тут какая-то искусственность и ошибка. Видимо, у нашего организма, как и в природе, существует «сезонность». Согласитесь, что свежий огурец для нас дороже всего весной и в начале лета. В августе хорошо бы — малосольный. Точно так же и земляника. Да в январе ее вовсе не хочется! В январе я предпочту горсти свежей земляники ложку земляничного варенья с хорошо заваренным чаем.

— Вот поэтому я ее и не выращиваю в этой теплице,— засмеялся хозяин, терпеливо выслушав мои рассуждения о сезонности наших вкусов.

— Тогда о каком новогоднем урожае вы говорите?

— Цветы. Тюльпаны. Вот о каком урожае. По два, по три рубля за цветок. Эти четырнадцать метров приносят мне пять тысяч рублей дохода.

Я вспомнил, что и правда, зимой бывают такие цены на тюльпаны. В самый новогодний вечер я видел однажды, как в дальнем углу большого шумного магазина у женщины, не успевающей опасливо стрелять глазами по сторонам, считать деньги и отдавать цветы, расхватывали огненные гвоздики по четыре рубля за штуку. Но и в обычное время, и в самые будние дни Москва поглощает огромное количество цветов, и цены на них всегда высокие.

Во Владимире на базаре, в очереди за телятиной, впе-

реди меня стояла молоденькая девушка с тремя гладиолусами в руках. Женщины спрашивали у нее — почем купила. «За три рубля», — отвечала девушка. Никто из простых владимирских женщин, стоящих за телятиной, не удивлялся, что такая может быть цена на гладиолусы. Скорее, они сокрушались о ценах на телятину, за которой стояли.

Итак, три рубля за цветок. При каких обстоятельствах мы могли бы платить три рубля за одну картофелину, за одно яблоко, за один апельсин, в конце концов. Очевидно, что при условии острой нехватки и даже голода. Авитаминозы, дистрофия, пухнут детишки, война, блокада. Тогда, конечно, отдашь и три рубля за одну картофелину, отдашь и больше. В нормальной же обстановке не всякий, я думаю, человек (из нормально работающих и зарабатывающих) купит для себя один апельсин за три рубля. Слава богу, таких цен на апельсины нет. Сообразуясь с потребностью, цены установлены: на апельсины 1 рубль 40 копеек, а на картошку — гривенник за килограмм.

Но отчего же москвичи платят по рублю, по два и по три за один цветок? Отчего вообще люди платят за цветы деньги? Наверное, оттого, что существует потребность в красоте. Если же вспомнить цены, о которых сейчас говорилось, то придется сделать вывод, что у людей теперь голод на красоту и голод на общение с живой природой, приобщение к ней, связи с ней, хотя бы мимолетней, в чем-то искусственной, в своей городской квартире.

Тем более что в цветах мы имеем дело не с какой-нибудь псевдокрасотой, а с идеалом и образцом. Тут не может быть никакого обмана, никакого риска. Хрустальная ваза, фарфоровая чашка, бронзовый подсвечник, эстамп, акварель, вышивка, кружево, ювелирное изделие... Тут все зависит от мастерства и от вкуса. Вещь может быть дорогой, но не красивой, безвкусной. Надо и самому, покупая, обладать если не отточенным вкусом и чувством прекрасного, подлинного, то хотя бы понятием, чтобы не купить вместо вещи, исполненной благородства, вещь аляповатую, помпезную, пошлую, лишь с претензией на благородство и подлинность. Или попадетс подделка под другую эпоху, подделка под великого мастера, подделка под красоту. Человек на это способен.

Но природа жульничать не умеет. Согласимся, что цветочек кислицы — не тюльпан. С одним тюльпаном можно прийти в дом, а с одним цветочком кислицы — скудно. Но это лишь наша человеческая условность. Приглядимся

к нему, к цветочку, величиной с ноготок мизинца, и мы увидим, что он такое же совершенство, как и огромная, по сравнению с ним, тяжелая чаша тюльпана, а может быть, даже изящнее ее... Что касается подлинности, то вопроса не существует. Но, конечно, лучше, когда красоту не надо разглядывать, напрягая зрение, а когда она сама бьет в глаза. Мимо цветочков кислицы можно пройти, не заметив их, а мимо тюльпана не пройдешь. Недаром, как известно, он был одно время предметом страстного увлечения цивилизованного человечества, чтобы не сказать — массового психоза. Начертим канву, хотя бы редкой пунктирной линией.

Первые сведения о тюльпане исходят из Персии. Известно также, что его любили турки и что разведение тюльпанов было одним из любимых (может быть, поневоле) занятий прелестных обитателей турецких гаремов. Тут тюльпанами любуются, тут в честь них устраиваются праздники, тут еще не подозревают, что, пробравшись сквозь стражу и сквозь узорные золоченые решетки, они, тюльпаны, словно пестрое войско, хлынут в Европу и завоюют ее. Впрочем, нашествие вовсе не походило на лавину, на вторжение чужеземного войска. Оно скорее подкралось как болезнь, которая хотя и принесена извне, развивается изнутри.

Как все известно о начале великих событий и великих войн, точно так же известно, что в Западную Европу тюльпаны попали в 1559 году. Германский посол при турецком дворе Бусбек привез несколько луковиц на родину в Аугсбург. Уже в этом году у сенатора Гарварта расцвел первый цветок тюльпана. Вскоре он украшает роскошные сады средневековых богачей Феггеров. Отсюда он распространяется по Европе, подобно пожару, захватывая все новые народы и земли.

Вот им увлекаются в Германии маркграфы, графы, курфюрсты, придворные медики, богачи-любители, коронованные особы.

Вот среди любителей и ценителей тюльпанов мы находим уже Ришелье, Вольтера, маршала Бирона, австрийского императора Франца II и французского короля Людовика XVIII. И тут происходит еще одно примечательное событие: тюльпановый пожар перескакивает в Голландию. Вдруг эта страна уравновешенных, то что называется, положительных, а пуще того, расчетливых людей вспыхивает, как сухая солома. Правда, с расчета-то и началось.

Заметив, что тюльпановые луковицы находят спрос и сбыт у немцев и других народов, голландцы решили воспользоваться, как теперь сказали бы, рыночной конъюнктурой, не подозревая, что сами вскоре падут ее жертвой. Сначала луковицы выращивали садоводы, но очень скоро этим стало заниматься все население страны. Торговцы всячески поддерживали и поощряли новое занятие. Луковицы стали скупать, перекупать, перепродавать. Образовалось нечто вроде биржи с ее биржевой игрой. В дело пошли уже не сами луковицы, но расписки на луковицы. Расписки, в свою очередь, перекупались и перепродавались, причем цены на них доходили до фантастических размеров. Одни люди разорялись, другие внезапно богатели, третьи расчетливо богатели. По стране гуляло 10 000 000 тюльпановых расписок.

Некоторые, не вчиняясь в рискованную игру, наживали деньги на более скромном товаре: на глиняных горшках для тюльпанов, на деревянных ящиках для выращивания. Ящиками пользовались те из голландцев, у которых не было садовой земли. На биржах собирались тысячи разных людей: миллионеры и рыбаки, купцы и швеи, бароны и ремесленники, высокосветские дамы и прислуги, старики и подростки... Шли в дело фамильные драгоценности и домашний скарб, шли под залог коровы и дома, земельные участки и рыболовные снасти. За одну знаменитую луковицу уплачено 13 000 гульденов, за другую знаменитую луковицу — 6000 флоринов, за третью луковицу пошло 24 четверти пшеницы, 48 четвертей ржи, 4 жирных быка, 8 свиней, 12 овец, 2 бочки вина, 4 бочки пива, 2 бочки масла, 4 пуда сыра, связка платья и один серебряный кубок.

За выведение редкого сорта (размера и цвета) назначались огромные премии, а успех выведения превращался чуть ли не в национальное торжество. Сохранилось описание празднества по поводу выведения черного тюльпана. У Н. Ф. Золотницкого, в свою очередь переписавшего откуда-то описание этого празднества, читаем:

«15 мая 1673 года, рано утром в Гаарлеме собрались все гаарлемские общества садоводов, все садовники и почти все население города. Погода была великолепная. Солнце сияло, как в июле.

При торжественных звуках музыки шествие двинулось по направлению к площади Ратуши. Впереди всех шел президент гаарлемского общества садоводства М. Ван-Синтес, одетый весь в черно-фиолетовый бархат и шелк под цвет тюльпана, с громадным букетом; за ним двигались члены

ученых обществ, магистраты города, высшие военные чины, дворянство и почетные граждане. Народ стоял по бокам шпалерами.

Среди кортежа на роскошных носилках, покрытых белым бархатом, с широким золотым позументом, четыре почетных члена садоводства несли виновника торжества — тюльпан, красовавшийся в великолепной вазе. За ним гордо выступал выведший это чудо садовод, а направо от него несли громадный замшевый кошель, вмещавший в себе назначенную за вывод этого тюльпана премию города — 100 000 гульденов золотом.

Дойдя до площади Ратуши, где была устроена грандиозная эстрада, вся убранная гирляндами цветов, тропическими растениями и хвалебными надписями, шествие остановилось.

Музыка заиграла торжественный гимн, и двенадцать молодых, одетых в белое гаарлемских девушек перенесли тюльпан на высокий постамент, поставленный рядом с троном штатгальтера.

В то же время раздались громкие крики народа, возвещавшие о прибытии принца Оранского.

Взойдя в сопровождении блестящей свиты на эстраду, принц Оранский обратился к присутствующим с речью, в которой изобразил интерес, представляемый для садоводства получением тюльпана столь редкой и своеобразной окраски, как черная, и, провозгласив имя столь отличившегося садовода, вручил ему пергаментный свиток, на котором было начертано его имя, и его заслуга, и крупная сумма, подаренная ему городом.

Восторгам народа не было конца, и счастливец понесли в триумфе по улицам. Празднество закончилось грандиозным пиршеством, устроенным лауреатом своим друзьям и садоводам Гаарлема».

Согласитесь, что наш знакомый дачник, выращивающий тюльпаны на четырнадцати квадратных метрах и потом продающий их полутайком по два рубля за штуку, выглядит жалким кустарем-одиночкой по сравнению с размахом средних веков.

Можно рассказывать точно так же не о биржевой игре на тюльпанах и не об ажиотаже вокруг них, но об истинных любителях этого цветка.

Это средневековое любительство оставило множество трагических и комических случаев, курьезов, яркий след в искусстве, в том числе в поэзии и литературе вообще.

Но такое нашествие, такое передвижение цветов не похоже разве на всякое другое передвижение и нашествие, которым охватываются и захватываются все новые пространства, будь то нашествие орд и чужеземного войска, будь то нашествие чумы и холеры, будь то нашествие идей и мод.

Конечно, хотя и были жертвы во время завоевания Европы тюльпанами (многие разорились), все же не было при этом кровавых побоищ и пожаров, трупного смрада и вдовьих слез. Должны же чем-нибудь отличаться цветы от гуннов, татар и турецких янычаров!

Но помимо нашествий и, так сказать, цветочных эпидемий, помимо возведения время от времени в культ какого-нибудь одного цветка (лилия на гербе и на военных знаменах Бурбонов, война Белой и Алой Розы), цветы имеют над людьми незаметную, но постоянную власть. Потребность в них велика во все времена. Более того, по отношению общества к цветам и, если позволительно будет так выразиться, по положению цветов в обществе можно было бы во все времена судить о самом обществе и о его здоровье либо болезни, о его тоне и характере.

Возьмите древних. Сначала все идет хорошо. Греки любят гирлянды из цветов, «плетение которых составляло не только особое ремесло, но даже доведено было до степени искусства. Девушки и женщины, умевшие плести с особым искусством гирлянды из роз, делались знаменитостями: с них снимали портреты и делали мраморные бюсты, точно так же, как в наше время это делается относительно знаменитых артистов и поэтов».

«Первая вязальщица венков в Древней Греции, красавица Глицерия из Сикиона, была увековечена знаменитым греческим живописцем Паузиасом, написавшим ее портрет. Впоследствии за одну лишь копию с этой картины Лукулл заплатил несколько тысяч».

Венком из роз украшается невеста. Розами убирается дверь, ведущая в ее дом, лепестками роз усыпается брачное ложе.

Розами усыпается путь возвращающегося с войны победителя и украшается его колесница. Ими же украшаются гробы умерших, урны с прахом и памятники, в особенности Афродиты.

В Риме роза сначала — эмблема храбрости. Она как бы орден, дающийся за проявленное героичество. Лежону, который первым ворвался в неприятельский город, разре-



шается во время триумфального шествия нести в руках розы. Но когда один из командиров позволил солдатам украсить себя розами после незначительной победы, то получил за это строжайший выговор.

Меняла, незаслуженно украсивший себя венком из роз, посажен в тюрьму по приказанию сената.

Итак, государство в расцвете и силе — во всем мера. Цветы, в частности розы, в большой цене, однако без каких-либо патологических отклонений. В дальнейшем нетрудно проследить, как с разложением государственной крепости, с интуитивным ощущением надвигающегося конца отношение к цветам принимает черты излишества и болезненности.

Уже Клеопатра принимала у себя Марка Антония, насыпав на пол пиршественного зала розовых лепестков слоем в один локоть.

На носилках проконсула Верреса лежали матрас и подушки, набитые розовыми лепестками.

У Нерона во время пиров сыпались с потолка миллионы розовых лепестков.

Розовыми лепестками усыпалась поверхность моря, когда патриции отправлялись на прогулку. Целое озеро было усыпано однажды лепестками роз.

На одном из императорских пиров столько лепестков насыпалось с потолка, что все гости задохнулись под ними.

Все улицы Рима были пропитаны запахом роз, так что непривычному человеку становилось дурно.

Разве это не своеобразный барометр, не своеобразная характеристика времени? Возьмите для сравнения Париж в начале этого века. Не даст ли нам его цветочная жизнь понятие о жизни, пульсе, тоне этого богатого и блистательного в чем-то, как говорится, капиталистического, в чем-то с демократическими традициями, города?

«Кто не был ранним утром на центральном цветочном рынке в Париже, тот не сможет себе и представить той суеты, той кипучей деятельности, какая царит там в это время.

Сотни фургонов, нагруженных снизу доверху цветами, съезжаются со всех окрестностей Парижа, сотни фургонов везут цветы с вокзалов железных дорог, присылаемых из Ниццы, Грасса, Лиона и других южных городов.

Целые сотни, тысячи людей занимаются разгрузкой, разборкой, расстановкой и продажей цветов, другие со-

ни, тысячи — их покупкой, сортировкой и разноской по Парижу...

Цветы расходятся по городу благодаря множеству всевозможных разносчиков цветов и продавщиц букетиков, встречающихся всюду, на всех улицах и бульварах.

...Число таких торговцев в самом Париже насчитывается до 4000 да в окрестностях около 2000. Так что 6 тысяч одних только этого рода торговцев развозят ежедневно цветы по Парижу и окрестностям.

Далее следует продажа цветов в киосках, представляющих собой, так сказать, переход от разносчиков и рыночного торговца к дорогим цветочным магазинам...

...Что же касается до тех больших цветочных магазинов, которые являются у нас (то есть в России того же времени.— В. С.) главным центром цветочной торговли, то такие, конечно, имеются в Париже, но они уже почти не пользуются цветами, привозимыми на центральный рынок, а держат только более редкие экзотические растения или особенно роскошно выращенные цветы, разводимые в собственных теплицах и садоводствах.

Число таких магазинов в Париже доходит до 500. При этом замечательно, что почти вся торговля цветами ведется здесь исключительно женщинами.

Причины тому весьма ясны: для составления бутоньерок, венков, букетов, плато и разного рода жардиньерок требуется много вкуса, много изящества, а в этом отношении женщины, конечно, неизмеримо превосходят мужчин...

...Эталажи парижских цветочных магазинов являются истинным наслаждением для глаз. Особенно же они поражают зимой, когда сквозь гигантские зеркальные окна взор окоченевшего от холода зрителя видит перед собою всю роскошь тропиков или знойного юга, увеличенную искусной группировкой растений и полным артистического вкуса подбором цветов и аксессуаров.

Спрашивается: сколько же тратится Парижем и его летучим чужестранным населением ежегодно на цветы?

На это точная статистика отвечает следующее.

В хорошие года в Париж ввозится на 30 000 000 франков цветов... Они все расходятся по рукам, по домам пожительно всего Парижа.

Кого вы только не встретите в Париже. Молодую ли девушку, пожилую ли даму, мужчину ли, ребенка ли — у всех почти увидите всегда цветы или в руках, или на груди, или в пеглице.

Взойдете ли вы в комнату скромного работника или работницы — вы увидите на окне или в стаканчике цветы. Взойдете ли вы в богатый дом — увидите их не только всюду расставленными в роскошных вазах, жардиньерках, но и украшающими обеденные столы, украшающими все гостинные, будуары и даже лестницы.

Цветы встречают в Париже и новорожденного, провожают и покойника. Цветами украшаются и в театр, на бал, на скачки. Цветами приветствуют именинника, цветами убирают невесту, цветы подносят артистам. Ими украшают торжественные обеды, ими убирают экипажи, ими убирают могилы. Словом, нет в Париже события, веселого или печального, где бы их не было...

...Такова роль цветов в Париже, во всей Франции, можно сказать, во всем современном цивилизованном мире»<sup>1</sup>.

По логике повествования теперь полагалось бы мне описать состояние цветочной торговли в современной Москве, но хватит ли моего воображения и скудости моих изобразительных средств?

Прежде всего надо сказать, что в отношении к цветам москвичи ни в чем не уступают остальному цивилизованному миру. Точно так же, как и в Париже, как и везде, у нас цветами и встречают новорожденного и провожают покойника, приветствуют именинника и убирают невесту, подносят цветы артистам и украшают ими обеденные (банкетные) столы.

Правда, я не встречал лестниц, украшенных цветами. Но когда-то в старом семиэтажном московском доме по Уланскому переулку, где живет моя сестра Екатерина Алексеевна, я обнаружил на лестничных поворотах перил некие излишества, что-то вроде площадок или, скажем, гнезд и поинтересовался, зачем это, мне сказали, что, бывало, здесь стояли цветы. То ли плошки, то ли вазы с цветами. Предполагаю, что плошки. А на самих ступеньках будто бы лежала ковровая дорожка. Но, по-моему, это вздор. Если на лестнице так просто стояли цветы в плошках, то почему же никто не уносил их в свою квартиру? А если ковровая дорожка, то почему ее в первые же три дня не изрезали на отдельные коврики? Или не скатали в рулон и не увезли? И как могли цветы и дорожка сочетаться с этими немытыми стеклами, накопившими на се-

---

<sup>1</sup> Золотинский Н. Ф. Цветы в легендах и преданиях. Изд. А. Ф. Девриена.

бе слой слипшейся пыли в палец толщиной, и с этими мрачными темными побитыми стенами? И с этим запахом в подъезде (москвичи знают, отчего это происходит), и с этим лифтом, исцарапанным внутри острым гвоздем?

С такими сомнениями я пришел к одному старожилу этого дома, и он неожиданно стал меня заверять, что действительно цветы на лестнице были и дорожка была, более того — жильцы будто бы оставляли внизу в подъезде галоши и зонтики.

Последнее убедило меня больше всего, потому что и сейчас иногда оставляют москвичи внизу детские коляски.

Трудно сказать, почему исчезли цветы с лестничных площадок московских домов. Поиски причин увели бы нас слишком далеко. Назову одну: изменилось отношение к лестнице. Я бывал во многих больших городах и видел, что там (речь идет не о трущобах, а о средних, нормальных жилых домах) лестница является началом квартиры, в то время как у нас она является продолжением улицы. Большая принципиальная разница.

Отношение к лестнице изменилось, но к цветам нет. Цветы москвичи по-прежнему любят. Это для них где-нибудь там, на юге, утрамбовывают в чемодан мартовские ветки мимоз, а также розы, предпочтительно в бутонах, чтобы не помялись, не истрепались. Сплюснутые и слипшиеся извлекаются розы из чемоданов на московских рынках. Встряхиваются, расправляются. У иных полураспустившихся роз стараются пальцами вывернуть лепестки, чтобы выглядела пышнее, ярче. Стараются их опрыскать водой, чтобы освежить, оживить. Но все это помогает мало. В чемоданной утрамбованной темноте и духоте розы задыхаются, умирают. Купленные и принесенные в московскую квартиру, они редко пробуждаются от глубокого обморочного состояния. Не помогает даже реанимация, в приемы которой входят обламывание и расщепление стеблей, обливание стеблей горячей водой и растворение в вазе таблеток аспирина. Бутоны часто так и остаются бутонами, темными, с мертвенным оттенком, а полураспустившиеся розы быстро осыпают на скатерть свои бесильные лепестки.

Впрочем, в конце лета на всех рынках Москвы можно купить превосходные розы, выросшие и расцветшие у нас в Подмоскovie. Тогда хороши, свежи и другие цветы — питомцы дачных участков Малаховки и Лобни, Краскова и Салтыковки, Болшева и Сходни... Какие прекрасные ма-

ки, садовые ромашки, ирисы, нарциссы, тюльпаны, гнацинты, левкои, лилии расставлены тогда на прилавках московских рынков.

Отшумят тут же — по сезону — благоухают вороха чермухи, сирени, жасмина.

Ландыши появляются в Москве раньше, чем в подмосковных лесах, — привозят из более южных областей, даже и с Украины. Случайно на углу в метро, в подземном переходе через улицу, у тетеньки, опасливо поглядывающей по сторонам, можно в Москве, и не заезжая на рынок, купить иногда букетик ночной фиалки, незабудок, купальниц, полевых ромашек и васильков. Это и хорошо. Не всегда человек заранее знает, что вечером ему понадобятся цветы. Не всегда есть время днем купить их. Как же быть, если рынки в семь часов закрываются? Фактически они расходятся еще раньше.

Есть в Москве два-три полулегальных базарчика, где можно найти цветы в неурочное время, то есть когда рынки закрыты.

До недавних пор такой цветочный базарчик существовал около Белорусского вокзала. Надо было пройти тоннелем под мост, под Ленинградский проспект, и там начинался ряд палаточек и прилавков, где цветами торговали до поздней ночи. Но потом этот базарчик внезапно прекратился. Сейчас существует он у «Сокола». Около Белорусского вокзала осталась только традиция. Можно обнаружить рядом с продавщицами мороженого и газированной водой двух-трех наиболее отчаянных тетек, которые из обширной сумки извлекут для вас несколько астр, а то и роз.

Да, но есть же в Москве цветочные магазины, которые некогда, если верить Золотницкому, являлись «у нас главным центром цветочной торговли». Их, конечно, не 500, как в Париже в начале века, но все-таки более сорока.

Я давно не бывал в цветочных магазинах, и мне пришла в голову мысль посмотреть некоторые из них. Тут мы случайно разговорились с писателем Радовым, и он рассказал мне историю, которая настораживала. Ему понадобились цветы. Не знаю, почему он не обратился на рынок. В Союзе писателей есть человек, в обязанности которого входит доставить цветы для многочисленных писательских похорон и юбилеев. У этого человека, естественно, широкие связи с разными цветочными магазинами. После соответствующего звонка в крупнейший мага-

зин и разговора с директором Радову было обещано 10 (десять) гвоздик. Явившись лично, Радов сумел выпросить еще одну и таким образом ушел с одиннадцатью гвоздиками.

Я стал задавать Радову вопросы, над которыми он расхохотался. Я спрашивал, почему, если не оказалось гвоздик, он не купил гладиолусы, тюльпаны, маки, лилии, розы, хризантемы, нарциссы, пионы, астры?

Смеется Радов своеобразно. Сначала в нем, в глубине, рождается хрип (как у старинных часов перед боем), который тянется долго. Если не очень смешно, все может так и кончиться этим хрипом. Но теперь Радов хохотал от души. Мои вопросы, как он говорил, были наивны. Заинтригованный, я сам поехал посмотреть на цветочные магазины. Пока едем до первого из них, вновь всплывают в памяти строки: «стеллажи... цветочных магазинов... истинным наслаждением для глаз... сквозь гигантские зеркальные окна... всю роскошь тропиков или знойного юга... искусной группировкой растений... полным артистического вкуса, подбором цветов и аксессуаров...»

Боже мой! Трудно представить себе столь же унылое зрелище, как московский цветочный магазин! Пахнет похоронами и провалившимися Премьерами. Вид и атмосфера этих магазинов вместо радости и наслаждения (цветочный магазин!) навевает безотчетную тоску. Они почти не отличаются друг от друга ни обстановкой, ни этими, как их... аксессуарами, ни ассортиментом, ни тем более ценами. В деревянных ящиках растет несколько больших растений — пальмы, лавровые деревья, кактусы.

— Продаются ли эти растения и сколько стоят?

— Это наш инвентарь.

Так ответили мне продавщицы трех магазинов. Значит, в четвертом можно не спрашивать. Что же продается? В глиняных плошках комнатные растения двух-трех видов. Именно те, которые сейчас почти никто не держит в своих квартирах. Например, елочки. А цветы как таковые? Цветок в петлицу, цветок для подарка, букет цветов?

В магазине у «Сокола» в этот день торговали хризантемами. Штук двадцать хризантем стояло около продавщицы в ведре, в воде. Скоро кончатся. Вид у хризантем помятый, потрепанный. Но берут. Оглядывают цветок со всех сторон, мнут, колеблются, но берут. Ничего другого ведь нет. Ничего. Только хризантемы, больше похожие

на астры. Бело-лилового и блекло-желтого цвета. Они измяты, полузавяли. Пока есть в продаже те, белые крупные хризантемы, эти никто не берет.

Через четверть часа я уже в другом конце Москвы в цветочном магазине у Сретенских ворот. Вместо белых хризантем в ведре несколько белых гладиолусов. Мелкие, жалкие, полузавяли. На прилавке кустистые желтоватые и лиловатые хризантемы. Трогают, оглядывают и кладут опять на прилавок.

Магазин на проспекте Калинина (так называемый Новый Арбат) отличается от других. Он просторен, его интерьер организован по-современному. Даже маленький бассейн посреди магазина. Инвентарь расставлен с большой фантазией. Но, подойдя к прилавку, я вижу опять те же самые мелкие, похожие на астры, кустистые хризантемы бледно-желтого и бледно-лилового цвета. Поскольку их никто не берет, продавщицы пошли на хитрость. Они к этим совсем невыразительным и несвежим цветам присоединяют гвоздички и таким образом штампуют букеты, завернутые в целлофан. Гвоздички немного оживляют букет, но они сами помяты и блеклы. Кроме того, они никак не сочетаются с той невольной добавкой, с той «общественной нагрузкой», которую им навязали. Получились вместо букетов стандартные веночки. Не представляю, кому можно и как можно преподнести такие цветы. Но других цветов нет. Я подозвал продавщицу, молодую полную девушку с пышной русой косой, которая за отсутствием торговли оживлению болтала с подружкой — кассиршей, и сказал ей примерно следующее:

— Я знаю, что московские продавщицы, прежде чем встать за прилавок, учатся в специальных школах или на курсах. Вы, наверно, учились тоже. У вас прекрасная профессия и прекрасное звание, вы — цветочница. Так как же вы могли выложить на прилавок и предложить нам эти чудовищные, эти бездарные, эти безграмотные пучки растений? Разве вы не понимаете, что цветы в этих пучках не сочетаются друг с другом, не смотрятся, вопиют к вашему вкусу, вашей совести. На кого вы рассчитываете? На какой вкус? На какой уровень безразличия и равнодушия? Зачем же веками существовало искусство составлять букеты, зачем это искусство прославлялось поэтами, зачем лучшие букетницы ваялись в мраморе великими скульпторами? Для того, чтобы дело пришло к этому жалкому тоскливому пучку цветов, который вы под названием букет пытаетесь

всучить мне за, между прочим, один рубль семьдесят копеек?

Впрочем, в последнем я не прав. Продавщица вовсе не пыталась мне ничего всучать. Выслушав меня и не удостоив не только ответом, но и шевелением брови, она решительно, резко, зло покидала пучки цветов в ведро, затем повернувшись и гордо и независимо, под возмущенный ропот остальных покупателей, пошла снова к кассирше, не подозревая, конечно, что уходит прямо на эту страницу.

Что же было в решительных ее жестах, когда она кидала букеты в ведро? О, тут было много всего по желанию и на выбор.

— Никто вас не просит покупать эти цветы. Не хотите, не надо.

— Ишь ты, нашелся грамотей. Если каждый будет учить...

— А пошли вы все... осточертело давным-давно!..

— Сама знаю, что цветы эти дрянн, но что же мне прикажете делать?

— Прекрасно вы все понимаете, и нечего притворяться наивненькими...

И все-таки я не понимал. Не понимаю, как может в цветочном магазине не быть цветов?!

— Почему же? Цветы у нас есть,— ответила мне другая, более спокойная продавщица в другом магазине.— Вы можете заказать букет, или корзину, или венок... Очень часто заказывают у нас корзины для подношения артистам на сцену. Венки, конечно, для похорон.

— И если я захочу преподнести корзину или букет любимой актрисе, ваш магазин берется исполнить для меня такой букет?

— Конечно.

— Простите, а какие там будут цветы? Надо полагать, какие захочу я, ваш заказчик и покупатель?

— Еще чего!

— То есть как?

— А так. Цветы будут такие, какие окажутся в тот день на базе или в магазине.

— Но если моя актриса любит тюльпаны и терпеть не может гвоздик. Вы знаете, при виде гвоздик она... вы знаете, это ведь цветок крови...

— Чего?! Преподнесете, и будет довольна.

— Но это никак невозможно, чтобы гвоздики...



— Гражданин, сказано вам — какие будут на базе. Да вы не волнуйтесь, они вам соберут, и будет красиво.

— Я понимаю, но у цветов есть символика. Вас, наверно, учили? Хризантема, например, цветок печали и смерти. Лилия — непорочности. Ведь именно с лилией Архангел Гавриил... благовещение... Нарцисс — символ влюбленных в себя, камелия — цветок бесстрастия, незабудка — цветок постоянства и верности, омела — вечное обновление. Ее, знаете ли, дарят в Новый год и на рождество, ландыш служит эмблемой нежности, безмолвного излияния сердца, роза — поклонение и пламенная любовь, фиалка — скромность и обаятельность... А вы мне — какие будут!

Знаете, как написано в одной книжке: «Влетает в магазин как буря какой-то иностранец и, показывая на часы, говорит: «Сейчас пять часов, в семь мне нужна во что бы то ни стало корзина самых редких орхидей, но помните, ровно в семь часов. Что это будет стоить?»

Вот как, милая девушка, нужно торговать цветами. Как думаете, сможет мне ваш магазин не к семи часам, а хотя бы к Новому году приготовить корзину самых редких орхидей?

— Разыгрываете вы меня, гражданин, по глазам вижу. А если хотите цветы по своему выбору — ступайте на рынок.

Так я понял, что москвичи сидят на своеобразном цветочном пайке, когда человек покупает не то, что ему хотелось бы купить, но то, что предлагает магазин и что человек покупать вынужден. И только рынок, опять же, сглаживает немного атмосферу и обстановку пайка.

Впрочем, когда слишком много цветов, это тоже... в некотором роде другая крайность.

Во время большого какого-то праздника в одной республике нас, приехавших на этот праздник московских гостей, завалили цветами. Не успеем выйти из самолета — навстречу бегут школьники с букетами в руках; не успеем прийти на фабрику — навстречу бегут девочки с букетами в руках; не успеем приехать в совхоз — цветы; собираемся уезжать из совхоза или с фабрики — опять цветы. У нас не хватало рук, чтобы держать тяжелые букеты. В гостиницах, в автомобилях, в салонах самолетов не хватало места, чтобы положить цветы. Это были осенние жирные георгины и астры, связанные в округлые снопы. Их были пуды, их были тонны. Оказывается, если цветов тонны, то они начинают производить впечатление силоса.

Иногда я вижу, как артисту или артистке на сцену чинно выносят корзину с цветами (какие оказались на базе). Таких корзины набирается несколько штук, и появляется подозрение: уж не сам ли артист их заказал? Очень они одинаковы. Впрочем, что я? База-то у всех магазинов одна!

В то же время иногда летит на сцену один цветок. Или маленький букетик фиалок. Если бы я был на сцене вместо артиста, для меня такой цветок и такой букетик, упавший на серые пыльные доски, был бы дороже чопорных корзины, перевязанных шелковыми красными и белыми лентами.

## ИЗВЛЕЧЕНИЯ

И. Бунин. *О цветах и травах в стихах разных лет*

...Есть на полях моей родины скромные  
Сестры и братья заморских цветов:  
Их возрастила весна благовонная  
В зелени майских лесов и лугов.  
Видят они не теплицы зеркальные,  
А небосклона простор голубой.  
Видят они не огни: а таинственный  
Вечных созвездий узор золотой.  
Веет от них красотой стыдливою,  
Сердцу и взору родные они...

1887 г. (то есть очень раннее)

\* \* \*

Понял я, что юной жизни тайна  
В мир пришла под кровом темноты,  
Что весна вернулась — и незримо  
Вырастают первые цветы.

1889—1897 гг.

\* \* \*

Все темней и кудравей березовый лес зеленеет,  
Колокольчики, ландыши в чаще зеленой цветут,  
На рассвете в долинах теплом и черемухой веет,  
Соловьи до рассвета поют.

Скоро тронцын день, скоро песни, венки и покосы...  
Все цветет и поет, молодые надежды тая...  
О, весенние зори и теплые майские росы,  
О, далекая юность моя!

1900 г.

\* \* \*

А на селе с утра идет обедня в храме:  
Зеленою травой усыпан весь амвон,  
Алтарь сняющий и убранный цветами  
Яитарным бликом свеч и солнца озарен.

1900 г.

\* \* \*

Крупный дождь в лесу зеленом  
Прошумел по стройным кленам  
И лесным цветам...  
После бури молодея  
В блеске новой красоты,  
Ароматней и пышнее  
Распускаются цветы.

1888 г.

\* \* \*

Темной ночью белых лилий  
Сон неясный тих.  
Ветерок ночной прохладой  
Обвевает их.  
Ночь их чашечки закрыла,  
Ночь хранит цветы  
В одеянии невинном  
Чистой красоты.

1893 г.

\* \* \*

Пахнет медом, зацветает  
Белая гречиха...  
Звон к вечерне из деревни  
Долетает тихо...

1892 г.

\* \* \*

Из зреющих хлебов, как теплос дыхание,  
Порою ветерок касается чела.  
Но спят уже хлеба. Царит кругом молчанье.  
Молчат перепела.

1897 г.

\* \* \*

Всёт утро прохладой степною...  
Тишина, тишина на полях!  
Заросла повиликой-травой  
Полевая дорога в хлебах.

В мураве колен утопают,  
А за ними с обеих сторон  
В сизых ржах васильки зацветают,  
Бирюзовый виднеется лен.

Серебрится ячмень золотистый,  
Зеленеют привольно овсы,  
И в колосьях брильянты росы  
Ветерок зажигают душистый.

И вливает отраду он в грудь,  
И свежает с души он тревоги...  
Весел мирный проселочный путь,  
Хороши вы, степные дороги!

### КАНУН КУПАЛЫ

Не туман бедеет в темной роще —  
Ходит в темной роще Богоматерь.  
По зеленым взгорьям, по долинам  
Собирает к ночи Божьи травы.  
Только вечер им остался сроку,  
Да и то уж солнце на исходе:  
Застят ели черной хвоей запад,  
Золотой иконостас заката.  
Уж в долинах сыро — пали тени,  
Уж луга синеют — пали росы,  
Пахнет под водою медуница,  
Золотой венец по рощам светит.  
Как туман бела ее одежда,  
Голубые очи — словно звезды,  
Соберет Она цветы и травы  
И несет их к божьему престолу.  
Скоро ночь — им только ночь осталась,  
А наутро срежут их косами,  
А не срежут — солнце сгубит зноем,  
Так и скажет Сыну Богоматерь:  
«Погляди, возлюбленное Чадо,  
Как земля цвела и красовалась!  
Да недолог век земным утехам:  
В мире Смерть — она и жизнью правит».  
Но Христос ей молвит: «Мать! Не солнце —  
Только землю тьма ночная кроет.  
Смерть не семя губит, а срезает  
Лишь цветы от семени земного.  
И земное семя не иссякнет.  
Скосит Смерть — Любовь опять посеет,  
Радуйся, Любимая! Ты будешь  
Утешенье до скончания века!»

\* \* \*

Зато все ярче и нежнее  
Живая неба бирюза:

И смотрят, весело сияя,  
В кустах подснежников глаза...

\* \* \*

...Полями пахнет — свежих трав,  
Лугов прохладное дыханье!  
От сенокосов и дубрав  
Я в нем ловлю благоуханье...

\* \* \*

...Поздним летом в степи на казацких могилах  
«Сон-цветок» в полусне одиноко цветет.  
Он живой, но сухой. Он угаснуть не в силах,  
Но весна для него не придет...

\* \* \*

...Воз тонет в зелени, как челн в равнине вод,  
Меж заводей цветов, в волнах травы плывет,  
Минуя острова багряного бурьяна...

\* \* \*

...Растет, растет могильная трава,  
Зеленая, веселая, живая,  
Омыла плиты влага дождевая,  
И мох покрыл ненужные слова...

\* \* \*

...Брат в запыленных сапогах  
Швырнул ко мне на подоконник  
Цветок, растуший в парáх,  
Цветок засухи — желтый донник.

Я встал от книг и в степь пошел...  
Ну да, все поле — золотое,  
И отовсюду точки пчел  
Плывут в сухом вечернем зное...

\* \* \*

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,  
И лазурь, и полуденный зной...  
Срок настанет — господь сына блудного спросит:  
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»

И забуду я все — вспомню только вот эти  
Полевые пути меж колосьев и трав —  
И от сладостных слез не успею ответить,  
К милосердным коленям припав...



Муза, крапиву воспой...

На мой взгляд, крапива — одно из самых любопытных растений. Во-первых, зачем ей жалиться? А между тем природа ничего напрасно не делает. На что уж бесполезной у нас считается слепая кишка. Атавизм, пережиток, излишество. Начали в Америке удалять ее в младенческом возрасте, чтобы потом взрослому человеку не нужно было хлопотать и заботиться. И что же? Развитие ребятишек без слепой кишки пошло ненормальным путем. Заметили нежелательные отклонения. Пришлось

отказаться от самонадеянного вмешательства в дела природы: молодые американцы растут все с аппендиксами.

Пчелиное жало объяснено, змеиный яд понятен, ядовитые колючки некоторых рыб не вызывают никаких крикливо толков. Но зачем жжется крапива? Защищая себя? От кого? Почему другие соседние травы обходятся без такой защиты и процветают? Да и какой вред крапиве, если ее съест какое-нибудь травоядное существо? Чтобы ее извести, нужны не благодущная корова, не лось, не коза, а железо, огонь, терпенье и многие годы.

Шипы на розовом кусте, но ведь там цветок, и какой! Каждый, кто увидит, потянется сорвать и понюхать. Но и шипы на розе появились, надо полагать, задолго до человека. И оказались они, между прочим, с точки зрения защиты от человека, праздными. Человек все равно выращивает и срезает розы и вывел 7000 (семь тысяч) сортов. Нет, непонятная, непонятная трава крапива. Кстати, насчет невзрачности ее я не согласен. Один раз сидели на лавочке и разговорились.

— Ну, знаешь! Это надо уж до чего дойти, чтобы утверждать, будто крапива красавица! Тогда не надо было бы выращивать георгины, нарциссы, маки... Крапива сама везде растет, только любуйся.

Я отошел за угол дома, сорвал три высоких свежих стебля крапивы, унес их в дом, поставил в высокую узкую

вазу, установил около золотистой тесовой стены. Свет падал удачно, сбоку: не плоское, а объемное освещение. Пригласил друзей-спорщиков.

Зубчатые, немного никнувшие листья, расходящиеся парно, во многих местах четырехгранного стебля, полнокровная<sup>1</sup> темная зелень, сила и мощь в сочетании с несомненным чувством личного достоинства произвели на всех нас, смотрящих, сильное впечатление. Мы стояли и любовались. Чем дольше любовались и вглядывались, тем больше хотелось смотреть. Реплики стихли. Наступило безмолвное созерцание.

— Она прекрасна! — сказал наконец поэт. — Она прекрасна, и пятна нет на ней.

— А зачем же мием и не смотрим?

— Кто-то из великих мужей сказал, что если бы следки было мало, она считалась бы самым тонким и редким деликатесом.

— Ничего, скоро будет! — пошутил один из нас, уже безотносительно к нашей крапиве и разрушая атмосферу очарования.

Но можно ли крапиву не мять. С первых шагов (если в деревне) преследует мальчишек досадная, злая трава — крапива. Мяч закатился обязательно в крапиву. Надо лезть и доставать, обжигаясь. Рвешь малню (в особенности в лесу), руки и ноги остерекает крапивой. Провинился — можно получить крапивою по ногам, а то и повыше, тем более если провинился перед чужими людьми, например залез в огород. Пошлют полоть гряды: попадаетея под руки чрезмерно злая мелкая крапивка, которая и растет только в грядках вместе с сорной травой. Белые на руках волдыри нестерпимо горят, а потом, опадая, зудят и чешутся. Ловишь рыбу на удочку, захочешь вытереть руки о траву (не спуская глаз с поплавка), непременно попадешь руками на злую приречную крапиву.

Не там же, около утренней реки, близ воды, дышащей теплом и туманом, в кустарнике, во влажном утреннем микроклимате до чего же крепко, до чего же хорошо пахнет крапива!

Саша Косицын, когда в Москве начнем вспоминать наши места и речку, текущую через лес, все время обращается к одному и тому же вопросу:

<sup>1</sup> В слове «полнокровная» нет никакой метафоры. Сейчас найдена и доказана идентичность растительного хлорофилла и животного гемоглобина.

— Слушай, чем это пахнет, какой травой, когда сидишь утром у воды? На мяту как будто не похоже...

— Мятой пахнут руки, когда вытираешь их о траву. А в воздухе пахнет обыкновенной крапивой.

— Да ну?!

И вот теперь еще один немаловажный вопрос.

Крапива водится в кустарниках, по берегам речек, в зарослях лесной малины, в лесных оврагах, называемых у нас буераками.

В чистом поле, среди ржи, овса, гречки, гороха крапивы не видать. На чистом лугу, среди луговых цветов и трав крапивы не встретишь. Вдоль проселочных, полевых дорог крапивы нет. Она изменяет своим местам обитания только для того, чтобы поселиться около человека.

Как только признак какой-нибудь человеческой деятельности, как только человеческое жилье, крапива уж тут как тут. Главным образом, ее привлекают признаки строительной деятельности.

По существу, крапива — лесная трава. Но ведь медуница не выходит из леса на стук человеческого топора или молотка. Ландыш не выманишь из-под сени леса. Кислица, грушанка, лесной колокольчик тверды в своих привязанностях и привычках. Но крапива немедленно покидает свои буерачные, береговые, овражные уголья и появляется перед человеком, как только почувствует его близость.

Выкопайте колодец среди чистой поляны, вокруг которой на километр не росло ни одной крапивинки, тотчас ваш колодец окружит зеленой толпой неизвестно откуда взявшаяся крапива. Поставьте сруб, соорудите погреб, поднимите забор, сложите поленицу дров, высыпьте корзину щепок или другого мусора, крапива уж тут как тут!

Может быть, она знает, что где есть человек, там возможны и разные человеческие бедствия: пожар, война, голод, болезнь? Может быть, она заранее предлагает себя на выручку, как весьма питательная и целебная трава (во много раз питательнее капусты)? Ведь она особенно буйствует там, где действительно замечается человеческое бедствие, неблагополучие. О, раздолье крапиве от края и до края России на месте исчезающих домов, деревень и сел! Ну, положим, крестьяне-то многие, колхозники уезжают из деревень не от голода, не от чумы, не от крайней нужды, а по очень сложным причинам, благодаря очень сложным процессам, происходящим теперь, уезжают в города, на-



копив денег и покупая в городах дома, уезжают, засасываемые растущей промышленностью (и потому, что ослабли корешки, привязывающие к земле, а то и пооборвались), но крапива, конечно, не может разобраться во всех социологических тонкостях. Она видит, что исчезают дома, оставляя после себя ямы и кирпичные трубы, она думает, что тут бедствие, неблагополучие, и набрасывается, и растет, и жиреет на покинутых пепелищах, в то время как бывшие хозяева домов благополучно работают на заводах, ходят в кино, забивают «козла», потягивают пиво у фанерных киосков. Не умнее же крапива наших социологов и экономистов, которые утечку деревни считают не бедствием, а неизбежным, закономерным процессом?

Или, может быть, крапива набрасывается на следы человеческой деятельности из других побуждений. Может быть, природа велит ей: «Иди и все исправь. Сделай как было». И вот на брошенных местах, на ямах от бывших домов крапива будет расти десятки лет, пока всякий след человека не переработает в себе так, что будет здесь опять бескрапивное, но и безмусорное место. Зарубцется рана, сотрется след. Правда, говорят, что и до сих пор ученые-археологи именно по крапиве определяют стоянки древних викингов в Европе. Но что природе пятьсот лет и куда ей торопиться?

В присланной мне тетради одного ученого старичка профессора, впрочем, я вычитал следующие, не очень привычные для нормальной современной научной речи слова о крапиве: «Растет на почве, испорченной человеком, исправляя ее, подготавливая для других растений. Это сильное растение, но замкнутое. Оно не выказывает своей силы во вне, например, в виде цветов, а заключенную в ней красоту выявляют бабочки, личинки которых питаются листьями крапивы («павлиний глаз», «крапивница»). Крапива напоминает некоторых людей, которые делают нужную работу, делают много хорошего, но не показывают этого (см. с. 54 этой тетради)».

На странице 54 я прочитал еще и следующее. Как говорится, за что купил, за то и продаю.

«Крапива растет всюду, где есть люди. Она стоит перед нами исполненная серьезным, даже несколько отчужденным спокойствием, глубоко связанная с теми силами, внешним выражением которых является ветер. Самое важное и самое существенное в крапиве — это живущий в ней сильно выраженный железистый процесс. Этот процесс

железа придает крапиве, с ее темно-зелеными листьями, такой исполненный достоинства вид.

Сущность крапивы в том, что в ней совершается процесс, обратный процессу образования крови в человеке. Она — страж интенированного в крови человеческого существа, регулируя действие силы тяжести и обратной ей силы подъема... Медицина применяет ее для очистки крови...»

Дальнейшее оставляю в тетради на той самой 54-й странице, равно как и на совести профессора.

Каждый год в мае я боюсь прозевать крапивный сезон. Крапива едва ли не самая первая показывается из черной, бестравной в то время земли и растет очень быстро. Значит, если принять нашу шуточную первую теорию, что крапива идет на выручку человека, то в этом мы найдем полное совпадение, потому что если бы выпала голодная зима и если бы пережившие ее люди стали с воодушевлением и надеждой глядеть, чем им поможет весна, природа, то первыми они увидели бы яркие сочные кустики крапивы, растущие не по дням, а по часам, так и прущие из земли, словно вот именно спешат на выручку.

Очень важно приехать в это время в деревню, чтобы захватить крапиву молодой, нежной и сочной.

Вооружившись ножницами и посудой, например решето, я иду в сад. Там и тут под вишеньем, около старой избушки, около малины сотворились из мягкого апрельского тепла и волгои земли, соткались из солнечного воздуха и налились соком и зеленью кустики крапивы. Они пока что выглядят как кустики, а не как сплошные высокие заросли. Возьмешься пальцами левой руки осторожно за верхушку, а ножницами чиркнешь под третью пару листьев. Оставшееся в левой руке бросишь в решето или блюдо.

Когда суп, какой бы он ни был, готов и можно нести его на стол, надо бухнуть в кипящую кастрюлю ворох свежей, мытой крапивы. И как только кипенье в кастрюле, усмирившееся на несколько минут прохладной крапивой, возобновится, снимают кастрюлю с огня, разливают густое, зеленое хлебово по тарелкам. Весенняя, майская целебная и питательная еда готова. Крапива остается и в тарелке ярко-зеленой, кажется даже еще ярче, чем росла на земле. Она как живая, только что не жалится.

Правда, Володя Дудинцев запротестовал, когда я поделился с ним столь простым и эффектным рецептом.

— Нет. Надо откинуть ее и протереть через дуршлаг или решето, а в тарелку обязательно положить половинку крутого яйца. И положить его желтком кверху.

— Зачем?

— Ну как же... красиво.

Муза, крапиву воспой... Но все же настоящую оду крапиве я вычитал в травнике В. Махлаюка. И написана она там суховатыми деловыми словами. И никакой поэтический этюд не заменит в данном случае точных конкретных знаний. Вот она, эта ода.

«Применение. Крапива широко применяется в народной медицине разных стран. Русская медицина использовала ее еще в XVII веке и высоко ценила как хорошее кровоостанавливающее и ранозаживляющее средство.

Крапива обладает мочегонным, слабительным, отхаркивающим, противосудорожным, противовоспалительным, «кровоочистительным», кровоостанавливающим и ранозаживляющим средством. Она усиливает деятельность пищеварительных желез и выделение молока у кормящих женщин. Крапива увеличивает процент гемоглобина и количество эритроцитов в крови. Имеется указание, что отвар листьев может понижать содержание сахара в крови.

В русской народной медицине и народной медицине других стран водяной настой и отвар крапивы применяют при болезнях печени и желчных путей, почечно-каменной болезни, дизентерии, водянке, хронических запорах, простудных заболеваниях, болезнях дыхательных путей, геморрое, остром суставном ревматизме, подагре. Настои крапивы употребляют также, как внутреннее «кровоочищающее» средство, улучшающее состав крови при лечении различных кожных заболеваний (лишаев, угрей, фурункулов). Отвар листьев с ячменной мукой пьют при грудных болях.

В смеси с другими травами крапиву используют при туберкулезе легких. Листья крапивы входят в состав различных желудочных, слабительных и поливитаминных сборов.

Водный настой крапивы издавна применяют при геморроидальных, маточных и кишечных кровотечениях.

В последние годы крапиву стали применять и в научной медицине при маточных и кишечных кровотечениях в виде жидкого экстракта. Клиническая проверка показала, что он не вызывает никаких вредных явлений. Жидкий экстракт обладает также мочегонным, противолихорадоч-

ным и противовоспалительным действием. Для повышения свертываемости крови рекомендуется применять смесь жидких экстрактов крапивы и тысячелистника. Кровоостанавливающее действие крапивы объясняется наличием в ней особого антигеморрагического витамина К, а также витамина С и дубильных веществ.

Отвар корневищ и корней крапивы двудомной в народной медицине применяют внутрь при фурункулезе, геморрое и отеках ног, а настой корней — как сердечное средство. Обсахаренные корневища крапивы употребляют также при кашле.

Настой корней жгучей крапивы применяют для лечения туберкулеза. Настой цветков крапивы двудомной в виде чая пьют от удушья и при кашле для отхаркивания и рассасывания мокрот.

Крапива является не только внутренним, но и наружным кровоостанавливающим средством и ранозаживляющим средством. Инфицированные раны скорее освобождаются от гноя и быстрее заживают, если их присыпать порошком крапивы или прикладывать к ним свежие листья. Отвар всего растения применяют наружно для обмывания и компрессов при опухолках. Высушенные и размельченные листья используют при носовых кровотечениях, а свежими листьями уничтожают бородавки.

Во Франции настой крапивы втирают в кожу головы для роста и укрепления волос при их выпадении.

Еще в отдаленное время крапиву в народной медицине употребляли в качестве кожного раздражителя (то есть фактора рефлекторной терапии).

Листья крапивы благодаря содержанию в них фитонцидов обладают свойством сохранять быстропортящиеся пищевые продукты (например: выпотрошенная рыба, набитая и обложенная крапивой, сохраняется очень долго).

Молодые побеги крапивы (стебли и листья) используют для приготовления зеленых щей. На Кавказе из вареных измельченных листьев крапивы, смешанных с толчеными грецкими орехами и пряностями, готовят вкусные национальные блюда.

Крапива является также весьма ценным кормом для домашних животных. Она стимулирует их рост и развитие. Коровы, получая крапиву, дают молока больше и лучшего качества. У кур увеличивается яйценоскость.

Из лубяных волокон крапивы можно изготовить грубые ткани и веревки (и готовили раньше. — В. С.).

Крапива обладает многосторонним действием на организм человека и заслуживает широкого применения в медицине». Уф!

## ИЗВЛЕЧЕНИЯ

М. Метерлик



«Они интересны и непонятны. Их туманно зовут «сорными травами». Они ни на что не нужны. Там и сям, в глуши старых деревень, некоторые из них ждут еще на дне банок аптекаря или торговца травами прихода больного, верного традиционным настойкам. Но неверующая медицина пренебрегает ими. Их больше уже не собирают по обрядам старины, и наука «зихарок» изглаживается из памяти добрых женщин. Против них объявили беспощадную войну. Крестьянин их боится, плуг их преследует; садовник их ненавидит и воору-

жился против них звонким оружием: лопатой, граблями, скребками, киркой, мотыгой и заступом. На больших дорогах, где они ждут последнего убежища, прохожий давит их, телега их мнет. Несмотря на все — вот они, постоянные, уверенные, кишашие, спокойные, и все они готовы откликнуться на призыв солнца. Они следуют за временами года, не ошибаясь ни одним часом. Им неведом человек, истощающий силы, чтобы покорить их, и как только он отдыхает, так они вырастают на его следах.

Они продолжают жить — дерзкие, бессмертные, непокорные. Они наполнили наши корзины чудесными переродившимися дочерьми, но сами бедные матери остались тем же, чем были сотни тысяч лет назад. Они не прибавили к своим лепесткам ни одной складки, не изменили формы пестика, не изменили оттенка, не обновили аромата. Они хранят тайну какой-то упорной власти. Это вечные прообразы.

Земля принадлежит им с начала мира. В общем, они олицетворяют неизменяемую мысль, упрямое желание, глав-

ную улыбку земли. Вот почему их надо спросить. Они, очевидно, хотят нам что-то сказать. Кроме того, не забудем, что они первые, вместе с зарей и осенью, с весной и закатами, с пением птиц, кудрями, взором и божественными движениями женщины, научили наших отцов, что на земном шаре есть бесполезные, но прекрасные вещи».

\* \* \*



Тем, кто приезжает ко мне в гости в Алеппо, я даю заполнять анкету. Не гостиничную, не служебную: год и место рождения, национальность и образование, но свою, придуманную анкету — шестьдесят шесть вопросов. Она интересна и мне и тому человеку, который ее заполняет. Потому что надо же хоть раз в жизни сесть над белым листом бумаги и задуматься о том, какие у тебя любимые цветы, дерево, явление природы; какой исторический подвиг тебя наиболее восхищает, какую книгу ты ценишь больше других, судьба какого исто-

рического лица представляется тебе наиболее трагичной или в чем ты видишь идеал государственного устройства...

Так вот о цветах. Чаще всего в анкете отвечают друзья: ромашка, василек, ландыш, роза. Встречается незабудка, есть анютины глазки, есть гладолус, гвоздика, донник... Если продолжать эту анкету, начнут встречаться, вероятно, жасмин, сирень, черемуха, хризантемы, мак... Естественно, есть более или менее установившийся круг популярных и любимых цветов.

Но однажды за чашкой чая в Москве зашел разговор о цветах, в частности о любимых. Помнится, так был поставлен вопрос: если бы заказать художнику картину, чтобы висела в доме, какие цветы вы предпочли бы видеть изображенными на картине?

— Лютик! — воскликнула Татьяна Васильевна. — Я бы хотела лютик!

Ее восклицание прозвучало неожиданно. Почему — лютик? Но с другой стороны — почему бы и нет?

Я стал вспомнить лютики, их глянцевики, лаковые лепестки, хотел представить, как они выглядели бы, написанные художником, но представился мне не букет лютиков, а наш летний луг. Ведь именно по этим цветам можно узнать летом, где и как текли через наш луг весенние мутные воды. Сначала они текут по дну оврага узким и бурным ручьем, потом, попадая на плоский луг, разливаются мелкой ширью, но все же не теряют лица потока. Всегда, даже на ровной земле найдется ложбинка чуть-чуть поглубже остального места, а такую ложбинку всегда найдет вода. Так, то разливаясь, то вновь сужаясь, то дробясь на несколько полос, то вновь собираясь в одну, вода добирается до крутого берега реки. Здесь она снова предстает мускулистым хлещущим потоком и падает шумом в большую речную воду, чтобы потеряться в ней, но зато в конце концов достичь моря. Потечет вода к далекому Каспию, частица ее (ну хоть стакан), возможно, неизбежно известным Волго-Доном попадет и в Черное море, и, сделавшись соленой и синей, гуляя там на белопенном просторе, забудет вода наш зеленый лужок, и как текла через него, пробиралась к реке, и как ходил по ней Серега Тореев в резиновых сапогах, и как ваш покорный слуга перепрыгивал через нее, опираясь на можжевелевую витневатую палку, и как успела она косым отражением отрезать и поддержать в себе крутой бугор с темными елочками на нем, и как пахла апрельская луговая земля, по которой она текла.

Но луг ее не забудет до самой осени. Там, где она текла темными потоками, загустеет трава, золотыми потоками зацветут лютики. И получается, что лютики — это воспоминание земли о весенней воде.

Конечно: эти дружные лаковые цветочки цветут не только на лугу, на месте мутных весенних ручьев, но и в саду, и около дороги, и на лесных полянах. Они, выражаясь казенно, активно участвуют в создании летней цветочной гаммы и тем не менее как-то умудряются не бросаться в глаза. Много поляны, цветущей лютиками, пройдеши, не обратив на нее особенного внимания, как никогда не прошел бы мимо поляны, цветущей купальницами, ромашками и даже одуванчиками. Но Татьяна Васильевна воскликнула: «Лютик! Я бы хотела лютик!» — и с этим ничего не поделаешь. Попал в любимые.

То же самое случалось у меня несколько раз со стихами и рассказами. Про некоторые думаешь: включать их в сборник или не включать? Не очень-то удались. Без них и сборник как будто цельнее, крепче. Пожадничаешь и оставишь, не выбросишь. А потом приходит читательское письмо. Оказывается, одно стихотворение, которое не хотел включать, кому-то (пусть хоть одному человеку) понравилось больше других.

То же самое случается и с людьми. Смотришь — невзрачная, некрасивая девушка, пожалеешь даже ее, а она, глядь, замужем पहले красавицы. Значит, для самой дурнушки дело не безнадежно. Всегда найдется человек, который разглядит в ней некую, только ему видную красоту и полюбит.

А вовсе некрасивых цветов, как известно, не бывает.

\* \* \*



Одуванчики цветут с весны и до осени. В течение целого лета не выберешь дня, когда нельзя было бы увидеть этот цветок. Но все же бывает в мае пора, когда разливается по земле их первая, самая дружная, самая яркая волна.

Москвичи, поезжайте в Коломенское! В ранние утренние часы солнце смотрит там со стороны Москвы-реки, со стороны знаменитого «Вознесенья», и вам придется пройти сначала всю зеленую поляну до музея, до вторых ворот, а потом оглянуться.

Справа вы увидите старинную медоварню, сложенную из неправдоподобно толстых бревен, темных, словно пропитавшихся медом, с которыми столь удачно сочетается омывающая их зеленым прибоем трава.

Прямо, на противоположном от вас конце ровной поляны, на другом ее как бы озерном берегу, стоит белосахарная, с очень синими (во всяком случае, синее майского неба) куполами Казанская церковь. Все простран-



ство между вами и ней (а справа бревенчатая медоварня) мягко и ласково ослепит вас чистым теплом золотого одуванчиков.

Не мудрено и в других местах увидеть цветущие одуванчики и даже в таком количестве и в такой, я бы сказал, равномерной распределенности, но не везде в золотое озеро их глядится душистая бревенчатая медоварня и сахарно-голубая церковь. Кажется, что и одуванчики здесь не расцвели вчера, а остались вместе с самим Коломенским от семнадцатого века.

Со всех сторон, из-за вишневых садов, из-за дубового парка, из-за Москвы-реки и со стороны шоссе, надвигается шум и скрежет наступающего города, который с каждым годом все туже стягивает кольцо. И уже дрожит и надтреснуто дребезжит от этого грохота одуванчиковая коломенская тишина. Скоро, не выдержав напора, она расколется, разлетится вдребезги. Торжествующий и злорадствующий шум нахлынет и погребет ее под собой, возможно, вместе с одуванчиками.

Один мой знакомый высказал в разговоре мысль, что всякий цветок так или иначе видом своим или по крайней мере схемой стилизует солнце. Словно миллионы маленьких детей взялись рисовать его, кто как может. У всех получается по-разному, но в основе каждого рисунка — кругленький центр, а от него в разные стороны — лучи. Кругленький центр то маленький, то большой, лучи то узкие, то широкие, полукруглые, то их много, то пять или шесть, то они белые, то красные, то синие, то как само солнце.

Мысль приблизительная, но позабавиться можно. Хотя и некуда деть при этом ни клеверной шапки, ни орхидей, ни всех, так называемых, мотыльковых, ни злаков, ни какой-нибудь там кошачьей лапки. Но вот что правда, то правда — одуванчик срисован с солнца.

Не будем сейчас думать о том, что, сорвав и держа стебель, мы держим вовсе не один цветок, а соцветие, корзину, как выражаются ботаники, и что один цветок представляет из себя тонюсенькую трубочку с зазубренными краями (неужели вы пошлете меня изучать незабудку!). Но, глядя на поляну и видя ее всю золотой, невозможно освободиться от впечатления, что некий художник-гигант окунал свою кисть прямо в солнце и разбрызгивал его по зеленой земле.

Еще больше это похоже на бесчисленные зеркальца, в

каждом из которых отражается солнце. Сходство дополняется еще и тем, что, когда солнце уходит надолго или на ночь, одуванчики закрывают свои цветы, гаснут, поляна отражает теперь лишь монотонное потемневшее небо.

Поворачиваются за солнцем в течение долгого дня почти все цветы, но закрываются при отсутствии солнца очень редкие, и в том числе и в первую очередь одуванчики.

Никто не знает (и, вероятно, никогда не узнает), зачем понадобился одуванчику стебель в виде тонкостенной трубки вместо обыкновенного, зеленого шершавого стебля. Но зато всякий знает, зачем у него появится потом округлая пушистая головка. В человеческое сознание это растение входит, может быть, больше именно этой пушистой головкой, нежели самим цветком. У него и название не по цветку (скажем, могло бы быть желтоцвет, солнццвет, солнечник и т. д.). А — одуванчик.

Когда Александру Твардовскому понадобилось найти для поэмы «Дом у дороги» признак жизни, земного бытия и земной радости, то от имени новорожденного человека он произнес такие слова:

Зачем мне знать, что белый свет  
Для жизни годеи мало?  
Ни до чего мне дела нет,  
Я жить хочу сначала.  
Я жить хочу, и пить, и есть,  
Хочу тепла и света,  
И дела нету мне, что здесь  
У вас зима, не лето...  
Я на полу не двигал стул,  
Шагая вслед неловко,  
Я одуванчику не сдул  
Пушистую головку.  
Я на крыльцо не выползал  
Через порог упрямо,  
Я даже «мама» не сказал,  
Чтоб ты слыхала, мама!

Как видим, наш скромный «протез» один удостоился встать рядом с такими многозначимыми вечными ценностями, как свет, тепло, первый шаг, первое слово и даже мама.

В самом деле, при слове «одуванчик» не большинство ли увидит мысленным взглядом не желтый цветок (хотя бы и с пчелой, старательно ползающей по нему), но белый пушистый шарик, а некоторые наиболее внимательные

еще и белую припухлую лепешечку, в черных дырочках, которая остается после того, как дунешь на одуванчик и целый парашютный десант начнет медленно опускаться на землю с высоты вашего роста, вашей поднятой вверх руки.

Парашютный десант. Парашют мы изобрели в двадцатом веке. Одуванчик изобрел его миллионы лет назад. Можно утверждать, что природа нашла его на ощупь, со слепу, но прежде надо положить один-единственный парашютик на ладонь или на лист бумаги и разглядеть его, по возможности в лупу.

Мы увидим, что вся графика этого удивительного приспособления достойна самого точного и красивого чертежа. Не говоря о инженерных, математических расчетах. Вес семечка, длина ножки, площадь зонтика, все находится в строгом математическом соответствии, и если бы современные инженеры при помощи логарифмических линеек и счетных машин взялись рассчитать подобный воздухоплавательный аппарат с точки зрения оптимальности его пропорций, то они пришли бы к пропорциям и формам аппарата, который вы держите на своей ладони и которые во множестве летают по воздуху в ветреный летний день.

Впрочем, есть варианты. У мать-мачехи тоже парашют, но ворсинки у нее начинаются прямо от семечка и расходятся конусом, отчего все приспособление похоже на мяч бадминтона, называемый еще воланчиком. Козлобородник ближе к одуванчику, но так как семечко у него тяжелее и больше, то и весь парашют, согласно конструкторским перерасчетам, соответственно увеличен в размерах. Есть и совсем «ленивые» варианты — бесформенный клочок пуха, а семечко спрятано в серединке. По сравнению с этим комочком пуха парашют одуванчика — как если бы сверкающее четкими никелированными спицами велосипедное колесо рядом с кругляшком, отпиленным от бревна, который тоже может катиться по земле и катали, бывало, насадив его на гвоздь и прикрепив к палке.

Представляю себе разговор, когда, разработав проект и все рассчитав, инженер-конструктор принес чертежи на утверждение какому-нибудь конструктору главнее его.

— Все хорошо, — сказал главный конструктор, — но если семечко, отлетев по ветру, уже упало на землю, стоит ли ему подниматься снова и лететь дальше?

— Понял. Сейчас поправлю.

На новом чертеже семечко, гладкое в первом случае,

было снабжено мелкими острыми зазубринками, чтобы крепче держаться в почве.

— Вот видите, мелочь, а из-за нее могло нарушиться равновесие в природе. Хорошо. Утверждаю. Да будет так.

И миллиарды веселых белых пушинок полетели по ветру над зеленой землей, чтобы бесконечно зажигались на ней все новые и новые цветы, похожие на маленькие солнышки.

Между прочим, салат из молодых листьев одуванчика, как о том пишут во многих книгах, действительно съедобен и, наверно, питателен. Чтобы удалить из листьев их горьковатый вкус, французы рекомендуют класть их на полчаса в соленую воду. Тут дело вкуса. Из лука, например, мы не стараемся удалить горечь, но лишь смягчаем ее сметаной, маслом, другими овощами и травами.

\* \* \*



Возьмите три сердечка, какими их рисуют, когда хотят пронзить стрелой на открытке или какими обозначают червонную масть на игральных картах, и три эти сердечка соедините остриями в одной точке. Сделайте эти соединенные сердечки нежно-зелеными, посадите их на тонкий стебелек пяти — семисантиметровой высоты — и вы получите кислицу, или заячью капусту, изящное, милое растение, украшающее тенистые, преимущественно хвойные, а еще преимущественнее словые леса.

У других трав листья сидят на стебле по всей длине (как у крапивы) или расположены розеткой около самой земли (как у одуванчика), а здесь — особенно. Стебелек гладкий, словно стеклянный, полупрозрачный, розоватый, а ближе к земле темно-розовый до красного. Нет на нем ни чешуйки, ни ворсинки. Он весь как медная проволочка. Венчается же тремя листочками, о которых шла речь.

Листочки, под воздействием тайного механизма, нагнетающего в них упругость и силу, то распрямляются и держатся горизонтально земле, парят, то все три поникают и повисают вдоль стебелька.

Заросли непоникшей кислицы больше всего похожи на пруд, затянутый ряской, потому что все листочки держатся плоско, на одном уровне и образуют ровную зеленую гладь, светло-зеленую, светяще-зеленую, контрастно-зеленую в царстве темных, почти черных тонов замшелого елового леса. В самом деле, где проглянет черно; стволы деревьев темно-коричневые, хвоя темная, сумрачная, воздух сам — полумрак. Только кислица и светится около земли, как если бы устроили снизу скрытую электрическую подсветку.

Взяв за листочки, легко выдернуть растение вместе с длинненьким стебельком, который чем ниже, тем краснее, но, с другой стороны, прозрачнее, стекловиднее. Надергав несколько штук, свернешь их в комок да и отправишь в рот, станешь жевать. Кислота щавеля покажется грубой и какой-то шершавой после тонкой, острой, с примесью явственной сластинки кислоты заячьей капусты. Но как и щавеля, много не съешь. Да, говорят, и не нужно есть ее в большом количестве.

Считается, что эта трава — барометр, и очень точный. К дождю складывает свои листочки. Зная это, я стал поглядывать на нее в лесу. Вижу — листочки сложены. Вот беда. Завтра нужна была бы хорошая погода. Прошел сто шагов — листочки развернуты. Что за притча!

Несколько дней морочила мне таким образом голову кислица. Потом однажды, выйдя на обширные заросли ее, я догадался, в чем дело. На ровной, зеленой плоскости лежала ровная лесная тень. Но были и светлые пятна, от солнца, пробившегося сквозь еловые ветви. И вот ясно было видно, что в тени листья кислицы расправлены и блаженствуют, а в солнечных пятнах поникли, словно боясь обжечься. Ну и правда, очень нежна эта травка. Нельзя ей выставляться на яркий и горячий солнечный свет.

В мае кислица выгоняет еще один стебелек, тоньше своего основного стебля. Он поднимается выше зеленой плоскости листьев, но все равно в лесной тени был бы почти не виден, если бы на нем не распускался очаровательный белый колокольчик.

Белый-то он белый, но если сорвать и разглядеть на

свету, весь окажется в сиреневых прожилках и, как водится, желтенькие тычинки в глубине колокольчика.

Таким образом, вот картина в еловом лесу: ровная «ряска» кислицы, а над ней на невидимых стебельках повисают в темном воздухе мирнады маленьких колокольчиков.

Нисколько не хуже, когда около старого трухлявого пня встретишь иной раз отдельную стайку кислицы с шапку величнейшей, но яркую, свежую, и несколько колокольчиков, парящих над ней. Тогда жалеешь, что только один ты и увидел эту маленькую лесную сказочку.

\* \* \*



Травка, о которой пойдет речь, так неказиста и незаметна, что, конечно, никто, кроме специалистов-ботаников и знахарей (а в средние века ею очень интересовались еще и алхимики), не выделял бы ее из общей летней травы, если бы не маленькая особенность, не одно ее чудесное свойство.

Цветов у нее как бы и нет. Даже собравшись несколько штук в один клубочек, они не производят впечатления цветка. Клубочек получается величнейшей с ягодку лесной земляники, а цветом зеленовато-желтоватый. Эта-

кая невзрачная шишечка. Что уж говорить про каждый отдельный цветок, зелененькую спичечную головку. А между тем — семейство розоцветных.

Смотришь и думаешь, неужели это в буквальном смысле бесцветное существо (зеленый цвет — не цвет для цветка) прямая и близкая родня царнице цветов, и не просто родня, но из одного с ней семейства.

В одной любопытной книжке (на русском языке ее нет) я вычитал более поэтическое, чем научное, соображение, будто все цветы делятся на две основные сферы и строятся по двум основным схемам: пятилучевой и шестилучевой.

Во главе первой группы (независимо от принятой бо-

таинческой классификации) стоит роза (пять лепестков), во главе второй — лилия (шесть лепестков), и так они царствуют, две царицы цветочного царства. И как бы ни был мал иной цветок (незабудка, например, или ландыш), все равно либо та, либо другая схема, то или другое подданство.

Попробую процитировать в приблизительном переводе с немецкого:

«Кульминациями этих двух классов являются возглавляющие их Роза и Лилия. Они — королевы в своем царстве. Подобно Солнцу и Луне господствуют Роза и Лилия в царстве растений. Они несут в себе сияние прадревних культур. Мудрецы Востока старались над их введением в культуру. Все лилии несут в своем цветке шестиконечную звезду Заратустры. Но все плоды и ягоды происходят от розы. Из них выделены и наши хлебные злаки...»

Трудно принимать всерьез подобные рассуждения, тяготеющие к космическому происхождению земных растений и даже всей жизни на Земле, но сама по себе идея двух великолепных цариц невольно привлекательна и красива.

Впрочем, говоря о нашей маленькой травке, мы имели в виду сухую научную классификацию, по которой без всяких дополнительных и едва ли не метафизических идей манжетка обыкновенная безоговорочно принадлежит к семейству розоцветных.

Представим себе, что соберется розоцветное семейство, ну, хоть на выставке, если бы люди захотели устроить такую выставку. Почетное тронное место заняла бы, конечно, роза — семь тысяч сортов и столько же цветовых оттенков. Бархатные, шелковые, просвеченные солнцем, с темной тенью, залегающей в складках лепестков, белоснежные, желтоватые, желтые, пурпурные, пунцовые, бордовые, алые, черные, лиловые... Не хочет быть роза только голубой. Ну, это уже ее дело.

В сторонке скромно расположится, прядя на сбор розоцветных, шиповник, называемый, правда, в ботанике розой собачьей, но от которого и произошли, собственно говоря, все семь тысяч махровых сортов. Как будто съехались городские красавицы в модных нарядах, ослепляют и завораживают, но, храня достоинство, сидит в сторонке приодетый для праздника деревенский дед, от которого и пошло все это яркое, пышное потомство.

Не ударит в грязь лицом на празднике розоцветных и яблоня, когда белой невестой встанет она на весенней тихой заре и розовато светится и манит пчел.

Не бедной родственницей на речном берегу, над темной лесной водой, заглядевшись в черное зеркало, обольется белым цветом черемуха.

Ярко-розовый персик (цветущее дерево), миндаль, вишня и слива — у каждого дерева своя статья, у каждого цветка своя пора, свое место под солнцем, своя тихая безмолвная гордость.

Спустимся ниже. Кустик лесной земляники, пришедший на смотр розоцветных, скромнее, конечно, цветущего миндаля, но он с достоинством предстал перед светлыми очами самой царицы: хотите гоните, а я — ваш. А в общем-то, если посмотреть, чем мои пять белых и чистых лепестков отличаются от таких же белых лепестков цветущего вишня? Их больше. Белыми облаками лежат они среди весенней земли, украшая и преображая вид деревень, небольших городов, всего пейзажа. Но, зайдя в сосновый лес, разве не обрадуетесь вы, увидев целые поляны в нашем белом цвету?

Все так. Но что это там у порога за невзрачная травка? Замухрышка и замарашка? Как смела она войти сюда, к розоцветным? Гоните нахалку вон!

— Я не виновата, — чуть слышно ответила бы невзрачная травка. — Я ваша родня. Я — розоцветная, поглядите в любую книжку.

— У тебя и цветка-то путного нет.

— Что поделаешь. Цветок есть, только он очень мал. Я уж стараюсь, собираю несколько цветков в один клубочек, но и клубочек мой не похож на настоящий цветок, а похож на зеленую, жесткую еще ягоду моей далекой сестрицы лесной земляники. Но я должна сказать, что люди меня знают, выделяют из остальных трав и по-своему любят.

— За что же? Не за родство ли с ними?

— Нет. Дело в том... Что у меня листья.

— Ну покажи, какие-так у тебя особые листья?

— В ученых книгах их называют многолопастными, городчато-игльчатыми, но это ни о чем еще не говорит. Лучше вы поглядите сами.

Наклонившись или подняв до себя, мы увидели бы лист, который не только нам хорошо знаком, но который не однажды пробуждал в нас огонек восторга. Причем



восторг этот относился не к листу, не к растению в целом, а к лугу, через который мы шли к косогору, на который мы смотрели, к утренней заре и, наконец, просто к жизни.

Резной по краям листочек собран в гармошку и свернут воронкой. Покрит мелкими волосками.

— Ну и что особенного в твоём листе? — может быть, стали бы спрашивать знатные родственницы скромную манжетку. — Лист как лист. Все дело, что похожа на воронку.

— На горстку. В моём листе собирается влага. Средневековые алхимики считали, что это самая чистая влага, которая только может быть на земле. Они надеялись, что именно при помощи ее научатся превращать простые вещества в благородное золото. Иногда это моя собственная влага, иногда небесная роса, иногда капли дождя. Со всех ваших листьев вода, как вы знаете, скатывается, а в моём листе собирается. Поэтому, когда люди идут по росистой земле, они видят большие округлые капли светлой влаги, иногда настолько большие, что можно даже схлебнуть губами. Мои ворсинки не дают росе растекаться по всему листу и делать его просто мокрым. У меня так: весь лист сухой, а середка, на дне воронки — округлый упругий шарик, который от собственной тяжести становится плосковатым, сплюснутым, но все равно округлым и серебристым. Я ничего не говорю, красива капля небесной влаги и просто на стебле, на колосе, а тем более на розовом лепестке, но все же без сверканья моих полновесных и драгоценных капель земля проиграла бы в своей красоте.

Если есть на свете роса, значит, кто-то должен собирать ее, чтобы всякий мог насладиться вкусом. Но и роса это еще не напиток по сравнению с той влагой, которую выделяю и дарю миру я сама. И птицы пьют с моих листьев, и дети, и некоторые взрослые, у которых не все еще выхолостилось и заглохло в душе, для которых не все еще свелось к граненому стакану, для которых лес не просто стройматериал и дрова, луг не просто центнеры сена, небо не просто место, где летают самолеты и спутники. А главное — которые не ленятся еще и не стыдятся опуститься на колени перед малой травинкой, держащей в себе каплю влаги, между прочим, и луг, и лес, и самое небо.



«Если встречаются незадачливые и неловкие растения и цветы, то отсюда не следует, что они совершенно лишены мудрости и изобретательности. Все ревностно стремятся совершить свое дело: у всех великолепная, самолюбивая мечта наполнить и завоевать поверхность земного шара, умножая на ней до бесконечности тот вид существования, который они собою представляют. Чтобы достигнуть этой цели, им приходится вследствие закона, прикрепляющего их к почве, преодолевать большие трудности, чем те, которые препятст-

вуют размножению животных. Поэтому большинство из них прибегает к хитростям, к комбинациям, к приспособлениям, которые в смысле механики, баллистики, передвижения, наблюдений, хотя бы, например, над насекомыми, часто предшествовали изобретениям и познаниям людей».

«Если для нас бывает трудно открыть среди обременяющих нас законов тот, который с наибольшей тяжестью давит на наши плечи, то для растений в этом отношении сомнений не существует: это тот закон, который осуждает их на неподвижность со дня рождения их и до самой смерти. Им гораздо лучше, чем нам, рассеивающим свои силы, известно, против чего восставать в первую очередь... Мы увидим, что цветок дает человеку героический пример неповиновения, отваги, упорства и изобретательности. Если бы мы приложили половину той энергии, которую развив маленький цветочек нашего сада, для того, чтобы освободиться от различных давящих на нас неизбежностей... то должны верить, что наша судьба была бы весьма отличной от того, что она представляет из себя теперь».

«...воздушный винт клена, прицветники липы, воздухоплавательный снаряд чертополоха, одуванчика, козлобородка, разрывные коробочки молочая, необычные приспособления ослиного огурца, волокнистые прицепки пушцы и тысячи других неожиданных и поразительных механизмов... нет ни одного семени, которое не изобрело бы какого-нибудь вполне своеобразного способа, чтобы избежать материнской тени...

Есть в этой доброй, толстой головке (речь идет о маке.— В. С.) осторожность и предусмотрительность, достойная самых больших похвал. Известно, что она заключает в себе тысячи маленьких черных семян, крайне мелких. Надо рассеять эти семена насколько возможно удобней и дальше. Если бы коробочка, содержащая их, лопнула, упала или открылась бы снизу, драгоценная черная пыль образовала бы бесполезную кучку у подножия стебля. Но она может выйти наружу только через отверстия, проколотые наверху оболочки. Головка, созрев, нагибается на своей подножке, «кадит» при малейшем ветерке и буквально рассенвает, даже с движениями сеятеля, семена в пространстве».

«Когда наступает время цветения (речь идет об одном водяном растении.— В. С.), осевые мешочки наполняются воздухом: чем более этот воздух стремится выйти, тем плотнее запирает он клапан. Наконец, он облегчает удельный вес растения и выносит его на поверхность воды. Только тогда распускаются прелестные маленькие желтые цветки... Но вот оплодотворение закончено, развивается плод, и роли меняются; окружающая вода давит на клапаны мешочков, вдавливая их, проникает в полость, отягчает растение и заставляет его вновь спуститься на дно.

Не любопытно ли видеть собранным в этом маленьком, с незапамятных времен существующем аппарате некоторые из самых плодотворных и недавних человеческих открытий: механизма клапанов, давления жидкости и воздуха и закона Архимеда, изученного и использованного?.. Инженер, который первый привязал к потонувшему судну подъемный аппарат, не подозревал, что аналогичный прием практикуется уже в течение тысячелетий... пришедшие последними на эту землю, мы только находим то, что всегда существовало; мы, подобно удивленным детям, повторяем путь, который жизнь прошла уже до нас».



Папоротник — орляк

Как размножается папоротник? Дети до 16 лет не допускаются.

Да господи! С пятого класса каждый знает, что папоротник никогда не цветет, а размножается спорами. Поэтому и легенда родилась в народе, будто он все-таки цветет, но только одну ночь в году, а именно в ночь на Ивана Купалу, то есть с 6 на 7 июля по новому стилю. И надо идти в полночь в глухой лес и смотреть на папоротник. И когда он зацветет огнем, то схватить, и это будет разрыв-трава.

Но это все сказки, добавит школьник, потому что папоротник размножается спорами. На обратной стороне листа вырастают ржавые бугорки. Если положить папоротник на бумагу этой стороной, то через некоторое время на бумаге останется коричневая пыль. Даже и не разглядишь, что это пыль, просто лист пойдет бурыми пятнами, сделается как бы грязным. Это и есть споры. Пятьдесят миллионов спор от одного экземпляра папоротника. Теперь представьте себе большой хвойный лес с ореховым подлеском, заросший внизу широколиственными и как бы экзотическими папоротниками, и постарайтесь прикинуть то количество нулей, которое потребуется, чтобы выразить арифметическим числом общее количество спор, просыпанных ежегодно на землю. А ведь должно еще остаться место для семян кислицы, для клубней любки, для пуха одуванчиков, для крыльчаток вяза и клена, для косточек черемух, для шишек сосен и елей, для всех деревьев и трав, мхов и грибов (тоже споры), число видов которых тоже выражается при помощи многих нулей.

Что ж тут удивительного, скажет иной человек, что пятьдесят миллионов спор. Природа щедра. Икришки в утробе налиమ్ей, щучьей и осетровой самки тоже исчисляются миллионами. Природа хочет гарантировать продление и существование вида. Тогда интересно задуматься, сколько от одной любой пары живых существ, извергаю-

щих в океан биосферы миллионы и миллиарды своих зародышей, должно в конце концов произойти и остаться на земле живых особей, производящих в свою очередь потомство. И сколько должно остаться на земле в конце концов этого своеобразного потомства?

Здравый смысл подсказывает, что от слонов и осетров, от горьких лопухов и медведей, от воробьев и муравьев, от саранчи и мышей не должно в конечном счете происходить больше двух штук и ни на одну сотую долю больше.

Два от двух — это допустимый природный максимум. Если будет два с четвертью (мышонка, котенка, василька, ромашки, крапивы, лягушки, карася или комара), то этот вид, как нетрудно догадаться, через некоторое время завалит и задавит своей биологической массой все пространство, отведенное для жизни на земле.

Итак, сколько бы ни было миллионов икринок, спор, семян — все погибнут, чтобы оставить после себя два, максимум два экземпляра живых существ.

Но мы отвлеклись. Мы решили взглянуть, как размножается папоротник, и предупредили при этом, что дети до 16 лет не допускаются. Между тем как раз дети нам и говорят: подумаешь — папоротник! Всякому школьнику известно, что папоротник размножается спорами. Коричневые бугорки на обратной стороне листа... картина ясна.

Ясна-то ясна. Но, оказывается, из спор новые папоротники не вырастают. Сначала происходят события, которые куда как чудеснее, если бы папоротник вдруг и правда зацвел огнем.

Не буду внушать вам, что все это я открыл сам в результате многолетних наблюдений при помощи современных микроскопов. Тогда я был бы не «литератор скромный», а ботаник и доктор биологических наук, никак уж не меньше.

Нет, все проще. Все идет от неутраченной еще до конца способности удивляться. Это и чудно и чудесно. Общие процессы нашего времени касаются и меня. И только некий здоровый консерватизм — врожденный или благоприобретенный, я не знаю — удерживает еще меня на плаву (или, скажем, на отвесе горы), когда все катится мимо: и камни, и комья, и дорогие товарищи мои, а я ухватился за крепкий обнаженный корень сосны, и повис, и остановился, и в глазах у меня вместо катастрофического мелькания неподвижный микропейзаж: ствол сосенки, каменная щель, из которой этот ствол растет, пятно зеленого

мха на камне и белое меловое пятнышко от высохшей птичьей капли.

Кто-то из русских писателей в начале века сказал (приблизительно): «Произошло два события одинаковой важности: люди научились летать и люди разучились удивляться этому».

В Писательском (!) клубе в фойе смотрели в телевизоре, как впервые люди ходят по Луне. По другой программе должен был начаться хоккей. То и дело слышались голоса: хватит! Давай переключай. Подумаешь, ходят!..

Без удивления и я сажусь в самолет, беру в рот леденец, откидываю кресло. Иногда только спохватишься: мать честная! Иногда только на пролетающий самолет посмотришь глазами моих деревенских пращуров, ну хоть четырнадцатого, пятнадцатого века (наше село упоминается уже в двенадцатом): зашумело, загрохотало, все высыпали из домов, бегут к церкви, не поймут, в чем дело. Вдруг из-за леса вылетает чудовище: крылья — не крылья, морда — не морда, ноги — не ноги. Пресвятая мать-богородица! Конец света... Может быть, кто-нибудь тут же и умер бы от внезапной тоски.

Советский писатель свидетельствует, как ругалась старушка во Владимирском аэропорту. «Билет на ТУ-134 брали, а нам на ТУ-104 подсунули. Теперь лети на такой рухляди. Не полечу!» Вот тебе и все удивление.

Не знаю, отчего больше всего зависит горестная утрата способности удивляться — от роста культуры, от глубины знаний, от цивилизованности или от какого-то всеобщего отупления чувств, от обжорства этим самым техническим прогрессом.

Нет, я тоже перестал удивляться лунному грунту, зондированию Венеры, чудовищным скоростям на Земле. Но парашютику одуванчика я — представьте себе — все еще удивляюсь. Я и книгу-то эту пишу, может быть, только для того, чтобы вы оторвали на минуту свой утомленный взгляд (а он у вас утомленный) от беспрерывного, бесконечного мелькания (телевизор, кино, автомобили, поезда, самолеты, прохождение, огни реклам, лифты, руки продавщиц, двери троллейбусов, эскалаторы, телефонные диски, весь мелькающий мир, когда он мчится и завихряется вокруг вас, или весь мелькающий мир, когда вы мчитесь сквозь него со скоростью автомобиля, поезда, самолета) и остановили бы его, свой утомленный взгляд, на огромной неподвижной капле влаги, скопившейся в сборчатом и вор-

снстом листе манжетки. Или на парашютике одуванчика тоже неплохо остановить свой взгляд.

Вы подняли пушистый цветок над головой (кто же это сказал красиво и точно: «Одуванчик из солища уже превратился в луну...») и дунули на него. Пушинки бойко и дружно взмывают вверх, потом, относимые ветерком, начинают нанскось падать, опускаться на землю. И пока вы следите за ними, пока они летят сначала беленькие и четкие на фоне синего неба, а потом переплывают на фон зеленой травы, что-то успеет дрогнуть, оттаять в вас. Проклюнется из мертвого холода слабый первый, но симптоматический толчок душевного пульса, и вы поймете, что душа в вас жива, но только она заморожена, анестезирована...

Ну, так как же размножается папоротник, если из спор новые папоротники не вырастают? И при чем тут дети до шестнадцати лет? И зачем же тогда существуют споры?

Споры созревают и высыпаются на влажную землю. В лесу она всегда влажная, а если нет, то пойдет дождь — и она станет влажной. Это важно, потому что для всякого прорастания нужны два условия: тепло и влага.

— Значит, споры все-таки прорастают?

— Да, они прорастут, но не для того, чтобы из них вырастали сразу новые, пусть и крохотные папоротнички. Из споры вырастает всего лишь зеленая пластиночка величиной с ноготь мизинца и даже еще поменьше. Она похожа на сердечко и называется у ботаников заростком. Если ходить в лес, в те места, где растут папоротники, и поискать там в средние лета (в общем-то, действительно в день Ивана Купалы), то можно эти зеленые бляшки найти и разглядеть. Но скорее всего, в первый раз вы увидите не сами заростки, а розеточки новых молодых папоротников, уже начавших развиваться, так сказать, на базе заростков.

Перевернув розеточку, увидишь и заросток, но уже сморщенный, потемневший, отработанный и ненужный. Наглядитесь на него хорошенько, запомните его, чтобы на будущий год легче было обнаружить где-нибудь у корней трухлявого пня, а то и на самом пне.

— Значит, из споры вырастает заросток, а из заростка папоротник? Что же тут особенного? Бесполое размножение...

— Далеко не так. От руки человека, от спины человека не отпочкуется новый человек. Он может вырасти только

из половой женской клетки, и притом оплодотворенной. У папоротника происходит все то же самое.

— Но у него нет цветка, нет мужских тычинок и женского пестика, нет пчелы, которая перенесла бы пыльцу...

— Но у него есть заросток. Зеленая бляшка, величиной с ноготок мизинца и похожая на сердечко. Так вот на этой зеленой бляшке вырастают рядом два органа, один женский, другой мужской... Между прочим, над лесом пролетает самолет, чудо техники двадцатого века, не хочется ли вам задрать голову и поглядеть, как он там летит в облаках? Смотрите, как интересно: два крыла, окна, хвост... Не хочется? Интереснее поглядеть на бляшку? Тогда смотрите... Женский половой орган (выписываю) «...по своей форме несколько напоминает бутылочку, в расширенной, утолщенной части которой располагается женская половая клетка — яйцеклетка, шейка же занята канальцевыми клетками, которые при созревании... осклизняются».

Мужской половой орган «...округлой формы, полный внутри, он имеет оболочку, которая при созревании сперматозоидов раскрывается, позволяя им выйти наружу».

Дальнейшее, очевидно, не трудно угадать. Если есть женский орган, похожий на бутылочку со специально осклизлым горлышком и таящий внутри себя яйцеклетку, и есть мужской орган, округлый и наполненный сперматозоидами, то им осталось соединиться, и тогда...

Но как им соединиться, если они оба на одной плоской бляшке? Соединиться им никак не дано, чем не шекспировский трагизм? И близко, и созрели, и предназначены друг для друга, но разделены неподвижностью, практической недостижимостью, обречены на безмолвные танталовы муки.

Между тем в верхушках деревьев начинается робкое вначале шуршание дождя. Теплый июльский дождь с набегавшей тучки прошел охлаждающей полосой по зеленому лугу, по желтоватому полю и задел стеклянно-туманной кисеей, волочащейся по земле вслед за тучей, старый сосновый лес. На иголочках повисли светлые крупные капли. Перекапывая все ниже, сливаясь из трех в одну и отяжеляясь, они достигают нижних древесных ветвей, а потом и травы, а потом и земли. И вот одна прохладная капля упала случайно и накрыла собой всю зеленую пластиночку, похожую на сердечко.

Сразу же уточним, что это могла быть не капля дождя,



а капля росы. Даже еще лучше. Еще спокойнее, без ненужного удара и расплеска, она охватила бы собой зеленую площадку, накрыв ее подобно тому, как капля купола небес накрывает землю.

Я не случайно употребил это, впрочем-то банальное, сравнение, потому что для сперматозоидов, дождавшихся своего часа и извергнутых мужским половым органом в эту прохладную каплю воды, она, правда, по обширности, округлости и прозрачности должна напоминать свод небес, если бы, конечно, они могли воспринять ее во всем трепетном, дрожащем, просвеченном блеске. Ну или по крайней мере для них это Черное море, океан, в который выплывают они дружной, многочисленной стаей. Они, оказывается, снабжены жгутиками, похожими на штопор, и обладают способностью передвигаться в воде.

Им некогда любоваться тем океаном, в который они попали, некогда наслаждаться неожиданной свободой, у них есть главная и неотложная задача найти осклизлое горлышко женской бутылочки, незамедлительно проникнуть в нее, а там найти яйцеклетку, с которой соединиться и слиться. И тогда произойдет еще одно чудо — чудо оплодотворения («химизм которого нам неясен»), а потом уж и вырастет новый папоротник.

Сеанс окончен, зажигайте свет, пусть вбегают все дети. Мы видим теперь только старый пенъ, на который падает косой луч летнего, последождового солнца, капли недавнего дождя, который ушел дальше и не знает, наверно, что натворил невзначай, и широкие резные листья папоротников, растения, немного отличающегося от всех других трав, но все же вполне привычного нашему глазу и не удивляющего нас, когда мы его видим, отправляясь в лес по грибы или по орехи.

Но все же, пока дети еще не вбежали, хочется задать самому себе один вопрос, на который пока никто не ответил. Если бы я был ботаником и поскольку уже есть электрические приборы, улавливающие и записывающие импульсы растений, в частности боль, то я употребил бы все усилия, чтобы на этот вопрос получить ответ. Есть ли у растений оргазм и в какой момент он возникает? Когда цветок принимает пчелу? Когда пыльца расстается с тычинкой? Когда пыльца попадает на пестик? Когда она прорастает сквозь пестик? Когда она сливается с яйцеклеткой? Когда лопается мужской орган, выбрасывая сперматозоиды? Когда сперматозоиды находят горлышко

женского органа? Когда проникают в него? Но что до этого листьям взрослого папоротника?

Между тем где-то должна существовать та манящая, призывная стадия, которая вложена природой, как надежный саморегулятор, во всякий организм, дабы он, несмотря ни на какие препятствия, стремился породить подобный себе организм. Может быть, это самое гениальное изобретение природы, после которого она может позволить себе иногда вздремнуть на диване или в глубоком кресле: все равно живые творенья теперь ничем уж не остановишь, оргазм вмонтирован в них и делает свое дело. Нет никаких сомнений, что он присутствует всюду, где есть то, что мы называем половым размножением, включая и папоротник, и подсолнух, и василек, поскольку, как мы знаем, в течение этого процесса у них, у рыбы, у бегемота и homo sapiens нет никакой принципиальной разницы.

\* \* \*

## ИЗВЛЕЧЕНИЯ

М. Метерлик



«Тычинки, спокойные и покорные, ждут в желтом венчике (речь идет о процессе оплодотворения у руты), размещенные кругом вокруг толстого и коренастого пестика. В брачный час, повинаясь приказу супруги, которая явно делает что-то вроде призыва, один из самцов приближается и касается стигмат, потом то же делает третий, пятый, седьмой, девятый, пока не кончится весь нечетный ряд. Затем — очередь четного ряда: второго, четвертого, шестого и т. д. Это прямо любовь по приказу. Это цветок, умеющий считать,

казался мне столь необычным, что я сперва не мог поверить ботаникам и старался не раз проверить его чувство чисел. Я установил, что он ошибается очень редко».

«...Наш механический гений существует со вчерашнего дня, в то время как механика цветов функционирует уже тысячелетия. Когда цветок появился на нашей земле, вокруг него не существовало никакой модели, которой он мог бы подражать. В ту пору, когда еще мы знали только мотыгу, лук, в недавние времена, когда мы изобрели колесо, блок, таран, в то время, — так сказать, уже в последний год, — когда нашими шедеврами были катапульты, часы и ткацкое искусство, шалфей уже изобрел вращающиеся перекладки и противовес своих точных весов. Кто еще менее ста лет тому назад мог подозревать о свойствах Архимедова винта, употребляемого кленом и липой со дня рождения деревьев? Когда удастся нам построить столь же легкий, точный, нежный и верный парашют, как у одуванчика? Когда откроем мы секрет вставлять в столь хрупкую ткань, как шелк лепестков, такую могущественную пружину, как та, которая бросает в пространство золотистую пыльцу дрока? А момордика, или «дамский пистолет», кто разъяснит нам тайну ее чудесной силы?.. Ее мясистый плод, похожий на маленький огурчик, обладает замечательной живучестью, необъяснимой энергией. Как бы слабо ни прикоснуться к нему в момент его зрелости, он внезапно, конвульсивным сокращением отрывается от своей плодоножки и выбрасывает в отверстие, образовавшееся разрывом, слизистую струю, смешанную с зернами, со столь удивительной силой, что она отбрасывает семена на четыре, пять метров от родимого растения. Это действие столь же необычно, как если бы нам удалось, сохраняя те же пропорции, выбросить одним спазматическим движением все наши органы, внутренности и кровь на полкилометра от нашей кожи или нашего скелета...»

«Пусть говорят по поводу орхидей, как по поводу пчелы, что это природа, а вовсе не растение или насекомое вычисляет, комбинирует, украшает, выдумывает и рассуждает, — какой интерес может иметь эта разница для нас? Важно уловить характер, качество, обычай и, быть может, цель общего разума, из которого вытекают все разумные акты, совершающиеся на этой земле».

«Природа, когда хочет быть прекрасной, ирравиться, давать радость и казаться счастливой, делает почти то же, что делали бы мы, если бы располагали ее сокровищами. Я знаю, что, говоря так, я говорю отчасти как тот же

епископ, который поражался, что провидение заставляло проходить большие реки около больших городов».

«Не будет, думается мне, слишком смелым утверждать, что нет существ более или менее разумных, но есть об-щий, рассеянный разум — нечто вроде всемирного тока, — проникающий различно, в зависимости от того, хорошие ли они или плохие проводники разума, встречающиеся ему организмы. Человек является до сих пор на земле тем видом жизни, который оказывает наименьшее сопротивление этому току, но ток этот не обладает другой природой, не исходит из другого источника, чем тот, что проходит в камне, в звезде, в цветке или в животном... Но это тайны, вопрошать которые — довольно праздно, потому что мы пока еще не располагаем органом, который мог бы вос-принять ответ».

\* \* \*



Если правда, что существует спор между прозой и поэзией, то вот точка, о которую ломаются копыя. Причем вот странный слу-чай, когда при всей очевидности прозаической правоты легкомы-сленная поэзия остается победи-тельными.

Давно втолковали людям, что это растение вредоносный и злой сорняк, а люди, когда спро-сишь о любимом цветке, продол-жают твердить по-прежнему: ва-силек. Просветительский агроно-мический разум вскипает в бес-сильной ярости перед чудовищ-ной обывательской тупостью, а тупой обыватель (обывательница) очарованно смотрит на синий-синий цветок и срывает его, не только не испытывая никакой враждебности и ненависти, но радуясь и любя. И ничего уж тут с этим не поделаешь. Такова власть кра-соты.

Сорняк, да красив! Да полно, сорняк ли он? Такой ли уж он сорняк? И что такое сорняк?

«Хищник — это животное, поедающее другое животное, которое вы хотели бы съесть сами» (У. О. Нагель).

«Дело в том, что нет ни растения, ни животного, а есть один нераздельный и органический мир» (Тимирязев).

Может быть, мы не разгадаем многих тайн, пока будем считать, что рожь и василек — два отдельных растения, а не один биологический организм.

Эта мысль не моя, хотя я и не взял ее в кавычки. Я ее вычитал в ученой статье, но по непростительной оплошности почему-то не записал и теперь воспроизвел приблизительно, по памяти, но за смысл, разумеется, ручаюсь.

Есть еще о сорняках у замечательного белорусского писателя Янки Брыля.

«— Скажи ты, браток, что это делается? И семя дали сортовое, и химпрополка у нас, а осота — сплошь полно. Так и прет, так и прет!..

— А что ты хочешь? Тогда, при единоличестве, как ты на посев выезжал? Баба тебе и фартук помоем беленько, и перекрестись ты, и, став на колени на пашне, наберешь того жита... ну просто праздник у тебя! А теперь? Только мать да перемать один перед другим... Вот сорняк и лезет!»

В сказанном — народный толк: мало любви к земле. (Брыль Янка. Горсть солнечных лучей. М., Сов. писатель, 1968, с. 62. Перевод с белорусского Дм. Ковалева).

Согласимся, что и действительно только от нерадивости земледельца сорняки на его ниве могут заполнить поле и победить злаки. Только по своей нерадивости земледelec создает (вернее, допускает) равные условия для сорняков и для злаков (демократия, что ли?), но истинный хороший земледelec делать этого никогда бы не стал. Он знает, что при одинаковых условиях сорняки победят. Так что, когда увидите где-нибудь близ дороги поле, сплошь заросшее ромашкой, осотом или теми же васильками (а такие поля вы увидите всюду), то не сваливайте вину на ромашки и на васильки, а смело обвиняйте хозяев данного поля.

Но кроме того, если признать философию белорусского крестьянина, разговор которого подслушал чуткий писатель, а именно, что похабные, мерзкие, матерные слова оборачиваются на поле сорняками, то неужели можно представить себе, будто грубое, грязное слово может пре-

вернуться в изящный и чистый василек? Никоим образом, никогда!

В колючий жабрей — возможно, в осот полевой — допустим, но в чистый и ясный василек? Нет, в этот цветок явно вложена какая-то иная идея.

Если бы он был злостным сорняком, то крестьяне (русские, немецкие, всякие) давно бы, задолго до появления начитанных агрономов, возненавидели его и эту свою неприязнь сумели бы передать детям, воспитать в поколениях крестьянских детей, как это произошло, скажем, с мышью, со зверьком вообще-то милым и симпатичным, если бы не воспитание, перешедшее в плоть и в кровь.

Полевка-малютка, выющая себе гнездо на стебле ржи, — казалось бы, трогательная картинка. Чем этот, с наперсток величиной, зверек не милее, не симпатичнее такой же крохотной лесной птички? Однако при слове «птичка» мы слышим в себе доброжелательную симпатию и умиление, а при слове «мышонок» — отвращение, брезгливость и немедленную готовность убить, пресечь.

Василек же мы любим и любимемся им, едва ли не больше, чем самым колосом ржи. Поэзия победила пользу? Но дело в том, что поэзия тут только тогда и возникает, когда васильки расцветают во ржи. Я видел васильки, растущие на городских клумбах и на газонах. В них не только не было никакого очарования, на них было почему-то неприятно смотреть. Они выглядели выцветшими, хилыми, производили даже неряшливое впечатление, тщетно было бы искать в них той полиной, сочной и как бы прохладной синевы, какая свойственна им, когда они цветут на своем месте — во ржи.

Между прочим, именно василек может научить нас, что в произведении искусства все изобразительные средства должны гармонизировать и небрежение хотя бы одним из них резко ослабляет художественную силу произведения.

Берем другой цветок, который по схеме, по чертежу почти не отличается от нашего василька. Он так и называется «василек», но с добавлением словечек «перистый» и «фригийский» и тяготеющий не к хлебным полям, а к лугам и кустарникам.

Да, чертеж тот же самый, не соблюдены только два условия: размер и цвет. Фригийский василек крупнее, и лепестки у него лилово-пурпурные и темно-красные. И вот уж средний читатель начнет сейчас думать, о каком таком цветке идет речь. Вероятно, вспомнит. Но разве нужны

такие же усилия, чтобы вообразить василек обыкновенного василькового цвета?

Говорилось о неприязни, которая должна была бы, казалось, существовать у крестьян к васильку, как к траве бесполезной и сорной. Но мало того, что не было никогда такой неприязни, василек с древних времен участвовал во многих красивых обрядах и празднествах.

Во Владимирской губернии в некоторых местах был обычай, называемый «водить колос». То ли обычай, то ли хороводная игра, то ли народная песня, то ли поэма, но выраженная не в словах, а во внешнем действии.

Около троицына дня, когда начинает колоситься рожь, выходили на околицу девушки, парни, молодые женщины, подростки. Молодые люди становились все лицом друг к другу и брались за руки крест-накрест, как берутся, когда хотят образовать сиденье «стул», чтобы нести человека, например, подвинувшего ногу.

По соединенным таким способом рукам пускали иди маленькую девочку в васильковом венке. Задние пары, по рукам которых девочка уже прошла, перебегали вперед. Так девочка, не касаясь земли, доходила до ближнего поля. Впрочем, оно колосилось всегда где-нибудь поблизости от крайних деревенских домов. Тогда девочка спрыгивала на землю, срывала несколько колосков, бежала с ними в село и бросала их возле церкви. Шествие к ржаному полю сопровождалось песней.

Зажиточный сноп, который ставили иногда в переднем углу, тоже украшали васильками или васильковым венком.

Если же вы будете настаивать, что все-таки василек не больше чем вредитель, то тем удивительнее — скажу я, — что он сумел, несмотря на свою вредоносность, внушить нам, людям, расположение к себе и даже любовь.

Относительную пользу тоже нельзя сбрасывать со счетов. Василек — прекрасное средство для укрепления глаз. У Монтеверде читаем, что васильковые «цветы дают пчелам обильный взятки меда даже в самую сухую погоду».

Вспоминаю, как Иван Александрович Крысов — пчеловод из-под Вятки — удружил мне ведро василькового меда, цвета зеленоватого янтаря. Бывает такой янтарь, похожий на виноград.

Грешно говорить про хлеб, но я бы то драгоценное ведро зеленоватой тягучей жидкости не променял ни тогда, ни теперь задним числом, а вероятно, даже и в голодовку,

на ведро уважаемой мной сыпучей ржи или муки из нее.

Но дело вовсе не в этой относительной пользе василька. Я подозревал, что они существуют, и действительно набрел в специальной литературе на сведения о васильке и его роли на хлебной ниве, подтверждающие безошибочность крестьянской интуиции, благодаря которой они и относились к васильку во все века с несомненной симпатией, вопреки поверхностной очевидности.

Наука — вещь многослойная. Копнут снаружи, ухватятся за первое звено цепочки закономерностей и думают, что ухватились за истину. Но цепочка повела в глубину, во тьму, и уже третье звено ее опровергнет скоропалительные заключения и все выворачивает наизнанку.

Но прежде чем говорить о полезности василька, придется сказать сначала несколько слов о почве.

Почва — это то, что все люди зовут обыкновенно землей, в самом прямом смысле слова. Но когда требуются более строгие формулировки, то приходится тем же людям искать уточняющие слова, вроде: «Поверхностный горизонт земной коры, измененный совокупной деятельностью агентов выветривания при одновременном накоплении органических веществ... Самостоятельное естественно-историческое тело — продукт окружающей природы, живущий и закономерно изменяющийся под влиянием внешних условий... среда, служащая для питания растений» (Брокгауз и Ефрон).

А также: «Поверхностный слой земной коры, несущий на себе растительный покров суши земного шара и обладающий плодородием. Образование почвы и развитие растительного покрова неразрывно связаны между собой» (БСЭ).

Специалисты — биологи — смотрят на почву еще и своим особым взглядом. Они считают, что почва — это организм, обладающий специфическими условиями жизнедеятельности и развивающийся по собственным законам.

Хорошая, здоровая почва содержит, оказывается, на одном гектаре до 800 кг земляных червей (до 15 миллионов штук), а также около 4000 кг бактерий актиномицетов и простейших, все эти тысячи килограммов бактерий (не будем переводить их на штуки) занимаются тем, что превращают минеральные соединения из нерастворимого состояния в растворимое, усваиваемое растениями.

Известно, что всю существующую почву несколько раз уже пропустили через себя дождевые черви. А если бы не



пропустили, она не была бы такой, как сейчас, а возможно, и вообще не была бы почвой. Дождевые черви — главная фабрика гумуса в почве, без которого почва погибает и становится бесплодной землей. Подземные труженики — дождевые черви — дают почве удобрений не меньше, чем все пасущиеся на земле коровы. Но у них есть и еще одна задача: проникая глубоко в землю, они выносят оттуда в пахотный слой нужные минеральные вещества. Известны случаи, когда почва, в которой не было дождевых червей, оказалась бедной кальцием, в то время как под ней, на доступной червям глубине, лежал известняк.

Итак, почва — это биологический организм, от здоровья которого зависит его жизнедеятельность, а в первую очередь, произрастание всевозможных растений. Теперь возьмем несложный пример. Допустим, мы заинтересованы, чтобы в лесу водилось побольше рябчиков, жизнь которых связана с хвойными деревьями. Замечаем, что хвойные деревья хиреют, их становится меньше, а вместе с тем редуют и рябчики. У нас два пути. Один путь — подкармливать рябчиков искусственно, химическими питательными таблетками, скажем, рассыпая их по лесу с самолета. Второй путь — ухаживать за хвойными деревьями, умножать их, улучшать их, всячески заботиться о них и тем самым способствовать многочисленности рябчиков.

Возьмем еще одно дополнительное условие: допустим, что от химических таблеток, рассыпаемых для рябчиков, хвойные деревья погибают и вымирают. Спрашивается — какой выбрать путь, если мы хотим, чтобы были рябчики. И не только для нас, но и для наших внуков? Всякий здравомыслящий человек скажет: надежным путем надо считать второй путь — путь ухода за хвойными деревьями.

Точно так же и в сельском хозяйстве надо работать совместно с природой, а не против нее. Переносить закономерности фабричного производства целиком на сельское хозяйство нельзя. Главной рабочей силой здесь являются солнце и микрофлора почвы. Поэтому главное состоит в том, чтобы создать наилучшие условия для их деятельности. Не подкормка растений, а питание почвы. Подкормка — это допинг, при котором, как известно, достигаются временные, даже неожиданные результаты, но весь организм в целом работает на истощение, на износ.

Между тем разумное, цивилизованное человечество идет по заведомо ложному пути. По принципиально лож-

ному пути. Только и слышно на земном шаре: подкормка растений, минеральные удобрения, гранулированные удобрения, суперфосфаты, химическая прополка.

Нетрудно догадаться, что вся эта химия убивает в почве все живое, и бактерии, и червей, то есть, по существу говоря, убивает почву. Кроме того, она ухудшает коллоидные свойства почвы, ее структуру. Кроме того, она, вся эта химия, используется крайне неэффективно, незначительно, потому что тотчас уходит в нижние слои почвы и переходит в нерастворимое состояние. Например, фосфор, вносимый в почву, используется на два процента.

Хороший гумус связывает большое количество воды и постепенно отдает эту воду растениям. В минерализованной же почве вода не задерживается. А не надо забывать, что на каждый килограмм зерна для его созревания требуется 500 литров воды.

Убитая почва начинает подвергаться эрозии. Говорят, что в США не меньше одной трети всей почвы затронуто этим губительным процессом. Говорят, что минеральные удобрения делают богатыми отцов и бедными детей. Говорят, что если европейские страны и Америка будут и дальше опираться в сельском хозяйстве на минеральные удобрения, то в конце концов они превратятся в новую пустыню Сахару.

Животные поедают растения. Продукты выделения животного мира должны возвращаться растениям через почву, однако переработанные ее очень сложной и многообразной жизнедеятельностью, простой метод — вали в землю как можно больше навоза — тоже не соответствует уже уровню нашей цивилизации. Навоз хорош для растений только в переработанном почвой виде. И вот тут-то человек может почве помочь, компостируя и ферментируя органические отходы нужным образом. Это — будущее сельского хозяйства, если мы хотим еще пожить на земном шаре. При уходе за почвой мы сталкиваемся с замечательным явлением, ради которого пришлось сделать столь далекое и скучное (но, надеюсь, не бесполезное) отступление. Замечено, что в содержимое компостов полезно добавлять настои некоторых трав: валерианы, одуванчика, крапивы, ромашки, тысячелистника. Замечено, что экстракты некоторых растений даже в очень больших разведениях оказывают влияние на жизнедеятельность бактерий, находящихся в почве. И наконец, замечено, что таким

действием обладают не только экстракты, но и выделения в почву из корней живых растений.

Опыт показал, что если к ста семенам пшеницы добавить двадцать семян сорняка-ромашки, то произойдет угнетение пшеницы. Если же добавить к ста семенам только одно семечко, то пшеница вырастет лучше, чем если бы она выросла совсем без этого сорняка. Такие же результаты получаются, если взять вместо пшеницы рожь, а вместо ромашки васильки!

А что значит на сто стеблей ржи один василек, на сто золотых колосьев одна синяя яркая головка? Я не подсчитывал специально, но неужели на одном квадратном метре умещается всего сто стеблей? Не двести, не триста ли? Тогда вполне допустимы на квадратном метре два-три василька. То есть именно та картинка, которая обычно радует глаз. Больше — впечатление засоренности, неряшливости поля. Меньше или когда совсем нет — чего-то как будто не хватает.

О симбиозе, о взаимопользовности сожительства разных видов растений и животных написано много книг. Сожительствуют грибы и деревья, грибки и водоросли, гидры и водоросли, мы помним классически школьные симбиозы рака-отшельника и актинии, крокодила и птички, пасущейся в его раскрытой пасти...

Но все же мы видим чаще всего лишь внешнее проявление сожительства (гриб под березой) и не видим наглядно той взаимной пользы, которую приносят друг другу живые организмы. Мы не знаем, насколько худосочнее было бы дерево, если бы вокруг него не росли грибы. А между тем в природе существует столь наглядный пример симбиоза, что результаты его можно рисовать, фотографировать, измерять на сантиметры и взвешивать на весах.

Идя по отлогим косогорам, по склонам оврагов, по суховатым лугам, внимательный человек заметит среднeобыкновенной травы более темные и жирные зеленые полосы. По «ассортименту» трава на этих полосах растет та же самая, что и вокруг, но она значительно гуще, выше, сочнее и зеленее. Полосы бывают шириной до полуметра, а в длину они самые разные. Иногда лежит полоса подковой в четыре шага, иногда правильным кругом по десяти шагов, а иногда тянется бесконечной змеей через весь косогор. Я вижу их с детства (их нельзя не заметить), но долго относился к ним безразлично, не задумываясь об их происхождении и природе. В лучшем случае, я думал, что

они проявляются на тех местах, где были коровьи лепешки и дорожки. И только совсем недавно, когда я увлекся собиранием луговых опят, открылся для меня секрет этих пятен.

Луговые опята — небольшие, тоиконогие, с кожистыми шляпками грибки, обладающие тонким ароматом и вкусом. За аромат их еще называют гвоздичными грибами. Может быть, и правильнее их так называть, потому что меньше всего они — опенки, опята: никаких пней там, где они растут, нет и в помине. Если же все грибы «приписаны» каждый к своему дереву, кто к березе, кто к сосне, кто к осине, то луговой опенок — гриб исключительно травяной.

Эти мелкие грибки вырастают дружными стаями (единственно, что их роднит с опенками), но не кучами, а лентами, иногда закручивающимися и образующими подковы и круги. Их-то и зовут в народе ведььмиными кругами. Отмечу, уж если зашел разговор, еще одну их особенность. Вылезши из земли, они очень нежны, даже и ножки, но потом, если стоит сухая погода, они быстро становятся кожистыми, жесткими, а через день-два ссыхаются и сморщиваются. Однажды от отчаяния я насобирал таких сохлых грибов, но дома их пришлось выбросить недалеко от калитки, под вишневое дерево. Ночью был дождь. А утром я удивился: откуда взялись под вишеньем свежие, чистые, нежные луговые опенки. Оказывается, на дожде они набухают, распрямляются и становятся опять нормальными грибами.

С некоторых пор я полюбил собирать их. Приходится вооружаться ножницами и стричь их пополам с травой, как стригут овец. Конечно, хорошо в грибном прохладном лесу, но есть своя прелесть и в просторных, размашистых, открытых взгляду, сердцу (и легкому ветерку) косогорах и луговинах.

Так-то вот, собирая луговые опята, я и заметил, что их дружные стаи вытягиваются и закручиваются только по тем самым темным травяным полосам, о которых шла речь. Эти травяные полосы возникают на месте грибницы лугового опенка и точно обозначают ее, залегающую под землей.

Симбиоз. Взаимная польза. Без травы эти грибы не выросли бы вообще (они не растут на голых бестравных местах), без грибов (без грибницы) трава заметно слабее, тощее, реже, ниже, бледнее цветом. Можно собрать с оди-

наковой площади ту и эту траву и получить результаты симбиоза, выраженные в граммах.

Симбиоз василька и ржи не так заметен. Но разве ничего не значит, что трудно подобрать другой земной цветок, который так же удачно сочетался бы с золотом ржи, как это делает василек?

Земледельцу же остается заботиться только о соотношении ржи и василька на поле, а это как будто в человеческих силах.

\* \* \*



Тишина — вот самый большой дефицит на земном шаре. Постоянное рычание и таракхтение разнообразных моторов, движков, компрессоров, автомобилей, тракторов, мотоциклов (одни мотоциклист, проезжая по ночному городу, заставляет вздрогнуть и проснуться примерно 20 000 человек), поездов, самолетов, лифтов, отбойных молотков и других механизмов, от шума которых современный человек не спасается даже в своем жилище, даже ночью оглушают планету и делают ее, строго говоря, мало пригодной для жизни. Только вели-

чайшая невзыскательность и приспособляемость человека к обстановке, к среде, к условиям существования позволяют еще ему кое-как отправлять его не только биологические, но и общественные функции. Но это стоит нервов, нервов и нервов. И сердца. И психики. Поэтому наряду с тишиной становится дефицитной на земном шаре и ва-лерьянка.

Прибавьте к этому современные скорости, современную вибрацию, современное мелькание мира перед глазами, прибавьте смертельно ядовитые нервные газы, которые ежедневно в больших количествах вдыхает каждый городской житель (а теперь большинство людей живет в городах), прибавьте к этому вечную спешку, вечное ощущение «некогда», «не успеваю», то есть ощущение острого цейт-

нота, из которого шахматист выходит через час, хотя и проиграв партию, а современный человек выходит только вместе со смертью (преждевременной из-за того же цейтнота и вышеперечисленных обстоятельств), прибавьте к этому ежедневное добровольное облучение вредными лучами перед экраном телевизора, прибавьте к этому вечную нехватку денег, прибавьте к этому переизбыток всевозможной информации, злоупотребление антибиотиками, снотворными средствами, никотином, кофе и алкоголем. Прибавьте к этому всеобщее и постоянное стояние в очередях, прибавьте к этому скученность, обусловленную городами, и вы поймете, почему в аптеке трудно купить натуральный валерьяновый корень.

В каплях и таблетках валерианы, слава богу, бывает, да и как бы можно было жить без нее, учитывая все те условия, которые я перечислил. И хорошо также, что она бывает в настойках, а не в экстрактах, ибо чистое лекарственное вещество, извлеченное из растения, оказывается, еще — не все, и два течения в фармацевтике, парацельсовое и галеновое, до сих пор не решили спора. Парацельс считал, что достаточно извлечь из растения основной препарат и давать его в виде порошка или таблеток. Сторонники Галена считают, что нужно применять настойки и вытяжки, в которых присутствует все, что есть в растении.

«Ценность этих препаратов заключается в том, что наряду с известными или еще неизвестными нам действующими веществами из лекарственного растения извлекаются другие полезные вещества, роль которых в организме нам еще не совсем ясна: присутствие их благотворно влияет на физиологическую активность основных действующих веществ» (Сало М. В. Медицина и растение. М., Наука, 1968).

То есть, видимо, полезнее выпить стакан валерианового чая, нежели съесть таблетку, содержащую экстрагированное лекарственное вещество. Но где же взять валерьяновый корень?

В ВИЛАРе (Всесоюзный институт лекарственных растений) научный работник сказал мне: «С валерианой вопрос решен. Мы ее будем выращивать, как капусту».

Это и хорошо. Но я тотчас вспомнил изыскания Борахвостова, который раскопал где-то, что корень женьшеня, выросший в тайге, стоит пять тысяч рублей килограмм, а корень, выросший на плантации, — всего лишь восемь рублей! Чем-нибудь обусловлена такая разница?!

Вероятно, семечко в естественных условиях прорастает только там, где находит необходимые условия для будущего растения, где есть в почве тот самый сложный комплекс веществ, который нужен, чтобы женьшень стал женьшенем, а валериана стала валерианой. Японские ученые предполагают, например, что настоящий таежный женьшень выбирает места с повышенной радиоактивностью почвы.

Недаром всякое растение на земле знает свое место. Одно любит глину, другое растет на жирном черноземе, малина обожает древесную труху, ландыш расцветает в еловой тени, кипрей на лесных, открытых солнцу порубках.

Соседство других растений имеет не меньшее значение. Уже был разговор, что ромашка и василек полезны для пшеницы и ржи (в малых дозах), потому что их корни выделяют в почву нечто, что усваивают корни рядом растущих злаков.

Около тридцати лет назад советский ученый Борис Петрович Токин сделал открытие, которое по праву должно было бы называться открытием века. Он открыл фитонциды.

Каждое растение выделяет некие летучие вещества, которые либо благотворно, либо губительно влияют на окружающую растительную среду, в первую очередь на микроорганизмы, витающие в воздухе, но и на соседние растения тоже. В то время, как нам для того, чтобы стерилизовать рану, нужно прибегать к йоду, к марганцовке, к борной кислоте или по крайней мере к кипяченой воде, раненый древесный лист сам окружает себя стерильной зоной, излучая фитонциды и убивая в непосредственной близости всех бактерий, какие только окажутся. Вареное яйцо, облучаемое фитонцидами хрена, не протухает годами. Гектар можжевельного леса выделяет за сутки 30 килограммов летучих фитонцидов. Не удивительно поэтому, что одни травы и цветы могут расти в можжевельном лесу, а другие не могут.

Многие любители цветов, вероятно, замечали, что некоторые цветы нельзя соединять в одной вазе. Какой-нибудь один цветок быстро увядает, как бы задушенный, умерщвленный своим невольным соседом. Чтобы убедиться в этом, достаточно поставить в вазу пышноцветущие свежие розы и тюльпаны. Увидите, как тюльпан расправится с розой (не напомнить ли вам, что тюльпан является подданным шестилепестковой лилии?).

Настоящие огородники знают, что иные огородные куль-

туры хорошо соседствуют на грядках, а иные плохо и что есть так называемые бордюрные растения, которые хорошо разводить вокруг грядок и вдоль огородной тропинки. Глухая крапива, эспарцет, тысячелистник, укроп... Но обо всем этом можно прочитать в специальных книгах. Важно то, что соседство растений не безразлично каждому из соседей.

Можно выращивать целебные травы и на плантациях. Но создайте валериане на своей плантации ту же в тончайших тонкостях почву, что и на сыроватой низменной лесной поляне, или в овраге, или в кустах на речном берегу, окружите ее теми же травами и цветами, раскиньте над ней те же ольховые и черемуховые ветви, создайте ей такое же соотношение солнца и тени, такую же влажность в почве и воздухе, поселите неподалеку крапиву и зонтичные, напускайте на нее своевременно прохладный белый туман, что обычно поднимается от реки или стелется по дну оврага, заставьте в росистые ночи петь над ней соловья, соблюдайте еще десятки неведомых нам условий, тогда, может быть, и на плантации вырастет та же самая валериана, что застенчиво розовеет на той волглой лесной поляне, где ей понравилось вырасти и расцвести.

Желая добыть корень подлинной дикой валерианы, я пошел в лес и там в буераке нашел ее, растущую в тени. Вот растение, которому в наш суматошный век, в век истрепанных нервов, семейных скандалов, внезапных сердцебиений, изнурительных бессонниц и сдвинутой с места психики, надо бы поставить большой красный памятник.

В то время, когда я старательно вынимал валерьяновый корень из земли и бережно отряхивал его мочку, за спиной послышался легкий кашель. Так покашливают, когда хотят обратить на себя внимание. Я обернулся и увидел незнакомого старичка с грибной корзинкой в руке. Старичок глядел на корень в моих руках, на изломанное и брошенное теперь за ненадобностью тело самого растения и качал головой.

— Что-нибудь не так? — спросил я, имея в виду свои действия.

— Не вовремя берешь ты эти корни. Теперь еще утро. А их надо копать, дождавшись сумерек и чтобы на небе был новорожденный месяц.

Старик помолчал и добавил:

— Ущербный месяц тоже ничего, хорошо. А вот полная луна не годится. Нельзя. Сила не та.



— У луны?

— У корня.

— А филин должен ухать или можно без филина?

Старичок обиделся и даже перешел на «вы».

— Как хотите, ваша полная воля. А растение, оно ничего вам не скажет, хоть утром его бери, хоть вечером, хоть в дождь, хоть в солище.

Я понял, что старичок поделился со мной из самых хороших чувств и очень дорогим своим секретом, поделился потому, что впервые, может быть, встретил в этих местах второго после себя человека, заинтересовавшегося травой не только как кормовой базой с точки зрения центнера на гектар, но учитывая ее особые индивидуальные свойства.

Почему получается, думал я потом, что, именно соприкасаясь с травами, с цветами, с корнями, человек более всего склонен ударяться в разные суеверия. Новорожденный месяц ему понадобился! Сумерки! Хорошо я ему насчет филина-то ввернул. Разве далеко от этих сумерек и новорожденного (ущербного) месяца до поверья, например, что женьшень надо выкапывать только костяной но ни в коем случае не железной лопаткой и нельзя быть при этом вооруженным?

Тогда я не задумывался еще, что человек склонен считать и считает на самом деле суевериями и мистикой все, что не может пока уложиться в привычные рамки своих микроскопических знаний и представлений. И что «много есть вещей на свете, друг Гораций, которые даже и не снились нашим мудрецам».

Попробуйте проделать следующий несложный опыт. Для того чтобы исключить случайность, проделайте его многократно и выявите тенденцию. Например, восемьдесят случаев из ста можно считать законом.

Возьмите пять порций дистиллированной воды и кипятите ее отдельными порциями по двадцать минут в одной и той же посуде на разном источнике тепла: электричество, газ, уголь, дрова, солома. Потом в каждой из этих вод (остывших, конечно) в строго одинаковых условиях замочите какие-нибудь семена, скажем пшеницу. Потом эти семена в равных условиях пусть прорастут у вас. Измерив длину листочков, вы убедитесь, что длина у них разная. Самые короткие будут у тех зерен, которые замачивались в воде, нагретой электричеством. Потом пойдут последовательно: газ, уголь, дрова, солома. Остается сделать вы-

вод, что от соломы исходит самая благоприятная для растений теплота.

Если вы затем подвергнете испытанию не топливо, а посуду, то получите следующую цепочку (от худшего к лучшему): алюминий, железо, олово, медь, стекло, эмаль, фарфор, глиняный горшок, золото.

После всего этого утверждение деда насчет ущербной луны покажется грубым реализмом.

В конце вы увидите, проявив интерес, что древние вавилоняне собирали белену и дурман только ночью, что еще Плиний в своей 18-й книге «О естественной истории» (Натургешихте) много говорит о влиянии фаз луны на растения, животных и человека.

В конце концов вы набредете на сведения, что при полнолунии в растения всасывается больше воды, чем в другое время. Стволы деревьев в полнолуние более влажны, водянисты, бревна и доски из них получаются худшего качества, быстрее гниют и легче поражаются всякими грибами и древоточницами. В старину лесорубы придерживались обычая рубить лес лишь в новолуние. В тропиках это соблюдают и до сих пор. Например, в Бразилии до сих пор существует обычай ставить на бревнах клеймо с указанием фазы луны, при которой дерево срублено. Плиний тоже упоминает, что дубы валят при убывающей луне.

Да и что удивительного! Если луна заставляет совершать приливы и отливы такой гигантский организм, каким является наш земной океан, если приливы эти под влиянием луны происходят даже и в твердом веществе земли (в Москве, например, почва под влиянием луны опускается и поднимается почти на полметра), то тем легче повлиять ей, луне, на движение соков в дереве или в малой травке.

Теперь представьте, что вы всего этого не знаете, а дед походя говорит: «Не руби дерево в полнолуние, его шашель съест». Разве вы не посмеетесь над его темнотой? Разве вы не увидите в нем суеверного человека, мистика?

Но если не мистика, что тепло от соломы лучше тепла от электричества, что дуб надо валить не в полнолуние, а на ущербе луны, то, может быть, не мистика и то, что валерьяновый корень надо выкапывать в сумерки, при новорожденном месяце, и даже то, что женьшень надо выкапывать костяной, а не железной лопаточкой. Просто в луне мы уже разобрались, и нам теперь все тут ясно, а в костяной лопаточке пока еще не разобрались. Вдруг и ей,

костяной лопаточке, есть какое-нибудь свое неожиданное объяснение, которое будет казаться нам потом до смешного простым.

\* \* \*

## ИЗВЛЕЧЕНИЯ

К. Тимирязев. *«Жизнь растений»*



«Наиболее выдающаяся черта в жизни растения заключена в том, что оно растет».

«Убедившись, что в прорастающем семени совершается в существенных чертах такой же процесс дыхания, как и в животном организме, мы вправе сделать еще шаг далее и спросить...»

«Таково известие мангровое дерево, обитающее по побережьям тропических морей, обыкновенно в полосе, заливаемой приливом. Семена этого живородящего растения прорастают в плоде и, еще будучи на материнском растении, образуют длинный, тяжелый и приотстренный корень. Достигнув известной стадии развития, они отрываются и, вонзаясь этим корнем в вязкий ил, прямо, без всякого перерыва, продолжают свое существование».

«Помножим это число на среднюю длину волосков и получим действительно колоссальную цифру 20 килограммов, или около 20 верст. Таков путь, который пробегает в объеме почвы величиной с обыкновенный цветочный горшок корень пшеницы со всеми его волосками».

«Наконец, существуют и такие растения, как, например, лишайники, которые в виде пенек или накипи поселяются на голой поверхности камней, говорят, даже на поверхности полированного стекла, и разрушают эти вещества, добывая из них необходимую минеральную пищу».

«Это дало Брауну повод к остроумной шутке, что растение обладает, по-видимому, более обширными сведениями по физике, чем мы готовы допустить».

«Но как объясним мы причину этого поднятия воды иногда на громадную высоту 300 футов?»

«Десятина овса испаряет за все лето от 100 000 до 200 000 пудов воды, десятина смешанной луговой травы — около 500 000 пудов».

«Первый вопрос, который должен бы естественно представиться при наблюдении этого явления, но который, вероятно, мало кому приходит в голову, — до такой степени мы привыкли к этому явлению, — это вопрос: почему корень и стебель растут в противоположные стороны, один — в землю, другой — в воздух, один — вниз, другой — вверх?»

«В сердцевине так называемых саговых пальм отлагаются запасы крахмала, которые можно считать пудами; в клубнях картофеля отлагается также крахмал; в корнях свекловицы отлагается в изобилии сахар; в кочанах капусты или в корнях репы — разнообразнейшие питательные вещества; наконец, в мясистых листьях описанной выше агавы отлагаются в течение нескольких лет запасы сахара. Одним словом, нет почти растительного органа, который не смог бы сделаться вместилищем, складом питательных веществ».

\* \* \*

Она родня ландышу и потому ядовита. Но мало ли что? Ядовит и ландыш.

Помню, впрочем, как осыпались, отцветая, отжив (отболсв?), растопыренные лепестки и оставалась на стебле шишчатая головка, которая темнела потом, и мы вытряхивали из нее на ладонь мелкие черненькие семена, гораздо мельче маковых зерен, и слизывали эти семена языком. Называлась она у нас почему-то лазоревый цвет. Настоящее ее имя — купальница — я узнал из книг. Никто в наших местах ее настоящего имени не знает.



купальница

Цветы ярко-золотые, недаром их в некоторых местах называют фонарниками. Когда выйдешь на поляну цветущими купальницами и помотришь на них еще издали, то прямых и высоких стеблей не видно, они сливаются с общей зеленью. Кажется тогда, что купальницы висят в воздухе. И кажется еще, что если бы сделалось темно, то эти цветы все равно было бы видно — настолько ярко.

В лесу, где поляна забежала под тенистый полог дремучей ивы и где образовалось под пологом ветвей нечто похожее на грот, с десятков купальниц-великанов освещали это темноватое даже в летний полдень пространство и вправду как настоящие фонарики. Во всяком случае, когда по моему недосмотру дочка сорвала их все, там стало темно и мрачно.

Нераскрывшиеся бутоны — капустообразные кочанчики, величиной с лесной орех — зеленого цвета. Ничто не предвещает как будто солнечной яркости. Но и в распустившихся еще лепестках, когда лесной орех превратится размером своим в средней величины мандарин, и в таких распустившихся лепестках сквозит первоначальная зелень, и эта зеленоватая примесь создает ощущение прохлады и свежести.

Со мной в деревенском доме жили тогда две мои сестры. У одной из них подошел день рождения. По этому случаю я нарвал в лесу солнечный сноп купальниц. Чтобы было всем сестрам по серьгам, для другой сестры я сорвал три веточки ландыша.

Роскошны и праздничны были мои купальницы. Но когда я распределял подарки, то невольно поймал себя на следующем отчетливом ощущении. Мне показалось вдруг, что одной сестре я вручаю добротную, тяжелую, медную сбрую, а другой — бриллиантовую брошь или ниточку жемчуга. Ну, сбрую не сбрую — чеканные медные украшения, столь любимые современной молодежью.

Купальница на меня не обидится. Она знает, что я ее люблю. Но свое промелькнувшее ощущение я, как писатель, обязан выразить по возможности точно.



Сначала я познакомился с листьями ландыша. Мой дед постоянно читал толстые книги, водя по строчкам лупой величиной с чайное блюдце. Закладкам ему служили засушенные в тех книгах ландышевые листья. Высыхая, они приобретают золотистый оттенок и становятся как бы шелковыми. Я и сейчас думаю, что не может быть лучшей книжной закладки, чем засушенный ландышевый лист.

Взяв меня в лес, сестра прилегла отдохнуть на поляне, что-то там расстелив, а меня послала в ближайшие деревья, чтобы

я поискал ландышей. Сколько мне было лет, я не знаю, но очевидно, что мало, если живого ландыша я до сих пор, оказывается, не видел. Я спросил у сестры, какие бывают ландыши, и она ответила коротко и мудро:

— Самые лучшие. Когда увидишь, не ошибешься. Белые колокольчики.

Вооруженный таким напутствием, я шагнул в древесную тень на поиски «самого лучшего». И хотя мне не полагалось далеко отходить (сестра начинала аукать и звать обратно), все же и на ближайших метрах своих жизнь тотчас поставила меня перед сложным выбором, потому что под сыроватым пологом леса то и дело стали попадаться разнообразные белые колокольчики и все они были (а я их благодаря младенческому росточку видел очень близко и как бы укрупненно) один лучше другого.

Теперь, зная ту лесную поляну и приходя на нее в такой же весенний день, я могу с точностью разобраться во всех соблазнявших меня тогда белых лесных колокольчиках. Вот они все тут как тут.

Почему бы не потянуться мне тогда к нежному колокольчику кислицы, лиловатому от тончайших сиреневых прожилков. Пожалуй, даже скорее розовому, несмотря на то что прожилки сиреневого цвета. Они настолько тонки, что у них не хватает густоты и силы заявить о своем настоящем цвете, и они создают цветочку кислицы лишь ро-

зовый колорит. Достояна удивления чистота и тонкость ювелирной работы, но все же внутреннее чувство подсказывает, что нужно пройти мимо и наклониться над другим белым цветком.

Я разглядываю беленькие же, очень похожие формой на ландышевые колокольчики цветы брусники. Глянцевые листочки, медовый аромат, все, как говорится, при них, но чего-то, однако, не хватает, чтобы срывали и ставили в вазочки и прославляли в стихах.

Или что сказать о грушанке, которую можно было бы считать ложным ландышем, как бывают ложные грибы: ложный опенок, ложная лисичка, ложный шампиньон? Прямостоящая ветка грушанки усажена белыми колокольчиками. И растет грушанка в таких же лесных местах, где ландыш. Но почему-то у нее вместо смело очерченных эллипсоидных листьев невразумительные округлые листья. У ветки нет того классического изгиба, а торчит она прямо. И колокольчиками она усеяна со всех сторон, а не с одной только стороны, по внутренней линии изгиба. И цветы грушанки развернуты и слишком вылезают из них тычинки, придавая всему цветку оттенок даже неряшливости. И вот в результате того, что в одном месте «слишком», а в другом «чуть-чуть не хватает», весь цветок на конкурсе красоты никогда не достиг бы пьедестала почета.

Кому совсем «чуть-чуть не хватает» до ландыша, так это его ближайшей родственнице купене. Даже и листья похожи. Но зачем вместо двух, выразительно расходящихся от земли зеленых лопастей, наткнуто на длинную ветку в несколько этажей пять-семь пар тех же самых листьев? Зачем колокольчики так удлинены, нарочито вытянуты, превращены из округлых в некие белые трубочки, собраны в связочки по нескольку штук, как ключи на конце, и так висят?

Да, если в поисках единственно гениального решения художник (конструктор) комкал и бросал эскизы-черновики, которыми был неудовлетворен, то купена — последний черновик, перебив который наконец-то можно было откинуться с облегчением и счастливо закурить, разминая сигарету пальцами, все еще дрожащими от последнего творческого усилия. Черновики кончились — создан ландыш.

— Какой он?

— Самый лучший. Когда увидишь, не ошибешься.

У кого-то из прозаиков записано, как он, никогда не слышавший соловья, решил узнать его сам, по голосу, и как сначала принимал за соловьиные то одну, то другую птичью песенку. Но вдруг все пропало, исчезло, замерло. Огромные золотые обручи покатались по благоговейно онемевшей земле. Запел соловей.

Такое же чувство очевидной исключительности и непохожести ни на что другое испытал и я, когда, не соблазнившись другими цветами, остановился перед волшебной веточкой ландыша, расцветшего в зеленоватой еловой тени.

Выдержав первый экзамен на чувство прекрасного (при подсказке такого цветка, как ландыш, не так уж трудно было выдержать), я вынес из леса, на залитую солнцем опушку, пестреющую лиловыми, желтыми, синими, красными цветами, веточку как бы даже не солнечного, а лунного цветка.

Он был как русалка среди играющих румяных деревенских красавиц, как призрак среди пирующих пьяных рыцарей, как бледная невеста в фате среди пышащих здоровьем и весельем подруг. И если было сказано, что роза и лилия царствуют в цветочном царстве, как дневное и ночное светила на земле, то ландыш — самый преданный, самый верный и приближенный рыцарь лилии.

А между тем — вы не поверите! — это вовсе подземное растение, и цветы ему, можно сказать, не нужны. Растение живет и размножается под землей (вегетативно), так что, если вы увидите стайку ландышей в лесу, нужно иметь в виду, что вы видите одно-единственное растение, как если бы яблоню с многими цветами и листьями. Обратимся к более точному языку ботаники.

«Каждый знает, как много встречается в лесу ландышевых листьев, или, точнее, нецветущих стеблей, и как сравнительно редко встречаются стебли с изящными кистями цветков. Если подсчитать, какой процент стеблей ландыша цветет по отношению ко всем встречающимся на любом участке леса, то даже в самых урожайных на ландыши местах мы получаем совершенно ничтожные цифры. Окажется, что в лучшем случае один цветущий ландыш попадется на сотню нецветущих, а то и еще реже. Если же мы придем в лес осенью и посмотрим, сколько найдется в нем плодоносящих стеблей, несущих крупные оранжевые ягоды, то окажется, что их в лесу найти гораздо труднее, чем цветущие растения, и не потому что они мало заметны, значительная часть цветов опадает после цветения, не



завязывая плодов. Вместо ягод в таких случаях мы находим на стебле лишь засохшие цветоножки.

На что указывает этот факт? Очевидно, семенной способ размножения мало надежен для ландыша и у него должен быть какой-то другой способ размножения, обеспечивающий ему возможность такого широкого распространения в лесу.

Раскопки вокруг стеблей ландыша легко убеждают в справедливости такого предположения. В поверхностном слое почвы на глубине 6—8 см расходятся во все стороны тонкие белые шнуры, местами дающие густые борода белых корешков. Это — корневича ландыша, представляющие собой подземные стебли. Образуя под землей мощную сетку, они соединяют друг с другом довольно далеко отстоящие стебли, в результате чего большое количество ландышей оказывается в действительности одним, сильно разросшимся экземпляром... несомненно, что такой способ размножения является более надежным, чем семенное воспроизведение, особенно в условиях леса, где цветенье сильно подавлено и где молодым всходам приходится выдерживать суровое соревнование в борьбе за жизнь... Мы видим, таким образом, что ландыш проходит интересную подземную жизнь. Под землей целиком проходит первый год его жизни, здесь же постоянно находятся его подземные стебли, живущие много лет подряд, в то время как надземные побеги существуют лишь в течение нескольких летних месяцев» (Кожеников в А. В. Весна и осень в жизни растений. 1950, с. 126—129).

— Значит, что же получается! — должен воскликнуть на этом месте всякий поэт, романтик, жрец красоты. — Получается, что цветы для ландыша бесполезны, что его цветенье лишено забот о потомстве, то есть, по существу, всяких забот, потому что других забот у растения и нет, получается, что цветы для ландыша — чистое искусство! Не потому ли они так прекрасны?

Конечно, забота о семье, о тепле, о крове, об одежде, забота, короче говоря, о хлебе насущном во все времена была могучим двигателем всякого труда, в том числе и труда художника. Заботясь и зарабатывая, он писал быстрее и больше, из-под его пера или кисти появлялись рассказы и рассказы, роман за романом, полотно за полотном... Но все же самые совершенные, смелые и вдохновенные образцы художества возникали тогда, когда дух преобладал над немедленной пользой, когда цель была, но

отстояла немого подальше, нежели брезжила вдалеке, как зовущий свет, как ощущение правильности пути и как стремление дойти до заветной цели.

Скажем, что и у лаидыша не вовсе бесцельны цветы, хотя ничего не случится, если в этом году они не дадут семян. Над ним, говоря современным жаргоном, не каплет. Но время от времени копающееся под землей растение должно освежиться, обновиться, пройдя через грозиую, ослепительную, но его радостиую вспышку, по-нашему — любви, а по-научному — полового процесса.

В свое время и в своем месте было провозглашено: «Пусть цветут все цветы». Несколько позже было добавлено: «За исключением ядовитых». Так вот лаидыш — ядовит. Это общеизвестно. Но столь же общеизвестно, что вытяжка из него помогает работе человеческого сердца.

По-моему, не меньше вытяжки помогает работе человеческого сердца и сама красота его цветов, внушающих нам дополнительный стимул к жизни. Потому что среди немногих вещей, которые, в конце концов, будет жалко покидать на земле, ийдет себе место и лаидыш, весенний лесной цветок, прекрасный и совершенный образец вдохновенного творчества природы.

\* \* \*



Как бы смеяют друг дружку целые цветочные цивилизации, по меньшей мере, народы.

То скифы господствуют в южных русских степях, то их смеяют татары. А то еще были хазары, печенеги и половцы. То угрофинны расселяются от Невы до Урала: чудь, мурома, меря и весь, то славянские племена: вятичи, кривичи, древляне, поляне.

Гора от нашего села к реке никогда не бывает занята высоким луговым разнотравьем, травостоем, потому что на ней пасут скотину. Она постоянно покрыта плотной, мелкой травяной щеткой, вроде как подшерстком, сквозь который вырастают

время от времени в виде ости (если уже мы взяли это

сравнение) другие временные растения. Они-то и напоминают мне смену разных народов.

В конце апреля — в начале мая зеленая ровная поверхность нашей горы разукрашивается по всей ширине и длине крохотными синими (лиловатыми, впрочем) цветочками. Эти цветочки не поднимаются над основной постоянной травкой, напротив, они даже ниже ее и как бы вкраплены в зелень.

Они (разноцветность фиалки, какая-нибудь там фиалка опушенная или фиалка собачья) не бросаются в глаза и не видны издали. Подойдешь к горе и видишь перед собой зеленую раннемайскую гору, которая сейчас тебя плавно и ровно, как на крыльях, спустит к реке. Но, поглядев под ноги, обнаружишь в траве свежие и неожиданные в ту бесцветную пору синенькие крохотные цветочки. Увидишь сначала один цветочек у огромного и тупого своего башмака (как если бы пятиэтажный дом собирался наступить на девочку, играющую на тротуаре), тотчас увидишь и второй и третий и вдруг радостно обнаружишь, что вся гора расцвела этими цветочками, кое-где образующими густые коврики. Сядь поблизости и любуйся.

Если пойти в это время на другие косогоры, на склоны оврагов и холмов, всюду обнаружишь это тихое, скромное цветенье весенней земли, запутавшееся в густой травяной щетинке.

Скромный и мирный народец покажет миру, заявит о себе и исчезнет с попроща, как будто его и не бывало. Останется только в воспоминаниях, в лучшем случае в стихотворении, в песне, если вовремя попадается на глаза внимательному поэту. Как помним, именно об этих цветочках вспоминает девушка из повести Куприна (называли их «сои» и красили ими пасхальные яйца).

На место незаметных синеньких цветочков хлынет и обольет всю гору яркая, горячая волна племени одуванчиков. Этих не надо разглядывать, раздвигая пальцами траву вокруг. Выбежишь на линию, с которой начинается уклон горы, и даже зажмурнись от обилия жаркого золота, от обилия солнца и в небе и на земле.

Но пройдет некоторое время, схлынет и эта волна. Покроется гора тонкой и блеклой позолотой манжетки, которую мы в детстве называли еще божьей росой за то, что собирает в своих листьях большие прохладные капли.

Даже и не позолота, а так себе — желтоватый тон. Но,

конечно, если идти по горе в росистое утро, не направишься на сверкание бесчисленных самоцветов, которые дробят в себе так и сяк на составные радужные цвета белый свет и сияние солнца.

Но однажды увидишь гору еще и в новом неожиданном украшении. Нет в помине лиловых цветочков, нет в помине ярких одуванчиков, нет в помине желтоватой манжетки. Теперь словно полупрозрачный белый газ накиннули на зеленую траву, на зеленую гору. Легкое воздушное покрывало поддерживается на некоторой высоте крепкими стебельками, все более разветвляющимися кверху, словно нарочно для того, чтобы удобнее было держать на себе, пусть и невесомую, белую вуаль. Из земли поднимается один стебель, потом он ветвится на два, на три, а те, в свою очередь, достигнув предела своего роста, разбегаются на ажурные зонтики. Каждая «спинца» зонтика оканчивается крохотным беленьким цветочком. Если бы разглядеть этот цветочек в отдельности, увидел бы, что он несколько похож на бабочку (величина — в половину спичечной головки). Но кто же будет разглядывать в отдельности такой цветок? Воспринимается сразу весь зонтик, а еще проще — целая гора. Цветет темно.

Не знаю, кто как, а я люблю зонтичное. Мне нравится сама конструктивная схема зонтичного растения. Если растение обращено к небу, к космосу для того, чтобы улавливать энергию, свет, волны, импульсы, точно так же, как мы пытаемся при помощи металлических антенн улавливать радио- и телеволны, то посмотрите на зонтик тмина, или дягиля, или обыкновенного огородного укропа — какая четкая и разумная схема!

Один стержень (стебель) делится вдруг на множество лучей, направленных по сторонам и кверху. Растение как бы подставляет себя солнцу и небу. Именно так, похоже, мы подставляем раскрытые ладони под первые капли давно ожидаемого дождя. Но стремление взять от неба как можно больше заставляет каждый лучик, каждую «спинцу» зонтика делиться еще на лучи, образовать новый, самостоятельный зонтик. Как если бы, при жажде прикоснуться к дождю и воспринять его, на кончике каждого нашего пальцаросло бы еще по ладони, с растопыренными пальцами. У нас это было бы безобразно и уродливо, у зонтичных получается красиво, ажурно, стройно.

В конце концов каждое почти растение разветвляется на все более и более мелкие ветви, дабы превратить себя

в антенну и дабы антенна эта получилась наиболее эффективной, но согласитесь, что не у каждого растения мы встречаем такую стройную и ясную схему. Словно прочие растения набрасывал свободным и фантазирующим карандашом раскованный в своем творчестве художник, а зонтичные вычерчены прилежным и педантичным чертежником.

На каждом кончике этой сложной и экономичной антенны присело по крохотному мотыльку с белыми или зеленоватыми крылышками. Отдельный цветочек надо разглядывать в увеличительное стекло, а в целом — белая кипень около тына и даже вот белая газовая вуаль над просторным склоном холма, ведущего к нашей речке.

Зонтичные для меня — признак полнокровного лета, вошедшего в силу. Если бы я был художник и если бы захотел написать этюд под названием «Лето», я бы изобразил тот угол нашего запущенного беспризорного сада, где около покосившегося тына белой пеной, белыми клубами поднимаются душистые зонтичные травы.

С весны — тын, да земля, да куст крыжовника около тына. Но вдруг вскипает белая волна и захлестывает и топчет под собой и землю, и крыжовник, и сам забор. Надо поднять руку, чтобы достать до верхушек трав.

\* \* \*



Лет семь назад я провел три недели в Данни. На одной крестьянской ферме я увидел некое зонтичное растение, поразившее меня своими размерами. Право же, в нем было не менее трех метров. На такую высоту оно поднимало зонты, мало чем отличающиеся в размере от настоящих дождевых зонтов, от которых и получило название все это зонтичное семейство.

Я спросил у фермера, нельзя ли набрать семян. Фермер ухмыльнулся, как, вероятно, ухмыльнулся бы наш крестьянин, если бы у него попросили семян.

репейника, горького лопуха. Тем не менее я набрал горстку семечек, завернул их в бумагу и положил в спичечный коробок. Я предвкушал удивление наших деревенских жителей, которые вдруг увидели бы где-нибудь около своего огорода огромное растение — каждый зонтик по тележному колесу.

Около дома была площадка, маленький пустырек, освободившийся, когда сломали некоторые дедовские постройки. Мы решили засадить эту площадку по краям шиповниковыми кустами и рябинами, а в середине вишневыми деревьями. Тут на рыхлую землю я и выбросил дальние, можно сказать, заморские семена.

Сначала я колебался. Вспоминались разные поучительные истории. Как запленила все водоемы Европы случайно завезенная канадская злодея (прилипла к днищу корабля), прозванная даже потом водяной чумой. Как американская семья путешествовала по Африке и мальчик привез домой две улитки, и как мать мальчика выбросила этих улиток за окно, и как они вскоре съели растительность целого штата. Некоторые странички о сорняках из книги Александра Васильевича Цингера «Занимательная ботаника» тоже не давали покоя.

«Что такое сорные травы! Ученые-специалисты разделяют их на несколько различных категорий, но мы, не вдаваясь в подробности, будем называть сорными травами все те растения, которые независимо от нашего желания и даже наперекор нашим стараниям засоряют поля, луга, огороды и сады...

Представьте себе, что мы с вами на глобусе стали очерчивать области естественного распространения различных видов растений. Из тех примерно 250 тысяч видов высших растений, которые изучены, подавляющее большинство видов было бы отмечено на нашем глобусе лишь небольшими участками, а иногда всего каким-нибудь одним островком. Наберется лишь немного десятков таких растений, которые расселились если не по всему свету, то на половине всей суши и более... Это — весьма важная особенность многих из тех трав, которые мы старательно искореняем с огородных грядок и с садовых клумб. Они — «граждане мира», космополиты. У каждого из них есть, конечно, своя родина, то место, где когда-то впервые выросал тот или иной вид, но они отлично уживаются и далеко за пределами этой родины: и в Северном полушарии и в Южном, и в Старом и в Новом. Почему? Может быть, они отлича-

ются особой неприхотливостью, невзыскательностью к условиям жизни? Нет! Любой опытный садовник ботанического сада скажет вам:

— Сорная трава отлично растет там, где мы ее стараемся уничтожить, но на приготовленных для нее грядках, несмотря на все наши заботы, зачастую одни только... ярыки с названиями... Быстроту и упорство размножения сорных трав лучше всего можно было проследить в тех случаях, когда они вторгались и заполняли новые для них местности. Среди очень распространенных наших сорняков есть чужеземцы... Возьмем, например, невзрачный канадский мелкопестичник, в песчаных местностях заполнивший все пустыри, залежи, дороги, берега рек... Это — один из знаменитых «завоевателей» Европы. Он случайно попал в Париж в середине XVII века. Сохранились сведения, что его хохлатыми плодами было набито привезенное в 1655 году из Канады чучело птицы. Щепотка плодов случайно разлетелась по ветру, семена попали на подходящую почву. Проросшие растения развились, и в результате лет через сорок мелкопестичник сделался по всей Европе самым обыкновенным растением.

За последние полвека, уже на моей памяти, — пишет далее А. В. Цингер, — и отчасти на моих глазах, произошло вторжение к нам другого американского растения — пахучей ромашки... Она стала распространяться по Европе с начала 70-х годов прошлого столетия... ботаники полагают, что ее семена были завезены с американским зерном. На моей памяти пахучая ромашка заполнила Тульскую губернию. Я отлично помню, как отец мой ездил на ботаническую экскурсию на берег Оки, километров за 60 от наших мест, и привез оттуда первый экземпляр пахучей ромашки, которая заняла тогда одно из почетнейших мест в его гербарии. Прошло лет пять, и американскую ромашку можно было легко найти по всей линии Московско-Курской дороги, прорезывающей наш район от севера на юг. Прошло еще лет пять, и она стала встречаться все дальше от железнодорожной линии, а еще лет через пять все края дорог, все незаезженные улицы деревень, все дворы, все пустыри сплошь были заселены американской эмигранткой. Ступая по коврам пахучей ромашки в нескольких шагах от дома, было смешно вспомнить радость отца, нашедшего «редкостную новинку».

Мне тоже стало мерещиться по ночам, как наше село, наши поля и сады окружают со всех сторон полчища трех-

метровых гигантов, наступающих стенами и заполняющих все вокруг. Вот уж нет ни деревенек на склонах холмов, ни разнотонных полей ржаных, ячменных, картофельных, гречишных, клеверных, гороховых, овсяных и льняных, нет ни тропинок, ни дорог между этими полями, но всюду — ровные непроходимые заросли трехметрового зонтичного сорняка, вроде сплошного леса, вроде тайги. Люди разбежались в другие места, замерла вся жизнь, на корню истлевают брошенные дома, чьи крыши едва выглядывают из дремучих зарослей.

Американская ромашка — пустяк! Каких-нибудь 10—15 сантиметров от земли, мягкий коврик под босыми ногами. Другое дело, когда древовидные растения, высеянные моей легкой преступной рукой, начнут распространяться вдаль и вширь, завоевывать луга, берега рек, овраги, поля, дороги, деревни...

Но дело было сделано, семена брошены в почву, раскиданы по земле. Теперь их обратно не соберешь...

На другой год никаких необыкновенных растений на моей площадке не проросло. Потом начали разрастаться деревья и кусты, которые, как редко я их ни сажал, через три года перепутались, образовали густоту, колющую мешанну, усугубляющуюся летом крапивой, репейником и всякой другой травой.

Однажды мне понадобилось залезть в эту зеленую гущу для того, чтобы попытаться спасти куст жасмина, совсем затененный соседними деревьями.

Едва ли не ползком я пробрался под непронцаемый для солнца полог рябиновых и вишневых ветвей и увидел, что под их пологом не растет даже трава.

Куст жасмина погнил. Торчали сухие палки, и только два зеленых побега говорили о том, что борьба за существование продолжается и пульс еще бьется.

Я знал, конечно, что в конце июня пересаживать растения нельзя. Но этот куст был мне очень дорог. Увидев, что он еще жив и борется, мне захотелось оказать ему немедленную, хотя бы рискованную помощь. В конце концов, если окопать растение со всех сторон, подальше от стволов, от стеблей, и как можно глубже, если выворотить его потом вместе с глыбой материнской земли и опустить эту глыбу бережно в большой таз, и бережно перенести, и бережно поместить в заранее вырытую яму в хорошем месте, а потом поливать и ухаживать... поболее, перестрадает, но для своего же блага.



С жасмином я так все и сделал и тогда увидел, что загораживаемые сухим жасминным кустом, то есть в еще большей и глубокой тени, без всякого травяного соседства, из влажноватой гладкой земли растут два больших, продолговатых, пятилопастных, на толстых черенках лопуха, совсем не похожие на какие-нибудь наши местные лопухи.

Я рассказал о своей находке за столом во время обеда, и моя сестра Екатерина Алексеевна, человек очень внимательный к природе, меня огорошила.

— Это растет какое-то твое заморское растение. А ты разве не знал? И прошлый год оно там росло, и три года назад. Только оно не вырастает как полагается, потому что ему там очень плохо.

Если нельзя пересаживать среди лета древесный куст или деревце, то тем более нельзя этого делать с травянистым растением. Но удачная пересадка жасмина вдохновила меня на дальнейшие садовнические подвиги, а вернее сказать — глупости. Мой пересадческий зуд подхлестывался воображением, которое почему-то не рисовало, как засыхает и гибнет неведомое растение, уже перенесшее несколько лет тяжелых невзгод, но рисовало только радужные картины: как хорошо этому растению на новом месте, как оно радуется и, достигнув той, памятной мне высоты, набирает огромный зонтик, расцветает и, благодарное, сыплет мне в пригоршни щедрые многочисленные семена.

Как ни глубоко я окопал со всех сторон несчастное растение, оно не хотело колебаться, и, взяв еще поглубже, я с отдачей в сердце услышал, как под острым железом хрустнул толстый и сочный корень.

Сестра же и начала ухаживать за обоими новоселами. Тотчас она их полила и сказала, что будет поливать каждый день утром и вечером.

На другое утро я пошел поглядеть на свои растения и увидел, что оба чувствуют себя хорошо. За жасмин я не опасался. Но благополучие неизвестного растения показалось мне мнимым. Ведь даже и сорванный цветок, поставленный в воду, не вянет несколько дней.

С другой стороны, почему ему завянуть? Ему, правда, пришлось проделать принудительную эмиграцию, но ведь из каких условий в какие? Или не главное, что из плохих условий в хорошие, а главное, что из привычных в непривычные? Обращались же с ним по возможности бережно. Не выдернули ведь, не бросили на новое место — расти как знаешь. Пересадили вместе с материнской землей.

Корень, правда, пришлось перерубить. Но у какого эмигранта не перерублены корни? Однако выживают, живут. Без крупницы материнской земли. Отрождаются и живут. Тем более что за моим «эмигрантом» предполагался уход.

Через три дня сестра пришла из сада, заметно отводя взгляд.

— Ну как наш «датчанин»?

— Да ведь, кажется, ничего. Большой лист, правда, прилег на землю. Я его загородила газетой. Может быть, ему слишком жарко?

— Там рассеянный свет. А под газетой вовсе не будет никакой жизни. Газету надо убрать.

Но увы, газета была уже как белая простыня, которой накрывают с головой только что отошедшего человека, покойника.

Второй лист пока продолжал держаться, не синкал, не обвисал, как тряпка. Значит, шел снизу, от корней некоторый напор соков, который заставляет стебли трав стоять вертикально и быть упругими, а листья деревьев держаться даже горизонтально, что гораздо труднее.

Перерубленные корни борются там, в земле. Им нужно питание, идущее сверху, чтобы успели зарубцеваться раны, чтобы успели вырасти новые, аварийные корешки. Из всех сил они стараются поддерживать один лист, ибо с двумя справиться им не под силу.

Но вот и второй лист дрогнул и сдал. Некая слабость, вялость разлилась по нему. Так начинается слабость волейбольный мяч, когда из него через незаметную дырочку начинается утечка воздуха.

Корни не в силах больше поддерживать лист в напряженном, живом, рабочем состоянии. Лист, в свою очередь, перестает подавать корням то, что им нужно. Растение погибает. Какой выход оно может найти из создавшегося положения? Какие меры принять? По-видимому, на наш человеческий взгляд,— никаких. Положение его безвыходно.

Какое же именно растение загублено мной, я мог только гадать. Судя по ботаническим атласам, это мог быть какой-нибудь из борщевиков. Например, Монтеверде пишет: «Борщевик пушистый. Крупное зонтичное, ветвистый стебель которого достигает 2—3 метров. Листья большие, сверху голые, снизу пушистые, пластины их перисто-рассечены на 5—7 крупных перисто-лопастных долей... Дико растет в лесах Крыма и Закавказья; разводится в садах. Цвет-

тет летом. Из других наших исполненных борщевников в садах чаще разводится борщевник волокнистый, встречающийся в гористых лесах Крыма и Кавказа...

А мог быть и каким-нибудь из наших борщевников. Например, вырос бы он у меня, выхоженный с таким трудом, привел бы я к нему наших мужиков поглядеть на заморское диво, а мужики бы рассмеялись: «Да вон в Крутовском овраге, в лесу, такого дна сколько угодно!» Для новеллы лучшего конца, пожалуй, и не придумаешь.

Однако пока я лазал по ботаническим атласам, жизнь продолжалась. Там, где сохранился около земли два увядших листа, вдруг появился острый, желтоватый, похожий на волчий клык, росток. Через два дня он поднялся до десяти сантиметров, а потом, еще через несколько дней, стал длинным, зеленым, сочным и развернулся в новый лист. У основания этого нового листа прокусил землю еще один волчий клык. Растение победило все невзгоды, в том числе и мою глупую безвременную пересадку с места на место. Теперь не будем гадать. Теперь растение само расскажет о себе все, что мы сумеем воспринять, глядя на него и сравнивая с другими растениями.

...Тмин, в связи с которым мне вспомнилась эта история, среди зонтичных считается карликом. Много-много, если он поднимет свои зонтики на полметра от земли, и то где-нибудь среди высокой травы, в кустах, около прясла. Тмин семидесяти сантиметров ростом надо считать из ряда вон выходящим. На открытом же, притоптанном скотной месте, вроде нашей горы, он поддерживает ту самую «вуаль» своего цветения на высоте чуть-чуть выше обыкновенного школьного карандаша.

Должны были приехать друзья, и мне понадобилось три горсти тминных семян, чтобы приготовить настойку. Однако, как и во всяком деле, когда ходишь просто так, кажется — вся земля засеяна тмином, но когда надо собирать, он куда-то весь исчезает.

Сосед подсказал:

— Ступай на место бывшего вашего залога.

— Почему?

— Как же? Дедушка Алексей Митрич, бывало, идет по дороге, увидит тмин, сощипнет — и в карман. А потом на своем залоге рассеет. Подсеивал, значит. От тмина и сено душистее, коровы с аппетитом едят, и молоко полезнее, и так, если понадобится, в огурцы, в капусту, в графинчик. А то и в хлеб добавляли...

Я подумал, что насчет дедушки — фантазия моего соседа, но придя на место, где раньше был наш залог, я действительно увидел изобилие тмина, оттесненного, правда, тракторными и автомобильными колеями, буграми и ямами, и тотчас насобирал несколько горстей его замечательных, душистых и целебных семян.

Хотя и случайно, но так и получилось, что подсеивал дедушка для своего внука.

\* \* \*



Берем Махлаюка: «Пижма обыкновенная. Народные названия: полевая рябина (большинство областей РСФСР), трилистник (Сибирь), горлянка (Тульская, Воронежская обл.), девясильник желтый (Пермская, Кировская обл.), маточник (Воронежская обл.), пижма дикая, горлянка (УССР)...»

Ну, во-первых, если уж говорить о народных названиях, то вряд ли кто именно так и скажет по-книжному: «полевая рябина». Получилось бы очень искусственное, неточное название.

Скажут (в большинстве областей РСФСР) не полевая рябина, а рябинник. И в этом есть тоикость. Пусть не садовая, не черноплодная, не ивежеи-ская, не лесная, не гранатовая — полевая, но все-таки никаких ягод. Правда, что листья этой травы немного похожи на рябиновые, а кисть цветов похожа на желтую рябиновую кисть. То есть, значит, цветы похожи на ягоды. Ну, значит, и есть рябинник. Трава, напоминающая рябину.

Что касается названия «пижма», то я за сорок семь лет своего существования на земле ни разу не слышал этого слова из уст других людей, но исключительно читая в книгах. Вероятно, оно употребляется только на Украине и в более южных российских областях.

Мое лирическое отношение к этой траве вполне объяснимо. Рябинник для меня почти всегда синоним и как бы

олицетворение тревожной грусти. Это позднелетний, предосенний цветок. Когда растут васильки и ромашки, колокольчики, незабудки, купальницы и ночные фиалки, когда небо звенит жаворонками, а ольховые кусты около реки соловьями, когда кажется, что лето длится долго, если не всегда, и что все еще впереди, рябинник тогда только набирает листву, кустится, не бросаясь в глаза пешеходу и не оказывая никакого влияния на его настроение. Когда же рябинник достигает своей метровой высоты и распустит ярко-желтые кисти своих цветов, обозначив собой все тропинки, дороги, межи, края полей, канавы, границы сельских кладбищ, тогда поздно думать о лете, надо считать, что оно прошло. Расцветает рябина для лета как приговор, как запоздалый диагноз распространенной теперь болезни, когда уж ничем нельзя помочь, даже и радикальным ножом хирурга.

Нет, вокруг еще много тепла и света, еще нет никаких очевидных признаков осени, холодных ветров, морозящих дождей, черной земли, черной темени. Все сияет, зеленеет, золотеет, дышит зноем, утопает в небесной лазури. Но сердце над расцветшим рябинником знает уже вопреки бездумному летнему полдню, что где-то в очень большой глубине природа дрогнула, надорвалась, надломилась и песенка, как ни грустия, спета. Цветы рябинника на земле как крик журавлей в небе, как желтый лист, вдруг упавший на речную воду при внезапном и сильном порыве ветра.

А казалось бы — мощное, пышущее здоровьем растение, не томиный цветочек, не худой стебелек, сгибаемый ветром так и сяк.

Зацветает рябинник. Не успели оглянуться, уже зацветает рябинник. Не успеешь оглянуться, как уже торчат из-под снега его сухие темные стебли. Ведь если торчит из-под снега какая-нибудь трава, то в первую очередь рябинник. И зимний ветер тихонько звенит в его пересохших ломких стеблях, и птички шелушат его почерневшие кисти, роняя на снег мелкий мусор и мелкие, как пыль, семена.



Сколько бы мы ни убеждали широкие массы трудящихся, что они совершают грубую ошибку, называя ромашками цветы, которые на самом деле называются поповником, мы не заставим их отказаться от первичного, освященного веками и даже искусством (песнями, во всяком случае), представления о ромашке как о крупном цветке с желтой плоской серединкой и с крупными белыми лепестками по краям.

«Давай погадаем на поповнике?» Так, что ли? «И не выросла еще та ромашка, на которой я тебе погадаю». «И не вырос на

земле тот поповник...» Нет уж, пусть лучше все мы ошибаемся, но останемся с ромашкой.

А между тем кинга пишет о цветке, на котором мы гадаем, обрывая белые лепестки, что у него, у этого цветка, «цветочные корзинки одиночные, крупные, белые, похожие на ромашку». Вот как. Лишь похожие на ромашку.

Но товарищи и дорогие друзья! В конце концов названия цветам даем мы, люди, не зная, как они называются на самом деле. В конце концов мы перененовываем целые города. Так ли уж сложен, даже с точки зрения чистой науки, вопрос — считать поповник разновидностью ромашки и наряду с другими разновидностями, с ромашкой аптечной, душистой, долматской, римской, собачьей, непахучей, розовой и мясокрасной, писать еще, скажем, ромашка крупная?

Интересен в связи с ромашкой (простите, с поповником) еще и такой вопрос. Если все в природе целесообразно (а так оно и есть), то мы, встречаясь с каким-нибудь явлением, всегда вправе спросить: а зачем?

— Зачем дереву листья?

— Чтобы улавливать солнечную энергию и углерод, чтобы выделять кислород, чтобы испарять влагу, чтобы осуществлять фотосинтез.

— Зачем растению корень?

— Чтобы устойчиво держаться в почве и усваивать из почвы нужные вещества.

— Зачем тычинки и пестики?

— Тычинки вырабатывают пыльцу, а пестик является женским органом размножения.

— Зачем одуванчику парашютик, клену крылышки, репейнику колючки-зацепки, ковылю пушистая ость, землянике сладкие сочные плоды?

— Чтобы удобнее распространять по белому свету свои семена.

— Зачем цветам аромат?

— Вопрос неясный и спорный. Последние опыты показывают, что в приманке насекомых он играет третьестепенную роль. Высказывались предположения, что он предохраняет цветы от озябания, но цветы пахнут и в жаркое время. Можно предполагать, что аромат создает вокруг цветка микроклимат, микросферу (нечто вроде скафандра), но многие цветы не пахнут и тем не менее прекрасно себя чувствуют в земных условиях. Если цветы влияют на своих соседей и либо угнетают, либо поощряют их, то, может быть, не последнюю роль в этом играет аромат цветов? А может быть, это средство связи между цветами? Может быть, обычный экземпляр ночной фиалки лучше себя чувствует и лучше растет, если знает, что неподалеку на земле растут другие экземпляры этого же вида? Одним словом, вопрос неясный и спорный.

— А зачем поповнику (то есть ромашке) белые длинные лепестки?

— На этот вопрос ответа нет.

— Архитектурное излишество? Чистое искусство? Неизвестная нам необходимость? Не знаем.

Если приманивать насекомых, то одуванчик — ведь желтый — делает это лучшим образом. Да и мало ли желтых цветов, к которым прилетают пчелы, шмели, мухи, бабочки. Ромашка вполне могла бы обойтись своей желтой серединкой. Ведь это и есть ее цветы, а про белые лепестки говорится, что они хотя и пестиковые (по происхождению), но ложные и в процессе размножения никакого участия не принимают.

В природе много разных загадок. Так, например, многие поколения ученых пытаются разгадать, почему кукушка откладывает яйца в чужие гнезда. Зачем птицы совершают перелеты почти через весь земной шар? Не меньшую

загадку представляют неожиданные, фантастические миграции некоторых грызунов, когда несметные полчища леммингов устремляются даже в океан, где гибнут.

Секрет, подобный ромашкинному, не столь вопиющ, из ряда вон выходящ и очевиден. Он как бы незаметен на скользящий поверхностный взгляд, но он такой же правомочный секрет, в ряду других секретов, которые природа нам преподносит.

Счастливая случайность для нас, что ромашки цветут яркими белыми лепестками. Представьте себе, сколько бы мы потеряли, если бы это растение спохватилось и решило избавиться от праздного украшательского излишества и цвело бы только желтыми плотными, похожими на пуговицы, лепешечками. Кошмар!

С ромашкой связано и еще одно мое ощущение. Красив и пышен цветок хризантемы, а я его не очень люблю. Я знаю, что хризантема так или иначе, рано или поздно выведена, произошла от ромашки. Поэтому, когда я держу в руках мохнатую шапку, состоящую из сотен перепутавшихся, как мочалки, лепестков, я все равно сквозь эту махровую путаницу вижу первоначальную четкую схему ромашки, и ромашка каждый раз загорается для меня хризантему, мешает ее воспринять и полюбить.

\* \* \*



«И вот былинку понесла река», — проходит ритмичным повтором в романе Леонова «Русский лес».

«И в небе каждую звезду, и в поле каждую былинку», — благословляет А. К. Толстой.

В песне жалуется девушка, что она сирота, «как былинка в поле». И никак не могла бы девушка в песне сослаться на какой-нибудь другой цветок. Как незабудка в поле, как ромашка в поле, как колокольчик в поле... Почему-то все эти цветы (а их ряд можно продолжать) не несут дополнительного заряда грусти и



тревожной тоски. Такой заряд несет в себе другое слово — былинка.

А в сущности, что такое былинка? Среди двухсот пятидесяти тысяч видов трав и цветов (или сколько их там?), известных человеку и обозначенных названиями, никакой былинны нет и не было. Что такое былина? Нечто близкое, обобщенное, вроде — «животины», применительно к животным?

Может быть, так оно и есть. Может быть, народ прозвал былинкой всякую одинокую, сиротливую травинку, а тем более засохшую, прошлогоднюю.

И все же одна из самых известных трав так прямо и называется в наших местах — былина. И если сказать кому-нибудь: «Я пойду и нарву былинны», — никто не подумает, что нарву сурепки, дягиля, молочая. Но все так и поймут, что я пошел за былиной. Растение это — обыкновенная горькая полынь.

Не трудно вообразить, какое возражение вызовет последняя фраза у ботаника, потому что она и впрямь ботанически неграмотна. «Какую же полынь, — строго спросит ботаник, — вы имеете в виду: обыкновенную или горькую?» Ибо существуют на свете полыни: обыкновенная, австрийская, горькая, метельчатая, цитварная и еще другие полыни.

Ботаник прав. Но если не вдаваться в тонкости, то для народа всякая полынь прежде всего горька, и всякая горькая полынь вполне обыкновенна.

И вот вам пример, как можно завоевать популярность, не будучи ни ландышем, ни васильком, ни фиалкой, не бросаясь в глаза желтыми, белыми и красными цветами, ни даже хотя бы сочной зеленью, как крапива. Как будто нарочно, чтобы исключить всякую внешнюю привлекательность, полынь родится серого цвета, который, как известно, является символом вопиющей бесцветности.

И чем же она завоевала свою популярность? Не сладостью ли плодов, подобно землянике? Не вкушением ли и свежестью листьев и стеблей, подобно салату, капусте, щавелю, сельдерею? Не сочностью ли корней, подобно моркови, петрушке и редиске?

Но на полыни не растет никаких ягод. Но вся полынь, начиная от невзрачных цветочков и кончая деревянистыми корнями, вполне несъедобна не только для человека, но и для животных — ее не ест никакая домашняя скотина.

Даже другие растения сторонятся ее и растут всегда на почтительном отдалении.

Чем же завоевала полынь широкую, всеобщую популярность? Своей неповторимой полынной горечью! И еще раз повторю — вот вам пример. Уж если вы хотите быть горьким и несъедобным, будьте образцом горечи и несъедобности, неким идеалом горечи, будьте последовательны своей горечи, идите по пути горечи твердо и до конца. Лишь в этом случае вы добьетесь признания, даже уважения своего качества, если даже оно не больше, чем полынная горечь.

Ну, правда, помогает полыни и ее неповторимый, незабываемый, если уж кто растер в пальцах и понюхал, запах.

На стихотворение Майкова «Емшин» сослаться уж как будто и неприлично, оно становится общим местом. Но ведь факт же, что Хана, забывшего свою родину ради чужой стороны, не могли возвратить никакие соблазны, пока не понюхал он лукаво присланный ему пучок сухой полыни.

Путешествуя по казахстанским и киргизским степям, я так надышался полынью, что вполне понимаю Хана, вспомиравшего через аромат засохшей травы весь огромный и сложный комплекс родины и тотчас помчавшегося на коне в родинные пределы, навстречу широким и светлым, сухим и терпким горьковатым ветрам.

Горечь полыни приносили на своих губах и в складках одежды киевские дружины, воевавшие половцев. Вкус полыни будет долгие годы сопровождать воспоминания тех лет, когда вздымались и опускались конармейские клинки и сквозь степную полынную пыль медленно проступали красивые пятна степных закатов.

Пишу сейчас за городским столом, в окружении ничем не пахнущих городских предметов, а слышу запах степи под Акмолинском, Атсабаром, Кустанаем и еще дальше в предгорьях Тянь-Шаня и Алатау. Жестокое киргизское седлецо, тяжелая камча на руке, пиала с кумысом, принятая из рук гостеприимной хозяйки, кизячий дымок костра, уже приправленный ароматом вареной баранины, мягкая кошма в теплой юрте, предчувствие полиной луны над разогретой днем, но странно остывающей ночью степью, и полынь, полынь, полынь... Велика и устойчива власть ее запаха над нашей памятью. Не зря эту траву у нас еще называют — былина.

## ИЗВЛЕЧЕНИЯ

К. Тимирязев. «Жизнь растений»



«Растение питается для того, чтобы расти, растет для того, чтобы питаться, т. е. увеличивать поверхность принимающих пищу органов. Эти два совместных процесса могут длиться очень долго, у некоторых растений тысячелетиями, но тем не менее им наступает предел, хотя, собственно говоря, мы не в состоянии объяснить себе необходимость подобного предела, мы не в состоянии понять, почему бы один и тот же растительный организм не мог существовать неопределенно долгое время».

«Для поддержания растительных форм необходимо, чтобы они от времени до времени обновлялись посредством процесса слияния двух отдельных клеточек. Значение, необходимость, смысл этого закона существования двух полов для нас совершенно темны: это только эмпирический закон, основанный на совокупном свидетельстве всех нам известных фактов».

«В кокосовых плодах замечательны следующие особенности: наружная кожа непроницаема для морской воды, а толстый волокнисто-мочалнистый слой содержит воздух, что и поддерживает орех на поверхности моря. Далее следует очень твердая скорлупа и большая полость, наполненная водянистой жидкостью — кокосовым молоком. Эта жидкость составляет большой запас пресной воды для потребностей зародыша в течение его далекого морского плаванья, совершенно так, как это делают моряки для дальних экспедиций».

«Другой способ... основывается на обоюдной пользе, на привлечении животных известными частями плода, годны-

ми в пищу. Таковы сочные и мясистые плоды, например, земляники или косточковые плоды вишни, черемухи, персика, малины и т. д. ...необходимо, чтобы мякоть плода привлекала животное, как лакомая пища, и бросалась ему в глаза, и в то же время, чтобы семена были защищены так, чтобы могли проходить без вреда через пищевой канал животного. Это осуществляется таким образом: пока семена развиваются и еще не образовали толстой защищающей их оболочки, вкус плодов своим изобилием кислот и разных терпких, вяжущих веществ не привлекает животных, да и к тому же они мало заметны, так как не отличаются цветом от листьев. Но когда семена созрели и получили защищающую их оболочку, в плодах накапливаются сахаристые, крахмалистые и другие питательные вещества, и окраска плодов бросается в глаза. Особенно распространены яркий красный или желтый цвет. Этот способ разнесения семян вместе с извержениями животных выгоден для растения еще и тем, что почва в ближайшем соседстве оказывается богато удобренной».

«...вся листовая поверхность клевера в 26 раз превосходит площадь земли, занимаемую этим растением, так что десятина, засеянная клевером, представляет для поглощения лучей солнца зеленую поверхность в 26 десяти. Другие растения дают более высокие цифры. Эспарцет имеет листовую поверхность в 38, а люцерна в 85 раз более занимаемой ими площади. Смешанные травы, по всей вероятности, дали бы еще более высокие цифры».

«Но тут-то именно, на этом кажущемся пределе, физиолог начинает смутно сознавать, что его задача не исчерпана, что из-за всех этих частных вопросов всплывает один общий, всеобъемлющий вопрос: почему все эти органы, все эти существа так совершенны, так изумительно приспособлены к своей среде и отпавлению? Чем поразительнее факт, чем совершеннее организм, тем неотвязчивее вопрос: да почему же он так совершенен? Как, каким путем достиг он этого совершенства? Неужели стоило сделать такой длинный путь для того, чтобы в конце его услышать лаконический ответ: не знаю, не понимаю и никогда не пойму. Правда, естествоиспытатель охотно, быть может, охотнее и откровеннее других исследователей, всегда готов сказать: не знаю; зато тем настойчивее хватается он за первую возможность объяснения, тем ревнивей охраняет он те обла-

сти знания, куда успел уже проникнуть хотя бы слабый луч света».

«Жизнь растения представляет постоянное превращение энергии солнечного луча в химическое напряжение; жизнь животного, наоборот, представляет превращение химического напряжения в теплоту и движение. В одном заводится пружина, которая спускается в другом».

«Дрова горят, животные горят, человек горит, все горит, а между тем не сгорает. Сжигают леса, а растительность не уничтожается; исчезают поколения, а человечество живет. Если бы все только горело, то на поверхности земли давно не было бы ни растений, ни животных, были бы только углекислота да вода.

Очевидно, в природе должно существовать явление, обратное горению, т. е. превращение веществ, вполне сгоревших, в вещества, вновь способные к горению. Рядом с образованием углекислоты должен существовать и обратный процесс разложения этой углекислоты, образованной повсеместным горением».

«В природе должен существовать процесс, который этот испорченный воздух вновь превращает в хороший. Не принадлежит ли эта роль растению?»

«Животные поглощают кислород и выделяют углекислоту; растения поглощают углекислоту и выдыхают кислород... растение и животное представляют химическую антитезу».

«Это роль посредника между солнцем и животным миром. Растение или, вернее, самый типичный его орган — хлорофилловое зерно — представляет то зерно, которое связывает деятельность всего органического мира, все то, что мы называем жизнью, с центральным очагом энергии в нашей планетной системе. Такова космическая роль растения».

«Это превращение простых, неорганических веществ, углекислоты и воды в органическое, в крахмал, есть единственный, существующий на нашей планете, естественный процесс образования органического вещества. Все органические вещества, как бы они ни были разнообразны, где бы они ни встречались, в растении ли, в животном или в человеке, прошли через лист, произошли из веществ, вы-

работанных листом. Вне листа, или, вернее, вне хлорофиллового зерна, в природе не существует лаборатории, где бы выделялось органическое вещество. Во всех других органах и организмах оно превращается, преобразуется, только здесь оно образуется вновь из вещества неорганического».

\* \* \*



«Привыкли считать, что солнце у всех одно и земля одна. И тут есть две крайности. Так и можно считать единственным и солнце и землю, если приподняться, отвлечься и вести разговор на уровне общих процессов, на уровне, там, поглощения углекислоты, процессов в хлорофилловом зерне, в прорастающем семечке. Но в другой крайней точке, можно сказать несколько не преувеличивая, что у каждого отдельного растения (не вида, а именно растения, экземпляра) своя земля и свое солнце. На этот одуванчик падает тень от садовой

избушки, а на этот одуванчик — не падает. У этого под корнями оказался обломок кирпича, а у этого в корнях оказалась гнилушка. Мимо этого во время дождя всегда бежит ручей, а мимо этого не бежит. Этот оказался на южном склоне оврага, а этот — на северном. Этот в кустах, а этот на чистом месте. Этого облучает своими жесткими фитонцидами близко стоящая черемуха, а этого осеняет мягкая широкошумная липа. Затем начинается более широкая разница: в кислотности почвы, во влажности воздуха, в количестве годового тепла, в господствующих ветрах, в морозах и паводках, в высоте над уровнем моря, в географической широте...

Что же делать одуванчку, который вынужден расти в тени садовой избушки и которому больше бы нравилось расти на открытой поляне, где и растут его многочисленные соплеменники. Очевидно, ему нужно перебраться, перебежать к ним из тени на солнце. Незабудке, случайно

оказавшейся на сухом косогоре, совершенно необходимо сбегать вниз на дно оврага, где постоянно сочится вода. Валернана, выросшей на полевой меже, необходимо срочно перебраться в приречные кусты. Пнжме, выросшей в приречных кустах, необходимо срочно перебраться на полевую межу.

Убегая из одних микроусловий и задерживаясь в других, постепенно переселяясь, путешествуя по земле, распределяясь и перераспределяясь, сортируясь и группируясь, растения выбрали себе те места, те условия на земле и под солнцем, где им больше по вкусу, и теперь, обозревая растения в какой-нибудь книге, мы можем точно их разделять и говорить так: «Распределение растений по их месту обитания. Опушки и лесные поляны. Суходольные луга. Заливные или сырые луга. Сорные места, пустыри. Встречающиеся около жилья. Встречающиеся вдоль дорог. Степи и степные склоны. Берега рек, озер, прудов. Лиственные и смешанные леса. Горы, каменные склоны, скалы...»

Получается, что незабудкам, выросшим на суховатом склоне, с одной стороны, нельзя сбегать на дно оврага и никто до сих пор не видел бегающую незабудку. Но, с другой стороны, посмотрите, все они в конце концов сбегали с горы и растут в низине, на влажном месте, там, где им больше нравится. А кошачьи лапки, семена которых занесло в низину, на влажное место, в конце концов сумели выкарабкаться на влажный косогор, туда, где как можно суше.

Всюду растет трава. Всюду она цветет, не одна, так другая. Но все же с понятием «трава» у нас сочетаются, в первую очередь, те места на земле, которые, кроме всего, специально предназначены для роста цветущих трав. Здесь травы поднимаются зеленой стеной, разливаются пестрым половодьем. Здесь же они ложатся под острыми косями, во время обильных утренних рос. Росную траву легче режет коса, потому и косят ее во время росы. Но теперь, с изучением чувствительности растений, можно считать установленным фактом одно замечательное совпадение. Во время холодной росы, в ранние часы утра, травы как бы онемевают, становятся как бы анестезированными, менее чувствительными и ложатся на землю с меньшей болью.

Но если рассуждать строже, то почему именно луга надо иметь в виду, когда мы говорим о траве? А поля? Разве на полях не трава? В чем же разница? А в том, что

эти травы культурные. Точно так же как мы домашнего поросенка не считаем за зверя (за вепря) и корова для нас — не лосяха, так и овес с горохом и клевер вроде бы не трава. Прирученные, одомашненные растения.

И вот растут себе дикие травы и не знают, что вокруг них разворачиваются словесные бои, происходят научные конференции и даже международные конгрессы. Случайно включив телевизор, я увидел крупным планом одного знаменитого председателя колхоза, пресыщенного уж известностью и славой и оттого бросающего свои слова с непреклонной директивной безгласностью:

— С лугами пора покончить. Все разровнять, все распахать, все засеять культурными травами и пустить косилки!

Растут и не знают луговые травы, что, может быть, так вот, в одночасье, и решится их судьба. Понравится эта смелая, как бы дерзкая идея — распахать луга, засеять их какой-нибудь одной культурной травой, — и начнется искоренение десятков и сотен разнообразных прекрасных трав, несущих земле, миру и нам, конечно, людям, что-нибудь драгоценное, индивидуальное, из других непохожее.

Выпишу только некоторые растения, которые растут на наших заливных сырых и суходольных лугах, чтобы напомнить о великом многообразии, о богатстве природы, доставшейся в наше распоряжение.

Атей, белозер, белоус, василек, вероника, гвоздика, горец, девясил, колокольчик, кукушкин цвет, кровохлебка, лапчатка, лютик, марея, мыльнянка, мята, окопчик, очиток, подмаренник, подорожник, плакун, сердечник, серпуха, сивец, сурепка, стальник, сусак, таволга, хвощ, частуха, чихотная трава, чемерица, миск, щавель, бедренец, борщевик, герань, горчак, душица, доиник, желтушник, зверобой, земляника, разные клевера, козлобородин, коровяк, молочай, нивяник, циклюник, фиалка, цикорий, шалфей, адонис, бессмертник, грудница, грыжник, прострел, цин, чабрец, воробейник, болиголов, астра, переступень, манжетка, зубровка, купальница, чистотел, сныть, пустырьник, золототысячник, яснотка, ятрышник, любка, ягель, валериана и множество, множество разных чудесных трав.

На необъятных, как говорится, просторах нашей Родины, по берегам больших рек, разливающихся весной, подобно морям, по берегам небольших рек и речушек лежат сенокосные луга, сенокосные угодья. Все равно не мину-



вать нам упоминать какие-нибудь цифры, начнем же с этой.

В Российской Федерации имеется восемьдесят шесть миллионов сенокосов и пастбищ — по данным за 1971 год. Значит, в эту цифру уже не входят луга, затопленные человеком, в частности не входит волжская пойма, которая ликвидирована вся целиком, за исключением небольшого прогалка от Нижнего Новгорода (Горького) до Чебака. А всего в эту цифру не входит полтора миллиона гектаров затопленных земель.

Казалось бы, оно и немного по сравнению с восемьдесятю шестью миллионами. Но разве один гектар традиционного, находящегося под руками приволжского луга, не вошедшего теперь в цифру, не стоит десяти и даже ста гектаров (вошедших в цифру) кочковатых лугов где-нибудь на окраине республики Коми или вятской земли, в неудобном комарином углу?

Если взять данные за 1971 год, то увидим, что культурных и улучшенных сенокосных угодий, лугов и пастбищ набирается в Российской Федерации немногим больше четырех миллионов. Ну а четыре миллиона и полтора уже можно сравнивать.

Поскольку ведомость попала нам в руки, поинтересуемся, как подразделяются эти восемьдесят шесть миллионов гектаров лугов и пастбищ. А вот как.

Чистых лугов и пастбищ — 68 000 000 (я опускаю десятые и сотые доли); заросших кустарником и мелколесьем — 14 000 000; покрытых кочками — 160 000; засорено камнями — около 6 000 000; заболоченных — около 5 000 000; засоленных — миллион с третью; избыточно увлажненных — более миллиона. А всего требующих мелиорации и улучшения — сорок миллионов гектаров. Для сравнения можно вспомнить, что это приблизительно две «целины».

Восемьдесят шесть миллионов гектаров лугов и пастбищ в одной только, пусть и самой большой республике, а там еще Украина, Белоруссия, Тянь-Шань и Алатау, степные и высокогорные пастбища Казахстана и Киргизии, луговые угодья Прибалтики, молдавские степи...

Считается, что у нас в Российской Федерации двадцать семь миллионов гектаров сенокосной площади (остальные от восьмидесяти шести миллионов — пастбища). В 1940 году выкашивалось тридцать два миллиона гектаров, то есть площадь, обширнее контрольной официальной и расчетной.

Откуда брались пять миллионов гектаров? Очень просто. Маленькие овражки, полевые межи, лесные опушки и поляны. Всегда можно пройти косою по дну и склону небольшого овражка, не причисленного к сенокосным угодьям, глядишь, выросло четыре копны сена, немного огрубленного осокой или сдобренного душистой таволгой. Там четыре копны, да там четыре копны, да там десять копен, да там пусть хоть одна копна — набирались их по России миллионы, потому что, повторяю, пять миллионов гектаров обкашивалось сверх расчетных двадцати семи миллионов.

В 1965 году колхозники выкосили уже не тридцать два, а двадцать один миллион гектаров. К 1971 году эта цифра сократилась до шестнадцати миллионов, то есть сократилась, по сравнению с 1940 годом, в два раза.

«Фактически укосная площадь естественных сенокосов в хозяйствах Калининской области за период с 1960 года по 1968 сократилась на 45, Ленинградской на 38, Вологодской на 20 процентов. В целом по РСФСР эти площади сократились с 23,8 миллиона гектаров в 1960 году до 18,5 миллиона гектаров в 1968 году» (Усынин П. Кладовые кормов. — Сов. Россия, 1970, 28 апреля).

Это свидетельство интересно тем, что оно принадлежит начальнику Управления лугов и пастбищ Министерства сельского хозяйства РСФСР П. Усынину (тогда он занимал этот пост), но сам по себе 1968 год уже нам неинтересен, если у нас есть 1971-й.

Нетрудно догадаться, что если меньше косим, то меньше и сена. Если взять даже самый средний урожай естественных трав, ну, скажем, семь центнеров с гектара, то, помножив, получим недостачу — сто двенадцать миллионов центнеров лугового сена. Этим сеном можно прокормить всю зиму 6 720 000 коров.

Я спросил в министерстве: почему стали меньше выкашивать лугов? Мне ответили: потому что стало меньше кос. Ответ неожиданный и простой. Конечно, их стало меньше не из-за того, что не успевают вырабатывать, но оттого, что меньше стало в деревне рук, которые этими косами могли бы махать.

— Все же в прошлом году продали четыре с половиной миллионов кос, — порадовались в министерстве. — Но знаете, не все ведь эти косы будут активными. Много кос покупают дачники, чтобы содержать в порядке свой дачный участок.

Сокращение сенокосов происходило и по другой причине (кроме убыли косцов), а именно: по запущенности луговых угодий и по их естественной порче. Цитированный нами П. Усынин пишет в той же статье: «Отчего так получается? Из-за крайней (крайней.— В. С.) запущенности, низкой продуктивности природных кормовых угодий. Отсутствия должного внимания и несоблюдения простейших (простейших.— В. С.) правил эксплуатации привело к тому, что большие площади естественных сенокосов и пастбищ заросли кустарником и мелколесьем, покрылись кочками и заболотились».

Кандидат сельскохозяйственных наук А. Дударь, со своей стороны, подтверждает это положение на примере лугов Северного Кавказа (статья «Лугу нужен технолог». — Правда, 1971, 25 января). «Степное разнотравье год от году редет. Там, где некогда (когда некогда? — В. С.) луг давал до тонны превосходного сена с гектара, теперь получают 2—3 центнера.

Парадоксальное явление — у лугов, этих бесценных кормовых угодий, нет хозяина. Во многих колхозах и совхозах специалисты имеют весьма приблизительное представление о состоянии лугов и пастбищ, не знают (забыли, что ли? — В. С.) их потенциальные возможности. За редким исключением в хозяйствах, располагающих большими площадями естественных угодий, нет даже плана использования этих богатств, не разработана простейшая (опять — простейшая! — В. С.) технология ухода за ними.

Улучшением лугов надо заниматься грамотно. Иначе это вызовет порчу угодий, которые потом приходится исключать из дальнейшей эксплуатации. Пример такого «улучшения» — распашка легких почв на зимних пастбищах «Черные земли», которая привела к сильной ветровой эрозии. Пески из Прикаспия двинулись в глубь калмыцких степей. Только продолжительный отдых и интенсивное залужение пашни многолетними травами способно возродить пастбища».

В приведенном отрывке А. Дударь коснулся и другого, наверно, все-таки главного вопроса — урожайности луговых угодий.

В министерстве я спросил специалиста: какой урожай травы на лугу он считал бы если не оптимальным, то желательным? Работник министерства подумал, подумал и сказал: «Семьдесят центнеров зеленой массы с гектара — это было бы хорошо».

Для людей, слышавших о зеленой массе впервые, поясню, что урожай травы исчисляют тройко. Можно свешать траву как таковую, и это будет зеленая масса. Можно траву сначала высушить, превратить в сено, и тогда цифра будет другая, а именно: из пяти килограммов травы получается один килограмм сена. А еще иногда исчисляют урожай в условных кормовых единицах. За одну кормовую единицу принята питательность одного килограмма овса. Тогда получается, что трава лесная содержит 0,17 кормовой единицы, то есть 100 граммов такой травы заменяют 17 граммов овса. Килограмм травы заменяет 170 граммов овса. И таким образом, чтобы полностью заменить один килограмм овса, нужно взять травы лесной 5900 граммов, почти 6 килограммов.

Сено, оказывается, питательнее свежей травы. Так, например, одну кормовую единицу содержат: лугового сена 2,4 килограмма, заливного — 2,1 килограмма, степного — 1,9 килограмма.

Один килограмм овса заменяет: картошки — 3,3 килограмма, моркови — 7,7 килограмма, свеклы сахарной — 3,8 килограмма, турнепса и кормового арбуза — 11 килограммов, кабачков — 14,2 килограмма.

Изучение подобных таблиц дело не только интересное, но и полезное. Так, дойдя в таблице до разных соломы, я понял все значение так называемых средних цифр и условных эквивалентов, которыми очень часто питается статистика. Оказывается, килограмм пшеничной соломы содержит 0,20 кормовой единицы и, таким образом, питательнее и ценнее как корм почти всех свежих, только что скошенных и еще обрызганных росой сочных, напичканных всевозможными фитонцидами, витаминами, эфирными маслами, глюкозидами, алкалоидами, хлорофиллами, ферментами и нектарами трав. Питательнее моркови, кормовой свеклы, тыквы, более чем в два раза питательнее кормовой капусты, вико-овсяной смеси, люцерны, эспарцета, равноценна клеверу красному и кукурузе. Вот что такое обыкновенная солома, с точки зрения кормовой единицы. Правда, можно догадаться, что кормовой арбуз, морковь, красный клевер и свекольную ботву корова будет уплетать с большей охотой, нежели ржаную солому, но зато, если вам надо написать отчет о заготовке кормов, то очень удобно этот счет выразить в условных кормовых единицах. Вот жаль только, что молоко должно быть не условным молоком, а натуральным, питательным и душистым.

О том, что молоко зависит от корма, напоминать, наверное, не надо. Но все же упомяну о двух случаях. Утрачено качество швейцарского сыра на его родине в Швейцарии оттого, что коров стали кормить однообразными, унифицированными кормами, вместо горного швейцарского разнотравья. Ценность особого, знаменитого барабинского масла зависела, оказывается, не от рецепта его приготовления и не от породы скота, но от особого букета трав, обитающих в барабинской степи. О кормовых единицах тогда не имели никакого представления.

Можно кормить человека одним свиным салом (огромное количество калорий!), не давая ему ни ягодки, ни петрушечки, ни гриба, ни огурца, ни молока, ни хлеба, ни рыбы, ни редьки, ни мяса, ни капусты, ни яблока. Четверо наших ребят, оказавшихся в океане в бедственном положении, как известно, съели гармонь, которая тоже содержала, наверное, подобно соломе, какую-то часть кормовой единицы, а может быть, и целую кормовую единицу.

Я всегда вспоминаю об этих фактах, когда вижу, что луговое разнотравье постепенно подменяется травами селянами, занимающими пахотные земли, то есть поля, где полагается расти хлебу: ржи, пшенице, ячменю, также гречихе, льну, гороху, а из кормовых культур тому самому овсу, который является кормовой единицей.

Какие же обстоятельства побуждают наших современных земледельцев занимать пахотные земли под травы, под зеленый корм? Несколько обстоятельств. Вот первое из них: укосная площадь сократилась в два раза. С тридцати миллионов гектаров до шестнадцати. Второе обстоятельство — чрезвычайно низкая урожайность наших лугов вследствие их запущенности и отсутствия, как мы недавно цитировали, простейшего ухода, простейших правил пользования.

Но улучшение лугов дело очень хлопотливое и трудоемкое. Надо срезать кочки, надо изводить кустарник, надо подсеивать нужные травы, надо заводить дождевальные установки, надо организовывать, где это можно и нужно, лиманное поливание, которое, говорят, широко практиковалось в прежние времена, надо, наконец, ухаживать.

Об уходе за лугами пишут немало. Для примера — несколько выписок.

«На XXIV съезде КПСС подчеркивалась необходимость всемерного укрепления кормовой базы, как одной из главных предпосылок дальнейшего ускорения развития животноводства... Огромный кормовой резерв — повышение продуктивности естественных лугов. Значительная часть угодий находится пока в запущенном состоянии, но планы залужений сенокосов и пастбищ выполняются далеко не везде».

«Близится пора сенокоса».  
(Передовая статья газеты «Правда»,  
1972, 11 мая)

«Получить дополнительные корма, наращивать их производство только на пашне — нельзя. Это может привести к сокращению посевов зерновых культур... Немедленно создать 1 150 000 гектаров высокопродуктивных лугов и пастбищ. Задача реальная, посильная, но она требует четкой организации дела, расторопности, высокой ответственности. Не все, к сожалению, готовы принять и выполнить эти требования... Во вторую весну пятилетки луговоды, все земледельцы Российской Федерации вступили с твердой решимостью достигнуть более высоких рубежей в кормопроизводстве. В этом помогает им развернувшееся массовое соревнование в честь 50-летия Союза ССР».

«Наша луга и пастбища».  
(Передовая статья газеты «Советская  
Россия», 1972, 28 апреля)

«Не зная, в каком состоянии пастбища, нельзя принимать за их исцеление... Как за эти годы изменился растительный клевер, каков нынешний состав трав — ясности нет. Было время, когда здесь родили и прорастали такие высокоценные кормовые растения, как житняк, прутняк, грубая люцерна, типчак и другие, и с каждого гектара собирали до сорока центнеров кормовой массы, а теперь выпасы оскудели, урожайности на многих участках снизились... Луга — огромный источник дешевых кормов, большой резерв для увеличения производства молока, мяса, шерсти».

«Лугу нужен технолог».  
А. Дударь, кандидат сельскохозяйственных наук, Ставропольский край  
(Правда, 1972, 25 января)

Из этих выписок картина, по-моему, проясняется. Урожай трав на обширнейших российских лугах чрезвычайно низок, а повышать его — дело хлопотное. Оно требует «четкой организации, расторопности, высокой ответственности». Но корма нужны, потому что надо выполнять план по мясу и молоку. Где же их взять? Очень просто — сеять траву на пашне, отняв эту пашню у зерновых культур, у хлеба. А где же взять хлеб? Об этом пусть заботится государство. Где-нибудь да возьмет! Оказывается, из-за плохого состояния лугов одна третья часть пашни идет под травы.

«И что удивительно,— пишет П. Усынин в газете «Советская Россия»,— даже в хозяйствах лесолуговой зоны, где хороши природные кормовые угодья, посевы кормовых трав стали, по сути дела, основным источником грубого и зеленого корма... В 1969 году под кормовыми культурами было занято в Вологодской области 54,5, Псковской — 48, Калининской — 37, Смоленской — 35 и Рязанской — 34 процента основных площадей. В то же время обеспечение скота кормами в зимовку 1969/70 года по хозяйствам этих областей не превышает 60—80 процентов потребности».

Теперь назовем еще одну цифру. Всего под кормовые культуры в РСФСР занято 36 миллионов гектаров пашни. Встречные перевозки.

Не будем уж говорить о побочных результатах такой перевозки, как-то: эрозия распаханной почвы в местностях с сильными ветрами, нарушение биологического равновесия на грандиозном участке планеты, огромное количество перемолотой техники... Нет, в эти проблемы мы вдаваться не будем. И так уж мы увлеклись и далеко отошли от главного и скромного предмета нашей книги — от травы, которая называется, как видим, то травой-муравой, то верблюжьей колючкой, то ичиной фалкой, то бурьяном, то незабудкой, то крапивой, то колокольчиком, а то ковылем, то — по-обиходному — цветами, а то — по-агрономически — разнотравьем, а то — по справедливости — чудом, то — по производственному — зеленой массой.



Трава — сеио, трава — цветы, трава — мурава, трава — красота, трава — пища, трава — одежда, трава — строительный материал, разрыв-трава, плакун-трава, трын-трава, трава — необъемлемая часть природы, трава — загадка природы, трава — жизнь... Какие-нибудь и еще можно назвать грани у такого понятия, как трава. И все же, когда я говорил, что собираюсь написать о траве, то в первую очередь переспрашивали: «Как, собираешься писать о целебных травах? Как интересно! Между прочим, есть в Вологодской области одна старуха...»

Даже ведь и Борахвостов, посылая мне свои записочки, нажимал на лечебные свойства, на пользование травами, на исцеление, на заговоры. Так уж получилось, что с понятием о травах связано у людей понятие о их лекарственности, целебности и едва ли не магической могущественности.

В исследованиях о травомедicine (на современном языке она называется фитотерапией) то и дело наталкиваешься на стремление выяснить или, по крайней мере, задаться вопросом, как далеко, в какую седую древность восходит траволечение, и узнаешь, что еще в Древнем Египте, что еще в Древней Греции, что еще в Вавилоне и во времена шумерской культуры... Но, по-моему, на этот вопрос есть и другой, более однозначный ответ. Человек, с тех пор как он существует на земле, знает, что трава бывает полезная и вредная, ядовитая и целебная. Человек начинал с того, что питался травой (плодами, листьями, корешками), все вокруг себя он перебрал и перепробовал на зуб, так ему ли не знать, от которой травы живот болит, а от которой проходит.

Впрочем, ничего не хочу упрощать. Травы, то холодея под росами, то разогреваясь на солнце, колеблемые ветром и омываемые дождем, поблескивающие под луной и хрустящие от мороза, травы, вступающие в общение со всеми без исключения химическими элементами, сущими на зем-



ле, а сверх того со светом, с космическими излучениями и друг с другом, воспроизводят в своих бесчисленных лабораториях такое количество сложнейших химических соединений, что и до сих пор на уровне современной химии и медицины эти соединения изучены очень мало. То и дело читаешь в современных травниках про какую-нибудь траву, растущую у нас под ногами: «химический состав не изучен». На что уж сирень, которой полны палисадники, которая — рубль большой букет, которая красуется в вазонах на каждой дачной веранде, и то читаем о ней в книге Н. Г. Ковалевой «Лечение растениями» (1971): «Растение мало изучено. В цветах найдены эфирное масло, феногликозид, сириинги, синрингопиккрий, фарнезол, в корне и листьях — горький гликозид сириинги».

Не думаю, что с самых первых шагов человек, хотя он и был ближе к природе, чем мы с вами, разбирался лучше нас в феногликозидах и фарнезолах. Дело шло, по-видимому, на уровне прикладывания подорожника к нарыву или на уровне черемуховых ягод при расстройстве желудка. Или как олени поедают маралий корень во время гона, дабы вернее и полноценнее исполнить закон продления вида, или как заболевшая кошка ищет и ест нужную ей траву.

Были на земле люди, были и человеческие болезни. Но не было на земном шаре ни одной таблетки, ни одного шприца, ни одной ампулы. Были одни только травы.

Закон состоит в том, что если есть «да», то, значит, есть и «нет». На всякий яд должно быть противоядие, потому что организм природы един. Это еще в древних Ведах записано, что «действительно едино, наши мудрецы дают ему различные названия».

Швейцарец (медик и химик) Парацельс, живший в XV—XVI веках, прямо считал, что если природа произвела болезнь, значит, она произвела и средство против нее, причем искать это средство надо здесь же, поблизости от больного. Парацельс был против иноземных лекарственных трав. Это-то уж, наверное, слишком, но можно согласиться со средневековым швейцарским ученым: от каждой болезни, как бы она ни была страшна, в природе есть верное средство. Надо только его найти или в чистом виде, или путем комбинирования различных средств.

На что агрессивен, вернее, непреступен чеснок! Он убивает вокруг себя все возможные и сущие на земле бактерии и бактерии. Ведь что такое эта головка чеснока для бак-

терий? Непроступная, несокрушимая крепость. Даже и не крепость, а некий излучающий центр, который убивает на расстоянии. Нельзя не только нанести ему урон, но и приблизиться к нему. Летучие вещества — фитонциды, как это нам понятно теперь, убивают все живое вокруг, как нас убили бы неведомые лучи, исходящие от неведомой звезды, если бы мы захотели к ней приблизиться, или как нас убило бы солнце при попытке приблизиться к его поверхности.

Но, однако, нашлась одна бактерия, которая все же пожирает чеснок. Это чесночница, превращающая крепкую, сочную, смертоносную, непроступную и несокрушимую головку чеснока в мелкую сероватую сухую пыль. Крепость побеждена и рухнула. Она превратилась в порошок. На категорическое «да» нашлось категорическое «нет».

Итак, был человек со своими болезнями и были травы, таинственно заключающие в себе лекарства от этих болезней. И было это равноценно тому, как если бы оказались друг перед другом гениальная книга и существо, не умеющее читать.

Как начиналось освоение книги, как оно шло, мы не знаем в подробностях и в последовательности. Мы не знаем и того, в какой степени освоена нами эта книга теперь. То ли мы еще учимся читать и разбираем по складам некоторые слова, то ли уже проступают для нас из прочитанного некоторые явления и факты. Так дикарь стал бы осваивать письма Толстого. Написано: дуб, гостинная, Наташа Ростова, орудие, выстрел, смерть, любовь, Наполеон, Москва...

Но ведь должна еще наступить та стадия, когда начнут пониматься не только отдельные слова, не только сами явления, вычитанные в тексте, но и связь между этими явлениями. Сначала внешняя сюжетная связь, а потом все более глубокие, сокровенные связи. А потом уж проявится и философия Льва Толстого.

Как бы там ни было, сначала между человеком и травой, между болезнью и лекарством не стояло никаких посредников. Ни больницы с многочисленным персоналом, ни огромных фармакологических комбинатов. Я не говорю, что это было лучше, я просто говорю, что так было. Человек находил и рвал траву, как собаки и кошки, заболев, убегают и находят для себя какие-то травы. Я много раз видел, как они их едят.

Но правы Ильф и Петров, говоря, что если в стране

обращаются какие-либо денежные знаки, значит, непременно есть люди, у которых этих знаков накоплено много. Точно так же и с травами: если появились у людей крупницы знаний, драгоценные, воистину золотые крупницы, значит, постепенно нашлись люди, которые насобирали много этих крупниц. Могло получиться и так, что при стихийном распределении обязанностей (охотник, специалист по каменным топорам, хранитель огня) некоторые люди сделались исключительными носителями этих знаний. Они распоряжались ими при жизни, они могли распорядиться ими на будущее, то есть передать другому человеку по своему выбору или не передать, а унести с собой, в могилу. Они могли называться жрецами, мудрецами, колдунами, ведунками, ведьмами, чаровницами, знахарями... Но они были у всех народов и во все времена. Более того, официальная медицина всех времен, если, конечно, можно так выразиться, всегда опиралась на опыт, накопленный по крупницам. Несколько фраз из предисловия Н. Г. Ковалевой к ее же книге «Лечение растениями».

«Лечение целебными травами всегда привлекало к себе внимание человека...

Знакомство человека с их лечебными свойствами относится к глубокой древности...

Первые записи о лекарственных растениях встретились в наиболее древнем из известных нам письменных памятников, принадлежавших шумерийцам, жившим в Азии на территории нынешнего Ирана за 6000 лет до н. э. ...

Лекари Шумера из стеблей и корней растений изготавливали порошки и настои...

Вавилоняне, пришедшие на смену шумерийцам в XI веке до н. э., а затем ассирийцы широко использовали растения в лечебных целях...

Вавилоняне применяли сотни лекарственных растений...

Вавилоняне уже тогда заметили, что солнечный свет вредно действует на лечебные свойства собранных растений, поэтому высушивали их в тени, что рекомендуется и современными руководствами по сбору и сушке лекарственных растений...

Источниками сведений о фитотерапии в Египте служат изображения лекарственных растений и иероглифы на стенах храмов, саркофагах и пирамидах. При раскопках захоронений египтян находят остатки сохранившихся до наших дней растений...

Опыт египтян в лечении растениями внимательно изу-

чали врачи Древней Греции, в медицине которой часто использовались растения...

Первое дошедшее до нас обстоятельное сочинение о лекарственных растениях, в котором приведено научное обоснование их применения, принадлежит... Гиппократу. В нем он описал 236 лекарственных растений, которые применялись тогда в медицине... (Он) считал, что лекарственные вещества содержатся в природе в оптимальном виде и что лекарственные растения в необработанном виде или в виде соков оказывают лучшее действие на человеческий организм...

В Древнем Риме медицина развивалась под сильным влиянием греческой. В народной медицине римлян... широко использовались дикорастущие, а позднее и сельскохозяйственные растения...

Лечение растениями широко применялось и в странах Восточной Азии: в Китае, Индии, Японии, Корее...

Первая китайская книга о лекарственных растениях, в которой приведены описания 900 видов растений, датирована 2500 г. до н. э. ...

Известный фармаколог, живший в VI веке, Ли Ши-чжень... в 52-х томах своего произведения описал 1892 лекарственных средства, главным образом растительного происхождения...

Издавна использовались растения для лечения и в Индии...

На Цейлоне большой популярностью пользуются врачи народной медицины...

В Монголии, которая располагает богатой флорой...

Тибетская медицина возникла примерно за 3000 лет до н. э. ...

Данные о народной медицине Африки...

В Болгарии произрастает свыше 3000 видов растений, из которых около 500 применяется...

В аптеках Польши всегда большой ассортимент галеновых препаратов...

Французская народная медицина накопила большой интересный и полезный опыт...

Издавна применялось лечение растениями и в Англии...

В Италии, Австрии, Голландии...

В странах Южной Америки...

В Центральной Америке, Австралии...»

Одна из самых ранних славянских травниц называлась прекрасным именем — Добродей. Речь идет о виучке Вла-

димира Мономаха Евпраксии Мстиславовне. Читаем в заметочке в популярном журнале: «С детских лет Евпраксия проявляла интерес к народной медицине, изучала свойства трав, умела готовить лекарства из них. Среди ее пациентов были люди знатные и крестьяне. Очевидно, Евпраксия им успешно помогала, летописи сообщают, что ее прозвали Добродеей».

Но позвольте, что значит: «с детских лет проявляла интерес... изучала...»? Ни с того ни с сего начала наугад рвать то эту траву, то эту и наугад давать разные травы больным людям? Проще предположить, что в детстве кто-то передал ей золотые крупицы знаний, о которых мы говорили, а вместе со знаниями заронил интерес, привил любовь. В лесную избушку на берегу Днепра бегала княжеская дочка к какой-нибудь знахарке (от слова «знание», «знать»), на княжеском ли дворе какая-нибудь нянька оказалась носителем редких знаний и выбрала смышленную княжнюшку как наследницу, монашка ли в киевском монастыре, известный ли официальный врач Руси, грек Моани Смер, выписанный из Царьграда дедом Добродеем Владимиром Мономахом, успел благословить и напутствовать... Но скорее, лечение травами было тогда более обыкновенным делом, чем нам теперь представляется. Вероятно, существовала определенная медицинская культура, и оставалось только вооружить ее, обобщить накопленный опыт. На пустом месте Добродее возникнуть не могла. Читаем в заметке дальнейшие сведения о ней.

«Евпраксию рано просвятили за византийского царевича Алексея Комнина, и, когда ей исполнилось 15 лет (значит, допятнадцатилетия девчонка врачевала знатных и крестьян! — В. С.), она со свадебным поездом отправилась в Царьград. Здесь по обычаю страны ей дали новое имя Зоя. Овладев греческим языком, она серьезно занимается изучением трудов знаменитых греческих медиков Галена, Гипократа, беседует с учеными-современниками.

Здесь в Византии Евпраксия и написала свой научный труд — единственный сохранившийся древнерусский лечебник.

Написанный на греческом языке, он в значительной степени основан на опыте народной медицины Древней Руси.

Сочинение Евпраксии состоит из пяти частей. Первая содержит общие сведения о гигиене, рассматривает влия-

ние времен года и разных климатических условий на организм. Отдельные главы повествуют о движении и покое, о сие и пробуждении, о пользе бани, «которая очень предохраняет здоровье и укрепляет тело».

Следующую часть можно было бы назвать гигиеной матери и ребенка. Затем Евпраксия пишет о разумном подходе к питанию. Две последние части посвящены внутренним и наружным болезням.

В конце прошлого столетия русский историк Х. М. Лопарев нашел это сочинение в Италии, во Флорентийской библиотеке Лоренцо Медичи и установил, что автором труда является наша Мстиславна. Он пишет: «Трактат Зои имел для своего времени важное значение, это доказывает факт пользования им со стороны греческих медиков, которые ставили Зою рядом с другими врачебными знаменитостями». (Григорьева Н. Киевская Добродея.— Работница, 1967, № 7).

Можно найти где-нибудь и вычитать, сколько лекарственных трав использовала в прошлом народная медицина Грузии (372 травы), как обстояло дело с народной медициной в Армении, какого мнения был о целебных травах Авиценна, и заодно узнать, что в Риге уже в 1291 году существовали две аптеки, торговавшие травами.

Я думаю, если понитересоваться уже не из книг, а у живых людей, наверное, мы узнаем, что лечились травами и иеицы-олееводы, и манси, и эвенки, и туигусы, и алеуты, и каждый народ, живущий среди трав и деревьев.

Нельзя сказать, что современная, сверкающая хромированной аппаратурой и ослепляющая белизной халатов медицина вовсе отрекается от трав и растений. Да и как бы она отеклась, если большая часть ее средств идет от растений. Хина — это кора дерева, опий — это мак. Атропин, сердечные средства из наперстянки, анис, мята и лаидыш, не говоря уже о валериане, даже и пенициллин — плохо было бы без всех этих средств современной медицины.

Не напрасно один очень крупный современный медик воскликнул, что он отказался бы быть врачом, если бы не было наперстянки!

Вытяжки, экстракты, настойки, соки, сиропы, все эти витаминные и лекарственные шарики доступны каждому человеку, стоит ему только зайти в аптеку.

Почти в каждой аптеке, существует отдел, где торгуют травами. Тми, зверобой, мята, анис, полынь, крапива,

кустарник можжевельная ягода, медвежье ушко (толокнянка), подорожник, березовые почки, липовый цвет, тысячелистник, кукурузные рыльца, шалфей, бессмертник, ромашка, девясил, шиповник, кора крушины, мать-мачеха обыкновенны и повседневны в любой аптеке. Конечно, не всегда могут оказаться там корень валерианы, аир и калган, золотой корень или салеп, но, скажите, с чем только не может быть временных перебоев! Я хочу сказать, что в целом торговля травами налажена хорошо.

Есть ботанические сады, где изучают и возделывают целебные травы. Есть многочисленные кафедры при крупнейших университетах, где тоже занимаются травами, есть Академия наук СССР, есть Академия медицинских наук СССР, есть академии наук в союзных республиках, есть фармацевтические институты, есть Центральный аптечный научно-исследовательский институт, есть, наконец, ВИЛАР — Всесоюзный институт лекарственных растений, который только и занимается целебными травами, рассылает экспедиции в разные концы страны, выращивает сотни и тысячи растений, исследует, рекомендует, внедряет. Есть, наконец, многочисленные издания — замечательные книги о лекарственных растениях, доступные каждому человеку в СССР...

И вот, оказывается, вместе со всем этим есть, встречаются, существуют знахари и знахарки. Мне это показалось столь забавным, что я стал искать случая непременно познакомиться хоть с одним, хоть с одной из них.

В самом деле, когда не было книг, выходящих сотысячными тиражами, когда не было в каждом селе медпункта, когда знания могли передаваться только устно от одного человека к другому и копилка знаний вовсе не представляла из себя книги в ширпотребовском картонном переплете или хотя бы рукописного травника, существующего в единственном экземпляре, тогда можно было представить себе эту копилку... У меня лично понятие о знахарях, о травниках и травницах связывалось с замшевой избушкой где-нибудь в дремучем лесу или избой в деревне (обязательно на краю деревни), наполовину ушедшей в землю. И встретит согбенная старушка или старичок-лесовичок, и полезет старуха на полку, за божницу или покопается в старом сундуке, достанет кусочек сухой травы. Поколдует над ним, дунет, плюнет, а потом уже даст в руки и расскажет, как пользоваться.

Никогда не приходилось встречаться с знахарями, а литература, кино, вообще искусство создали такое вот идиллистическое представление о них.

Вспомним знаменитое полотно Михаила Васильевича Нестерова. Изображен лес. Землянка в лесу. Вокруг цветущие летние травы. Русская женщина, молодая и красивая, присела около землянки на лавочке, а из землянки выползает дед с пронзительно синими глазами. Пан, Дух природы. Колдун, ведун, знахарь. Женщина исполнена решимости, но одновременно сквозят в ней смущение и надежда. Называется картина «За приворотным зельем». Таинственно и красиво. Разве трудно дорисовать теперь внутренность старикова жилища, пучки трав, свисающие там и тут, мешочки с травами? Велика ли может быть такая землянка, просторно ли в ней? Каков размах знахарского дела? Гадать об этом не надо. Старик выходит из своего жилища, пригибаясь. Низкий потолок, и свету в землянке мало. Старик знает свое дело и дает щепотку приворотного зелья (сухой травы, корешков) или пузырек — настойку в готовом виде.

Существует еще и такой литературный образ собирателя трав. Раскрываю том Алексея Константиновича Толстого:

Паптелей-государь ходит по полю,  
И цветов и травы ему по пояс.  
И все травы пред ним расступаются,  
И цветы все ему поклоняются.  
И он знает их силы сокрытые,  
Все благие и все ядовитые,  
И всем добрым он травам, безвредным,  
Отвечает поклоном приветным,  
А которые растут вниоватые,  
Тем он палкой грозит суковатою.

По листочку с благих собирает он,  
И мешок ими свой наполняет он,  
И на хворую братию бедную  
Из них зелье варит целебное.  
Государь Паптелей!  
Ты и нас псжалей,  
Свой чудесный елей  
В наши раны излей.  
В наши многие раны сердечные;  
Есть меж нами душою увечные,  
Есть и разумом тяжело болящие,  
Есть глухие, немые, незрящие,  
Опоевнные злыми отравами,—  
Помоги им своими ты травами!..



Вот я и говорю: ну какой можно было представить себе размах знахарского дела, если он ходит по полю, срысывает по листочку и кладет в мешок? Пусть хоть и осьминный мешок (что маловероятно, исходя из нарисованного поэтом образа, легче вообразить небольшую суму через плечо), все равно, много ли натолкаешь травы в мешок?

Я никак не мог освободиться от этих масштабов, когда один молодой журналист (не буду говорить, где, около какого большого города) повез меня к настоящей будто бы знахарке, с которой будто бы он, Сергей, хорошо знаком. Воображались мне избушка, землянка, сумка через плечо, старуха с клюкой, с носом, вырастающим в подбородок, и седыми космами, но не вязалось с воображаемыми картинками уже одно то, что ехали к знахарке на такси.

— Отшельница? Хижина? — пытался расспрашивать я. Но чем больше Сергей рассказывал о Митрофанихе (фамилия ее, допустим, Митрофанова), тем настойчивее внедрялось в мое сознание слово «усадьба».

— Странно, что к знахарке на такси, не так ли?

— Что тут странного? Она и сама в летнее горячее время, когда для сбора трав дорог каждый день, нанимает такси.

— ???

— Ну да. Заключает договор с таксомоторным парком на все лето. Утром ежедневно ей присылают машину.

— Но ведь это же...

— Насчет денег, что ли? Тридцать рублей в день, — и спокойно добавил, как о незаслуживающем внимания: — Деньги у нее есть.

О нестеровский старичок, вылезающий из темной землянки, о государь Пантелей, обрывающий по листику и кладущий оные листики в суму: снился ли вам подобный размах? Небось такси не простаивает, ежели тридцатка-то в день. Надо, наверно, эту тридцатку на худой конец оправдать. И еще один мотив: техника двадцатого века на службе у знахарки! И ехали мы отнюдь не в лесные дебри, а в благоустроенный поселок поблизости большого города.

— Вы-то как с ней познакомились?

— Немного интересуюсь травами. Но, конечно, не на уровне лечения, хотя бы самого себя, а на уровне составления домашних бальзамов.

— Сколько же вы берете трав?

— До сорока. Зверобой, анр, калган, кровохлебка, пустырник, мята, полынь, девясил, тмин, душица... Надо на каждой из сорока трав сделать спиртовый экстракт, а потом смешивать их в нужных пропорциях и разбавлять до желаемой крепости. Или в чай по одной ложке...

— Бог с вами! Такое добро — и в чай? Я тоже составляю себе бальзамы и тоже до сорока составных частей. Впрочем, можно и восемьдесят... Значит, только бальзамы и послужили причиной знакомства с этой, как ее, Митрофанихой?

— Не только. Однажды попробовали ее судить за то, что занимается лечебной практикой, не имея медицинского образования и диплома. Суд привлек внимание прессы, а я — журналист.

— Умер, что ли, кто-нибудь от ее трав?

— От трав, если, конечно, не брать явно ядовитых, умереть невозможно. Пользы может не быть, но и вреда не будет. Пей мяту, крапиву, шалфей, подорожник — ну какой от них вред?

— Осудили?

— Не удалось. Свидетелей человек восемьдесят вызвали в суд. Но поскольку и правда никакого вреда они от бабки не получили, то наговаривать на нее не стали. Однако врачебной деятельностью заниматься ей запретили, и состоялось сожжение трав.

— Вот сюжет для живописного полотна!

— Но травы разве виноваты?

— Я все понимаю, но поймите и закон. Действительно, не имея медицинского образования и диплома, заниматься врачебной практикой... Если каждый начнет...

— Вы можете мне дать какой-нибудь совет? Ну хотя бы по составу бальзамов? Или по днете, если я случайно пожалуюсь вам на печень? Сразу скажете: не ешьте три «ж» — жир, желток, жареное. Не так ли? Может быть, это тоже медицинский совет? И как же, не имея диплома...

— Разные вещи. Во-первых, это советование я никогда не сделаю своей профессией, главным делом жизни. Во-вторых, я за этот совет не возьму с вас пятерку.

Между тем мы подъехали. Глухой забор. Тесовые ворота и рядом калитка. Большая кнопка электрического звонка. Усадьба. Эту кнопку и нажимают все, кто захотел бы обратиться к Митрофанихе, к бабе Соие. Но я, пожалуй, буду называть ее просто Софьей Павловной.

Нам открыла другая женщина, молодая, никак не под-

ходящая по возрасту на роль хозяйки такой усадьбы. Видел я потом на усадьбе и еще женщин, можно сказать — целый штат. Будто бы бывшие пациентки из благодарности приходят и помогают. Приходится верить. Но без этих вспомогательных женщин нельзя было бы понять, как одинокая, на восьмом десятке Софья Павловна управляется с заготовкой, сушкой и сортировкой трав, упаковкой их в ящики, как она успевает отправлять многочисленные посылки с травой в разные концы страны, как ведет обширную (любой министр позавидует) переписку.

Пройдя в калитку, мы оказались во дворе, который был бы чрезвычайно широким и просторным, если бы справа не стояло двух сараев. Левее — сам дом. Крыльцо. На крыльце Софья Павловна, полноватая, розоволицая, синеглазая старуха — платок на плечах, руки на животе, приветливая улыбка на губах. А в глубине глаз все же и вопрос: кто такие, зачем пожаловали? Но при виде Сережи тревога в глазах погасла.

Свои немногие впечатления (мы провели у Софьи Павловны полдня) я сейчас разгруппирую, чтобы дать понятие о каждой группе.

Сад и огород. Шел дождь, под ногами на тропинках было склизко и грязно. Трава и кусты обдавали водой, поэтому с садом и огородом мы ознакомились очень бегло. Больших деревьев я как-то не запомнил. Но есть там кусты малины, смородины, есть и вишенье. По сторонам тропинок растут разные травы, которые в другом саду можно было бы считать за сорняки, за запущенность огорода, но которые здесь росли со смыслом, были посажены хозяйкой. На грядках я видел и ландыши, и любку двулистную, и наперстянку, но, конечно, не огород является главным поставщиком сырья для Софьи Павловны.

Сараи. На чердаки обоих сараев мы забирались по обыкновенным приставным крестьянским лестницам. Чердаки завешаны и заложены сушащимися травами. Заготовка их поставлена на широкую ногу. Я думаю, если бы сложить все травы вместе, получилось бы несколько центнеров. Много пижмы, тысячелистника, зверобоя, болиголова, пустырника, ромашки, мяты, таволги, тмина, укропа, кровохлебки, крапивы, чистотела, кипрея, дягиля, васильков.

При всем том на чердаках, где развешаны и разложены десятки трав, чистота и порядок. Смешанный аромат трав вдыхаешь жадно, ненасытно, даже крикаешь от удо-

вольствия, словно пьешь очень вкусный и вместе с тем крепкий напиток.

На земле перед лестницей нас заставили разуться, да и правда, было бы кошунством ходить по такому чердаку в уличных башмаках.

Склады. Высушенные травы Софья Павловна хранит в больших картонных коробках, которые берет в продовольственных магазинах. Там они освобождаются из-под разного импортного товара. Картонными коробками заставлены коридоры в доме, терраса, чуланы, сени — все, кроме трех жилых комнат. На каждой коробке сделана четкая надпись: анр, подорожник, одуванчик, валериана.

Комнаты. Чистые, опрятные комнаты: одна — вроде горницы, другая — кухня. И в той и в другой есть иконы. Некоторые в хороших окладах. Подарки. Большую комнату мы обошли и осмотрели, а в маленькой сели за стол. Есть, кажется, еще и спальня, но мы туда не ходили.

Стол. Всевозможная делкатесная рыба. Пелядь (сырок), муксун, стерлядь-сыроежка, сосвинская селедка, осетрина, икра черная и красная, коньяки лучших сортов, разнообразные кагоры и собственные настойки и наливки, которые только и пригубливает из рюмочки сама хозяйка.

— Присылают. Не выбрасывать же! — коротко пояснила нам хозяйка ассортимент стола.

Теперь главная группа впечатлений. В разговоре я убедился, что у Софьи Павловны есть пусть и своеобразное, но медицинское мышление. Речь зашла о больном с раковой опухолью, который четвертый год уж пьет лекарственные сборы Софьи Павловны.

— Что же, надеетесь?

— Так ведь рак! Не бог же я! Однако четыре года если не лучше, то и не хуже.

— У моего знакомого в Москве есть подозрение на опухоль, чтобы ему помочь, чем укрепить организм?

— Организм! Организм укрепить, а опухоль куда денешь? Организму лучше — и опухоли лучше.

— С какими больными чаще приходится иметь дело?

— Да ведь время-то какое? На месте не посидят. Все куда-то едут, торопятся, суетятся, опаздывают. На все нужны нервы. А где нервы, там и болезнь. Думают, язва от еды, а она от нервов. И сердца никудышные от того же, и желчь, и камни. — Софья Павловна задумалась. — Мужчин много обращается. Плачут. В семье ведь как?

Всякое может быть, ругаиь и олять мир после ругаии. А уж если этого самого нет, мирнсь, не мирись...

— Отчего такое поветрне?

— Те же нервы, я думаю. И потом — виинще. Пьют без памяти, а хотят здоровыми и крепкими быть.

— Помогаете?

— Отчего же не помочь! Вот на днях ящик коньяку один привез. Дочь родилась. А хотел вешаться...

Вообще же складывалась следующая картина ее деятельности. Первый беспспорный факт. Люди обращаются к ней уже с готовым диагнозом, находившись по сельским, районным, а то и городским поликлиникам. Обращаются, прослышав о ней и рассуждая очень просто: вреда не будет, а может быть... Так что определять болезнь, исследовать организм, делать многочисленные и сложные анализы (кровь, моча, кислотность желудочного сока, бронхоскопия, рентген, электрокардиограмма, реакция «аперке» или «манту») — все это уже сделала за нее официальная медицина с ее современным оборудованием. В некотором смысле можно сказать, что современная знахарка невольно паразитирует на теле официальной медицины.

Во-первых, повторим: диагноз известен заранее. Но, во-вторых, известны заранее из многих книг и целебные свойства трав. В этих книгах все травы разложены по полочкам. Вот они, эти полочки.

1. Тонизирующие, возбуждающие и общеукрепляющие (перечислено 80 трав).

2. Успокаивающие — 105 трав.

3. Применяемые при бессоннице — 47 трав.

4. Болеутоляющие — 218 трав.

5. Применяемые при головной боли — 63 травы.

6. Противосудорожные и противоспазматические — 88 трав.

7. Отвлекающие (средства рефлекторного действия) — 12 трав.

8. Применяемые при нервных и психических заболеваниях — 152 травы.

9. Сердечно-сосудистые — 94 травы.

10. Применяемые при атеросклерозе — 82 травы.

11. Применяемые при гипертонии — 49 трав.

12. Повышающие кровяное давление — 117 трав.

13. Применяемые при удушье и одышке — 45 трав.

14. Желудочно-кишечные. Возбуждающие аппетит и улучшающие пищеварение — 80 трав.

15. Слабительные — 146 трав.
16. Рвотные — 16 трав.
17. Противорвотные — 24 травы.
18. Применяемые при язвенной болезни — 41 трава.
19. Применяемые при различных желудочно-кишечных заболеваниях — 153 травы.
20. Вяжущие — 149 трав.
21. Мочегонные — 242 травы.
22. Потогонные — 100 трав.
23. Уменьшающие выделение пота — 11 трав.

В таком же духе перечисляются еще многие и многие травы, как-то: применяемые при водянке и отеках, желчегонные, действующие на обмен веществ, кроветворные, кровоостанавливающие, жаропонижающие, молокогонные, противоглистные, применяемые при ревматизме и подагре, укрепляющие волосы... вплоть до отпугивающих насекомых, мышей и крыс.

В каждом разделе мы видим десятки и даже сотни рекомендуемых трав. Вопрос с травами настолько ясен, что обычно в южных городах (например, в Кисловодске) на базаре есть целые ряды травниц. Красиво засушенные, не перемолотые в труху, а цельными снопиками лежат тут тысячелистник, душица, чабрец, земляника, бессмертник. Грудками (на рубль) наложены калганый корень, девясил, аир. Клубеньки ятрышника, высушенные на ниточке, идут по 3 рубля 50 копеек за десяток. Облепиховые ягоды — 40 копеек стакан. Но главное, на бумажках карандашом накорябано: «от давления», «от головной боли», «от геморроя», «от язвы желудка». Начинаешь спрашивать, как пользоваться, ответ один:

— Купите, тогда и расскажу.

Стоит истратить рубль, чтобы услышать наставления травниц. Но, вклинившись два раза в ее частоговорку и переспросив и поставив ее в тупик (а это сделать нетрудно), заставляешь ее протянуть руку под прилавок. Тебе протягивают все ту же книгу о лекарственных травах: Носаля, Махлаюка, Серегина с Соколовым...

Итак, известен диагноз, известно и действие трав. Что остается на долю знахарки? Выбрать несколько трав, соответствующих болезни, скомбинировать их, то есть составить то, что в государственных аптеках называется сборами (почечный сбор, желудочный сбор, желчегонный сбор и т. д.), вручить этот сбор больному и... получить деньги. Софья Павловна так и делает. Больше того, во многих

случаях она действует заочно, не видя пациента в глаза. И даже не во многих, а в большинстве случаев. Больной присылает письмо, в котором подробно описывает свою болезнь. Так, как в поликлинике ему сказали. Баба Соня собирает травы и посылает их посылкой. Наложением платежом. Просто и хорошо. Сергей говорит, что очень часто баба Соня не берет денег заранее.

— Вот погоди,— говорит она,— если поможет моя трава, тогда и заплатишь.— И будто бы идут потом от благодарных пациентов ящики итальянского вермута, дорогие коньяки, красная рыба, икра, наличные деньги.

Думаю, что альтруизм (человеколюбие) не исключается из побуждающих мотивов Софьи Павловны. Действительно, ей за семьдесят, два века не проживешь, на ее век, наверное, ей уже хватит. Можно было бы и приостановить бурную деятельность. Значит, помню денег есть и другое — любовь к травам, быть может, а то и к людям. Но, с другой стороны, на чистом альтруизме нельзя было бы арендовать на летние месяцы ежедневно такси (тридцать рублей в день, девятьсот рублей в месяц) да еще содержать штат помощниц.

Тут к Софье Павловне пришел молодой мужчина за очередной, как выяснилось, порцией лекарства. Софья Павловна взяла из его рук большой мешок, который называется картофельным, и пошла ходить между своих картонных коробок. Остановившись, она взглядывала испытующе то на одну коробку, то на другую, словно прицеливалась или дождалась нитя, потом запускала руку, вынимала большую горсть травы и клала ее в мешок. Пригоршня (две-три пригоршни) служила ей мерой, вместо обычных аптекарских весов, миллиграммов и кубических миллиметров. Отсюда горсть и отсюда горсть. Отсюда. Теперь отсюда. Теперь этой добавь. И этой тоже... Парень ушел, унося на плечах мешок, набитый сушеными травами. Хватило бы корове два раза наесться.

Я посмотрел на Софью Павловну с новым любопытством. «Вреда не будет,— как бы сказал мне ее взгляд,— все травы проверены, вредных среди них нет!»

Еще раз пройдя по комнатам Софьи Павловны и осмотрев их, я увидел то, что непременно надеялся увидеть: стопу книг о лекарственных растениях.

Конечно, каждый врач, каждый, там, нейрохирург должен читать и читает книги по своей специальности, и в этом нет ничего странного, а тем более предосудительно-

го. Напротив, было бы странно видеть современного врача, не читающего книг по своей специальности.

Но, с другой стороны, если своя болезнь человеку заранее известна и если свойства трав изложены в книгах, то на чем же зиждется потребность людей обращаться к Софье Павловне и ей подобным? Платить втридорога неизвестно за что. И это при бесплатной-то медицине, при всем ее могуществе и всеобщем уважении к ней! Не действует ли здесь врожденное, инстинктивное или из поколения в поколение дошедшее до нас доверие к травам, подсознательная надежда на то, что природа не подведет, выручит и спасет, особенно когда говорят «нет, нет и нет». Доверие это обоснованно. На природу действительно можно положиться. В ней есть все, что нужно человеку для здоровья и жизни: и целебные вещества, и пример жизнестойкости, и красота.

\* \* \*



В Главном ботаническом саду (в Москве) много сотрудников, много и телефонов. Я обзавелся номером одного из них, и это оказался телефон девушек-экскурсоводок в оранжерее. Трубку снимала то одна, то другая, и вскоре я стал различать девушек по голосам, по крайней мере двух экскурсоводок — Галю и Любу — я узнавал сразу. Надоедал же я им одним и тем же вопросом: когда зацветает Виктория регия?

Вернее сказать, этот вопрос я задал при первом разговоре, при первом телефонном знакомстве, а потом они уже знали, зачем я звоню, и мне достаточно было спросить: «Ну как?»

Меня уверили, что события надо ждать не раньше конца июня, а то и в июле и что мне сразу же позвонят и вообще будут держать, что называется, в курсе. Поэтому, когда я так, на всякий случай набрал нужный номер в последних числах мая (скорее для поддержания знаком-



ства и чтобы меня не забыли) и услышал, что она вчера уже отцвела, то я воспринял это чуть ли не как предательство. Не со стороны Виктории регии, конечно, но со стороны девушек-экскурсоводок, обещавших предупредить меня о столь выдающемся событии.

Однако девушки, разочаровав меня, тут же и успокоили:

— Да вы не волнуйтесь. Это ведь отцвел только первый бутон. Теперь она будет цвести бутон за бутоном до сентября. Звоните, интересуйтесь...

Вот я и звонил и надоедал своим коротким вопросом: «Ну как?»

— Приезжайте, — наконец было сказано мне, — бутон уже начал раскрываться, сегодня вы все увидите.

— В котором часу?

— Да хоть сейчас. Чем скорее, тем лучше.

Мы привыкли время дня расписывать по событиям и часам. Значит, так. В час дня мне надо быть в одной редакции. В половине первого я обещал заехать в книжный магазин. Сейчас половина одиннадцатого... как раз успеем заскочить в Ботанический сад, взглянуть на чудо из чудес, на Викторину регию, и мчаться дальше по лабиринтам и заранее расчерченным клеткам московского дня.

Тут привмешался еще дополнительный психологический момент. Такое событие, такое зрелище! Хочется кого-нибудь им угостить. Звоню одному приятелю (поэту), торопливо захлебываясь, сообщаю:

— Понимаешь, Виктория регия, чудо из чудес... Один раз в жизни надо же посмотреть... Царица... в белоснежных одеждах... Я сейчас еду, хочешь?

— В котором часу?

— Да сейчас же. Хватай такси и жми к входу в Ботанический сад. Знаешь, где башенки...

— Какие башенки?

— Ты что, никогда не бывал в Ботаническом саду?

— Не бывал. Какие башенки?

— Ладно, таксист найдет. Через тридцать минут встречаемся. А в половине первого и мне надо в другое место.

— Нет. Сейчас не могу, — вдруг вспомнил приятель. — Обещали запчасти. Амортизатор. Редчайший случай, никак нельзя упустить. Давай завтра.

— Завтра будет уже поздно.

— Жаль, но сейчас я не могу. Понимаешь... амортизатор. Умелец принесет на дом и сам же поставит. Не могу.

Скорее звоню другому приятелю (редактору):

— Виктория регия... Чудо... Посмотреть хоть раз в жизни.

— Пожалуй, я смогу подскочить, а куда?

— Ботанический сад... Желтые башенки, знаешь?

— Знаю, но, по-моему, они не желтые, а белые. Хорошо, через тридцать минут буду. Не опаздывай. А то у меня в двенадцать часов летучка, а потом подписывать номер...

Так, между делами и хлопотами помчались мы с разных концов Москвы к белым (или какие они там) башенкам у входа в Главный ботанический сад, надеясь в порядке все той же московской суеты взглянуть на чудо, на царицу в белоснежных одеждах, вдохнуть на бегу ее аромат и мчаться дальше и говорить потом, что мы видели, как цветет Виктория регия.

День был жаркий, душный, и, уже выходя из машины, мой приятель вытирал платком виски, лоб и шею. Он был постарше меня и поплнее. Кроме того, гипертония. Кроме того, вчера вечером ему, как лицу официальному, пришлось принимать иностранного гостя, и теперь он больше всего мечтал о бокале холодного какого-нибудь напитка.

А время начинало поджимать. Быстро через обширный розарий, насыщенный густым ароматом тысяч пышно цветущих роз, мы шли к так называемой Фондовой оранжереи Главного ботанического сада. В плотных розовых испарениях мой приятель почувствовал себя совсем плохо, но главное было впереди.

Как только нас провели в помещение собственно оранжереи, так и охватило нас влажное, душное тропическое тепло, по сравнению с которым летний московский день — сама прохлада и легкость. Пальмы и кактусы, кофейные деревья и какао, лианы и гигантские молочаи, орхидеи и рододендроны, бананы и бамбук, агавы и юкки — все это дышало, цвело, пахло в парной атмосфере искусственных тропиков, и я (не принимавший накануне иностранного гостя) понимал, что мой спутник здесь долго не выдержит.

Между тем мы вошли в помещение с бассейном, имитирующим уголок мелкой тропической заводи с антуражем из тропических же растений по берегам.

Такого потока парной воды, какой представляет собой Амазонка, нет больше на земном шаре. На двести пятьдесят километров в ширину расплескивается этот поток, прежде чем исчезнуть в необъятном (и парном же) Атлантическом океане. На протяжении тысяч километров Ама-

зонка течет не в строгих берегах, но дробится на протоки и рукава, образует обширные заливы и заводни. Нетрудно догадаться, как прогревается вода в амазонских заводях, если они почти не текут, а глубина их меньше метра, по колено человеку, когда бы мог там оказаться человек и когда бы он рискнул встать на илистое дно в почти горячую воду, кишашую разными ядовитыми тварями. Надо полагать, эти заводни обширны (в масштабах самой реки), иначе не водилась бы там (и только там) Виктория регия, один экземпляр которой в полном и пышном его развитии занимает водную поверхность в сотни квадратных метров.

Можно представить себе состояние немецкого путешественника и ботаника Генке, когда он в 1800 году, пробравшись на весельной лодке в глухие амазонские джунгли и выехав однажды из тесной протоки, увидел вдруг первым из европейцев на широких просторах тихой заводни эту гигантскую лилию... «Слы небесные, что это?!» — будто бы кричал он.

Генке долго не мог уехать из чудесного тропического затона, не мог оторваться от созерцания царицы цветов, обнаруженной им, не мог покннуть ее. По пути же к людям, в обыденный человеческий мир с его городами и государствами, академиями и музеями, книгами и газетами, он погиб, ничем не раздробив в своей душе неправдоподобный и как бы даже приснившийся образ амазонской красавицы. Только его спутник испанский монах отец Лакуэза, разделивший с Генке созерцание сказочного цветка и уцелевший, добравшийся до людей, рассказал потом о виденном чуде.

Когда же девятнадцать лет спустя второй европеец, а именно француз Бонплан, увидел, стоя на высоком берегу, заводь с огромными цветами и листьями, он в безотчетном восхищении едва удержался от того, чтобы броситься в воду.

Еще через восемь лет француз же д'Орбиньи третьим из цивилизованного мира лицезрел царицу царств<sup>1</sup>, причем заросли ее прострнулись на целые километры.

<sup>1</sup> Тем не менее честь названия вида принадлежит другим ученым. Англичанин Роберт Герман Шомбург назвал ее *Nymphaea victoria* (нимфея Виктория), а Линней в 1837 году поправил Шомбурга и дал виду окончательное название — Виктория регия — *Victoria regia*, то есть Виктория царственная, Виктория королевская. Виктория — в честь английской королевы, а царственная — по существу. Иногда называют ее *Victoria amazonica* (амазонская), по месту обитания и обнаружения.

Ну, а у нас тут не обширная заводь, а бассейн, если мерить на квадратные метры, то метров, пожалуй, сорок, то есть, скажем, десять метров в длину и четыре в ширину. В тесной клетке сидит пленная царица под стеклянным потолком, в искусственно подогретой воде, а корнями — в кадке с землей, погруженной в воду.

— Ну вот смотрите нашу Викторию. К сожалению, бутон еще не раскрылся.

Да, Виктория не цвела<sup>1</sup>. Ее бутон продолговатый, овальный, заостренный кверху, величиной, ну, скажем, с две ладони взрослого человека, если сложить их ладонь к ладони, а потом в середине между ними образовать пустоту, как бы для яблока; бутон этот, правда, слегка раздался, приоткрыв четыре щелочки (по числу зеленых чашелистиков), и уже показалось в этих щелочках нечто ярко-белое и словно шелковое, но до цветения было еще далеко.

— Да вы подождите, — ободряли нас девушки, — она ведь, если начнет раскрывать цветок, то быстро... Погуляйте у нас, посмотрите на другие растения... Мы вас проводим, покажем. А она тем временем расцветет. Она, может быть, и сейчас бы уже цвела, но видите, погода нахмурилась, солнце скрылось за облаками, а она очень чувствительна...

Гулять и разглядывать другие растения нам было некогда. У него летучка, подписывать номер, а у меня... Я-то мог бы отменить свои дела, остаться и ждать до победного конца, но уж если приехали вместе... В душе я пожалел, что приехал не один.

— В другой раз, в другой раз.

---

<sup>1</sup> Объяснимся и уточним. В Московском ботаническом саду культивируется в неволе, то есть в оранжерейных условиях, Виктория круциана (*Victoria cruziana*), другой вид Виктории регии, отличающийся от нее незначительными признаками.

Существует множество разновидностей березы, картошки, несколько разновидностей льна (голубое цветенье) или белого гриба. Однако, если бы демонстрировать на другой планете, то на любую разновидность смотрели бы обобщенно, как просто на березу, на картошку, на лен, на белый гриб. Право же, Виктория круциана отличается от Виктории регии не больше, чем белый гриб еловый от белого гриба борового или лен-кудряш от льна-долгуица, а может, даже и меньше.

Мы, неботаники, привыкли к сочетанию слов Виктория регия, и писать все время Виктория круциана даже сопротивляется рука. В то же время называть Викторию круциану Викторией регией было бы ошибкой, неточностью. Поэтому в дальнейшем в очерке будем называть растение просто Викторией.

— У вас маленьких никого нет?

— Как же нет? А Наташа! Шесть лет, седьмой.

— Так вы привозите ее, сфотографируем сидящей на листе Виктории. Получится очень красиво. Вы сами фотографируете?! У вас есть фотоаппарат? Советуем. Такая возможность.

— Как это на листе? Я думал, что об этом только в книгах пишут.

— Что вы! Больше семидесяти килограммов выдерживает лист Виктории, плавая на воде. А девочка... Это же получится настоящая Дюймовочка!

...Наташу мы одели в нарядное голубое платьице. Но этого было мало. Я терпеть не могу любительских фотографий. Из-за этого, собственно, я перестал заниматься фотографией, хотя начинал одно время, когда работал в «Огоньке», и даже сам иллюстрировал некоторые свои очерки. Я и до сих пор люблю фотографию, особенно черно-белую, хожу на выставки, листаю фотоальбомы, издающиеся в разных странах. Но я люблю фотографию именно как искусство и терпеть не могу любительских фотографий, где ни плана, ни кадра, ни освещения, ни композиции, не говоря уж о мысли. Потому и бросил, что надо либо заниматься всерьез, либо не заниматься совсем.

Между тем идея сфотографировать девочку на листе Виктории понравилась мне. Тогда я вспомнил свои огоньковские годы и всех фотомастеров этого журнала, с которыми приходилось вместе работать, и стал думать, кому бы позвонить. Замечательный пейзажист Борис Кузьмин... Великолепный мастер Туикель (путешествовали с ним по Албании и по Киргизии), Миша Савин... А вот что, позволю-ка я, пожалуй, Галине Захаровне Санько. Не только потому, что месячная поездка в Заполярье как-то сдружила нас, а потому, что ведь ей принадлежит этот очаровательный снимок, обошедший тогда многие журналы и выставки: девушка в военной форме (гимнастерка, юбка, сапоги) сидит в лодке и держит на коленях букет белых водяных лилий. Вокруг лодки все те же лилии.

«Я как увидела,— рассказывала Галина Захаровна,— думаю, это то, что надо. Добавили лилий в букет, велела ей я юбочку подобрать немного повыше, чтобы коленочки показать, а коленочки у нее были — первый сорт, глазки попросила потупить...»

Эта знаменитая в свое время фотография (семь тысяч писем с просьбой прислать адрес девушки, главным обра-

зом от солдат) по прямой ассоциации, поскольку Виктория близкая, хотя и царственная родственница наших кувшинок, тотчас привела меня к воспоминанию о Галине Санько. Делом одной минуты было узнать ее телефон.

— Володечка, как это вы вспомнили обо мне? — слышался как будто не изменившийся, характерный, немного скрипучий голос Галины Захаровны. — Ведь не звонил двадцать пять лет...

— Да так уж вот, вспомнил. Между прочим, есть просьба...

— Я стала тяжела на подъем. Кроме того... В каком часу это будет? В двенадцать? Имейте в виду, что в половине второго мне надо опять быть дома. Ко мне придут.

— Я за вами заеду, и я же отвезу вас обратно. Вам не придется ни о чем беспокоиться. За время и транспорт отвечаю я.

— На таких условиях я согласна и даже рада буду сделать это для вас.

Крупная, поливатая Галина Захаровна изменилась за двадцать пять лет меньше, чем можно было предполагать. Ее увесистый кофр с аппаратурой был уже собран, я повесил его себе на плечо, и мы пошли к машине.

Прогнозы девушек-экскурсоводок были самые оптимистические: «Приезжайте скорее, а то прозеваете!» Тем не менее, войдя в помещение бассейна, я опять увидел все такой же бутон, правда, четыре щели с проглядывающей в них белизной были пошире, чем в первый раз, но все же это был не цветок, а бутон.

Тут впервые подошла ко мне (без нее и нельзя было бы теперь обойтись в рассуждении фотографирования) Вера Николаевна, милая тоненькая женщина, хозяйка Викторин, то есть научная сотрудница, за которой закреплено это растение и вообще весь этот уголок водяных тропиков.

— Удивляюсь, зачем они гоняют вас сюда по утрам, — сказала Вера Николаевна, — не знают, что ли? Наверное, не знают. Экскурсии они водят по многим помещениям оранжерей и все быстрее, быстрее... Дело в том, что по Викторин можно проверять часы, она распускается в четыре двадцать.

Ну вот, опять я связан обещанием с другим человеком. Обязан отвезти Галину Захаровну домой. И Наташе будет скучно здесь: четыре часа до цветения да четыре часа

во время цветения. Да и сам я, откровенно говоря, не мог в этот день распоряжаться таким продолжительным временем.

Но все же особой спешки сегодня не было, и, пока Га-лина Захаровна ходила вокруг бассейна и взглядывала на него со всех сторон профессиональным наметанным взглядом, прикидывая точки зрения и ракурсы, я мог подробнее разглядеть растительность в этом маленьком тропическом водоеме. Первыми бросаются в глаза разноцветные кувшинки. Они здесь не как наши, желтые «кубышки», производящие несколько кургузое впечатление, и даже не как наши белые водяные лилии с коротковатыми лепестками, но изящные, умопомрачительной красоты цветы, поднимающиеся из воды на тонких стеблях. Лепестки у них длинные, узкие и заостренные, образуют... как бы это сказать... не розетку, подобно нашим кувшинкам, но бокал. Нежно-розовые, ярко-розовые, красные, лиловые, они цвели там и сям в бассейне, причем цветы не лежали на воде, как обычно бывает у кувшинок, но отстояли от водяного зеркала, были подняты над ним, как будто специально для того, чтобы лучше в нем отразиться.

В воде плавали небольшие черепахи, и радужно поблескивали всеми цветами от синего до ярко-зеленого, от пурпурного до ярко-желтого крохотные рыбешки гуппи.

В одном месте поднимались из воды стебли лотоса с округлыми листьями, не лежащими на воде, но находящимися довольно высоко над ее поверхностью. На отдельном стебле среди этих листьев, подобно наконечнику стрелы (и очень похож на него), выступал из воды лотосовый бутон.

— Советую не полениться и приехать, когда этот бутон распустится,— сказала Вера Николаевна,— это произойдет еще не скоро, месяца через два. Он делается большим. А цветок по красоте не уступит любому из этих, в том числе и нашей царице.

(Забегая вперед, скажу, что я ездил смотреть на лотос и тоже несколько раз. Неудача состояла в том, что в те дни, когда ему цвести, отключили по каким-то причинам подогрев воды в бассейне, и лотос, совсем уж собравшийся расцвести, остановился в стадии бутона, готового вот-вот раскрыть свои лепестки. Бутон был розовый, островерхий, достигший размеров наконечника уже не стрелы, а копья. Я, когда подошел, стал искать его глазами около

воды, где он находился сначала, но, оказывается, стебель поднял его почти на метр сравнительно с тем днем, когда мы приезжали в оранжерею с Галиной Захаровой.)

Были там и еще какие-то экзотические растения с большими листьями, с лопухами, но они не цвели, и я их не запомнил. К тому же водяное чудо, ради которого мы приехали, затмевало все и требовало смотреть лишь на него.

На воде лежали яркие свежей сочной зеленой яркостью листья, размером с обыкновенный круглый обеденный стол. Они были не овальные, не продолговатые, не сердцевидные, но именно круглые. Про наши кувшинки тоже можно огрубленно сказать, что у них листья круглые, но круглые ли они? Эти, на которые мы теперь смотрели, можно было выверять циркулем, раздвинув его на метр. Да, каждый лист был около двух метров в диаметре. Каждый лист имел по краю строго перпендикулярный заборчик высотой сантиметров около семи. Не то, чтобы край листа производил впечатление загнутого кверху, нет, лист обнесен по краю, по всей своей окружности строго перпендикулярным и, как видим, довольно высоким заборчиком.

Таких листьев на воде в тот день лежало восемь, и они занимали почти всю поверхность бассейна. Стебли расходились от одной точки радиально — ведь здесь рос единственный экземпляр Виктории. Я увидел, что от той же точки в воде расходятся черешки, которые не оканчиваются листом, и спросил у Веры Николаевны, что это значит.

— Обрезаем. Если не обрезать, где бы они поместились? Ведь только после того, как она выгонит двадцатый лист, начинают появляться бутоны. А всего она дала бы листьев восемьдесят.

— Какую же площадь заняли бы листья одного только экземпляра Виктории?

— Посчитайте... Если принять для удобства диаметр листа за два метра... Радиус умножьте на 3,14 (число «Пи»), значит, площадь листа получится около трех квадратных метров, да еще придется учесть промежутки между листьями... Я думаю, если бы ее не теснить, метров четырехста под солнцем она бы себе захватила.

— Отрезаете лист за листом и куда их деваете?

— Прimitивно выбрасываем.

— Такое чудо природы?!



— Что же с ним делать? Поросят у нас нет, коровы тоже не держим. Они, ее листья, снизу в острых шипах и грубых прожилках до нескольких сантиметров толщиной. У регии весь лист снизу красного цвета, а у нашей красные только прожилки. Один из главных отличительных видовых признаков.

Однако займемся делом.

Вера Николаевна принесла большой, но легкий фанерный диск, окрашенный в зеленый цвет. Этот диск она положила на лист Виктории, и он занял как раз всю площадь листа, словно был вырезан точно по мерке.

— Для устойчивости,— пояснила хозяйка Виктории.— Считается, что лист выдерживает семьдесят килограммов, даже больше, и это правда. Но только если груз распределять ровно по всей поверхности, например, насыпать ровным слоем песку. Или положить вот такой фанерный круг, а на него уж и груз. Если же ходить по листу ногами, то, сами понимаете, он будет проминаться, прогибаться, колыхаться, зачерпнет воды и скорее всего порвется. Прочный-то он прочный, и плавучесть у него великопная, но все же это ткань живого листа, а не какая-нибудь деревяшка. Таковую девочку, как Наташа, он легко выдержал бы и без фанерки, но она испугается, если он под ней будет колыхаться и гнуться, так что давайте уж лучше с диском.

Вера Николаевна пыталась установить в воде алюминиевую стремянку в шесть ступенек, чтобы встать на нее и пересадить девочку с края бассейна на лист, но что-то не ладилось со стремянкой, тогда Вера Николаевна махнула на нее рукой, подобрала под поясок свое легкое платье, сделав из него «мини», и так вошла в воду.

Галине Захаровне все было мало. Она и забегала отсюда, и пригибалась там, то и дело щелкая затвором камеры, и все ей было мало.

Я давно знал эту дотошность, цепкость, въедливость, а вернее сказать, добросовестность фотохудожников-профессионалов. Помню, как в Киргизии перед Тункелем прогнали отару по долине раз пятьдесят взад-вперед, пока мастер удовлетворился кадром, а молодая киргизка-учительница, которую ему хотелось снять говорящей, сто раз начинала одну и ту же фразу: «азыр арифметика»... то есть, видимо, «начинаем урок арифметики». У меня до сих пор в ушах это «азыр арифметика», хотя прошло с тех пор двадцать шесть лет.

Но Наташа вдруг сникла на листе Виктории, то ли боязно было ей там сидеть, то ли надоело. На бесконечные: «А теперь сюда погляди, деточка... а теперь сюда, деточка... Ну, взгляни, ну, улыбинься, деточка...» — она угрюмо и упрямо смотрела вниз, не поднимая своих сияющих глазок. Скорее всего она боялась, хотя потом свое настроение объяснила очень просто. Будто бы на лист подтекла вода, и ей будто бы жалко было замочить свое новое платье.

...После всех этих поездок, а вернее сказать, наскоков в Ботанический сад я понял только одно: мы живем в одном, в своем темпе и ритме, а Виктория — в своем... Нам скорее надо мчаться в магазин, в редакцию, в центр города, на встречу с друзьями, по разным делам, нам некогда или скучно стоять на одном месте и глядеть на цветок три-четыре часа, а Виктории никуда ни спешить, ни бежать не надо. У нее свое представление о времени и о смысле бытия. Значит, для того чтобы войти с ней хотя бы во внешний контакт, надо принять ее условия игры, подчиниться ее темпу и ритму. Поэтому на третий раз я приехал к ней один, полностью освободив остатки дня и вечер, с намерением простоять около цветка столько часов, сколько понадобится.

Анекдот про японцев (действительный случай, звучащий анекдотически) стал уже общим местом. Как они привезли европейских туристов на поляну, с которой хорошо видна гора Фудзияма, и оставили их там на несколько часов. А когда туристы возроптали: «Мы приехали Японию смотреть, а не сидеть без дела на одном месте», — японцы вежливо возразили и показали программу. В программе было написано: с 9 утра до 11.30 — любование.

Так вот — любование. В этом весь секрет постижения красоты. Согласитесь, что если человека привезти на берег моря, показать ему катящиеся валы прибоя, а через минуту увести от моря подальше — это одно. Если же человек просидит на берегу несколько часов или проживет несколько дней, то это, согласитесь, совсем другое. Все сходится на том, что на море можно смотреть часами, равно как на огонь или на водопад. Весь комплекс моря с его синевой, запахом, шелестением или грохотом волн, игрой красок, шуршанием гальки, с необъятным простором, с кораблями, проплывающими вдали, с чайками и облаками — все это наполнит вас, очистит, облагородит, останется навсегда, чего не произойдет, разуме-

ется, если взглянуть и тотчас уйти или увидеть из окна поезда.

Каждый раз, когда я видел что-нибудь очень красивое в природе: цветущее дерево, цветочную поляну, светлый быстрый ручей, уголок леса с ландышами в еловом сумраке, закатное небо с красивыми облаками, россыпь брусники вокруг старого пня, ночную фиалку среди берез, каждый раз, когда я видел что-нибудь красивое в природе, у меня появлялось чувство, похожее на досаду. «Господи,— говорил я,— такое мне дано, но ведь с этим же что-то делать надо!» А в это время идешь куда-нибудь по делу, хотя бы по грибы или на рыбную ловлю, и проходишь мимо красоты с чувством неудовлетворенности и досады: что-то надо было с этим делать, раз оно тебе дано, а ты прошел мимо, не зная, что делать.

Потом я понял, что нужно: остановиться и смотреть. Любоваться. Созерцать. Остановиться не на двадцать минут (которые тоже можно считать продолжительным временем), потому что если остановишься на двадцать минут — не избавишься от зуда движения, так тебя и будет подмывать двинуться дальше, нет, остановиться перед красотой надо, не думая о времени, остановиться не меньше, чем на два часа. Только тогда красота как бы пригласит тебя в собеседники, только тогда возможен с ней глубокий духовный контакт, а значит, и радость удовлетворения.

Это касается и красоты другого порядка. С удивлением смотрю я на толпы туристов, поспешно и в тесноте пробегающих по залам картинной галереи. Что же можно увидеть, что же можно постичь? Название картин? Рамы? Внешний сюжет? Суриков часами сидел в одиночестве перед грандиозным полотном А. Иванова в Третьяковской галерее. Павел Дмитриевич Корин проводил в неподвижности часы перед полотнами Сурикова, в частности перед «Боярыней Морозовой», а также перед мастерами Возрождения Италии.

Однажды, будучи еще студентами, мы с товарищем (теперь известным писателем) провели эксперимент, уговорились и простояли полдня перед картиной Левитана «Над вечным покоем», хоть и до этого знали ее наизусть. В конце концов я почувствовал в себе поднимающуюся волну тревоги, любви, тоски, безотчетной готовности к любому свершению. В это время товарищ повернулся ко мне, и я увидел в его глазах слезы. А сколько раз до этого ос-

танавливались перед картиной, говорили: «Да, здорово» — и бежали дальше?

Сергей Никитин, писатель, живший во Владимире, рассказывал мне о его, так сказать, отношениях со знаменитой церковкой Покрова на Нерли.

«Первый раз мы приехали к ней человек пять: Сергей Ларин, Никифоров, другие наши писатели. Захватили, конечно, выпить, два пол-литра. Расположились на травке, выпили, закусили. Ну, друзья, поглядели, хватит, поехали домой. Поставили галочку в уме: видели Покров на Нерли. А теперь я приезжаю один. Посидишь часа три-четыре напротив нее на бережке, чтобы и отражение ее тоже видеть, и словно светлой водой омоешься. Я постепенно к этому пришел, а сперва все наскоком. Привезешь гостя какого-нибудь показать, обойдем вокруг нее с разных сторон, взглянем, и делать больше нечего — обратно в город. А теперь как на свидание к ней езжу, когда на душе тяжело или тревога какая, или неудача... Красота душу лечит...»

Тем более все это касается древнерусской живописи. «Не понимаю я красоты этих икон и никогда не пойму!» — то и дело слышишь от людей, не чуждых как будто искусству, культуре, образованных, по крайней мере. Не угодно ли часы, часы провести перед одной-единственной иконой (да еще учтя, что художник создавал ее в расчете на полумрак и специальное освещение — на огонек лампы или свечи), вместо того чтобы категорически заявлять об отсутствии в иконе красоты и духовности. Надо дожидаться — повторяю, — когда красота сама пригласит тебя в собеседники, а не скользить по ней суетливым, поспешным взглядом.

В четыре часа пополудни Вера Николаевна ввела меня в помещение к Виктории. С нами вошла и еще одна сотрудница оранжереи, Татьяна Васильевна. Втроем мы остановились на краю бассейна с той стороны, с какой хорошо был виден бутон. Он находился от нас метрах в четырех-пяти. Строго вертикально и как бы даже напряженно поднимался он из воды, округлым основанием касаясь ее зеркала, а острым концом глядя в тусклый стеклянный потолок. Край гигантского листа Виктории находился совсем близко от бутона, так что можно было предположить, что если цветок раскроется во весь свой тридцатисантиметровый размах, то одной стороной ему придется упереться в край листа, в его вертикальную стенку и, види-

мо, наклониться. Если это произойдет, то наклонится он в нашу сторону. Но пока ничто не мешало бутону стоять четко и прямо.

Бутон в этот раз набух больше, чем в предыдущие мои приезды, так что щели между чашелистиками раздались до сантиметра.

С какой быстротой ни раскрывался бы на наших глазах цветок (розы, одуванчика, любого другого растения), все равно глазом этого движения не увидишь, как не увидишь, например, движения часовой стрелки. Всего час нужно пройти ей от цифры до цифры (очень заметное расстояние), и вы видите, что она это расстояние прошла, но движения ее как такового вы все же не видели, хотя бы и смотрели на циферблат неотрывно. Точно так же было и с нашим цветком. Я не видел, не улавливал, как двигаются чашелистики и двигаются ли они, но я видел результат их движения: белые щели между ними расширялись и расширялись.

Я всегда знал, что растение — живое существо, которое рождается, растет, вступает в пору зрелости, цветет, оплодотворяется, плодоносит, стареет и, наконец, умирает. Но я впервые увидел, что передо мной действительно живое, шевелящееся существо, шевелящееся не от ветра, а само по себе.

Сработал некий механизм, откуда-то, каким-то образом поступила команда, и части цветка пришли в движение. Я посмотрел на часы, на них было четыре двадцать. Не скрою, что озноб и трепет пробежали по мне, словно я прикоснулся к какой-то великой священной тайне.

— Но почему, почему именно в это время? — спросил я ученых-ботаников, разделявших со мною созерцание Виктории. — Теплее в оранжерее не стало. Часто ведь именно теплота включает в растениях разные механизмы. Светлее или темнее тоже не стало. Что же сработало, что дало сигнал, где это реле, которое включило Викторину, почему именно в это время?

— Так уж она себя ведет, — замечательно ответила Вера Николаевна. Эту фразу в тот день я услышу еще несколько раз.

— Но вы же ботаники, ученые, скажите мне — где? Я понимаю: запрограммированность, наследственность, генетический код... Но где? У нас, у людей, хоть мозг, на который можно ссылаться. Но вот — листья, вот — стебли, корни, бутон. Семечко, в котором, можно бы предполагать,

упакована программа дальнейшего поведения растения, семечко это давно исчезло, проросло, остатки его сгнили, семечка больше нет, скажите мне, где скрыта программа? Где руководящий центр? Откуда пришла команда чашелистникам прийти в движение? Почему после двадцатого листа? Почему в этот час? Почему, где и как?

— Вы можете задать нам еще тысячу «почему», «где», «как», мы все равно ничего не сможем ответить. Так уж она себя ведет.

— Ведь даже если предположить, что в природе существует какой-то высший или сверхвысший разум (чего мы с вами, разумеется, предположить не можем), все равно нельзя же предположить, что он управляет и командует каждым экземпляром растения в отдельности. Чепуха, вздор. Но тогда почему, где и как? Извините меня, но я не нахожу для всего этого другого определения, кроме короткого слова — чудо.

Между тем четыре зеленых чашелистика отогнулись настолько, что сверху острые концы их разомкнулись и в образовавшееся пространство высунулись белоснежные концы лепестков, собранных в плотную щепоть, в столбик. Причем лепестки эти, собранные в щепоть, оказались вдруг значительно длиннее чашелистиков, в которые они были до сих пор упакованы.

Был момент, когда «упаковка» отогнулась уже очень сильно, обнажив лепестки во всей их белизне и величине, а лепестки между тем все еще оставались собранными вместе, словно бы слеплись. Вдруг весь этот столбик из лепестков явственно вздрогнул, встряхнулся и разределся. Тотчас три лепестка с одной стороны и один лепесток поодаль первыми отделились от своих собратьев, отделились на сантиметр-другой. Подобно все той же часовой стрелке, они незаметно по движению, но заметно по результатам движения начали отгибаться все больше и больше, стремясь принять горизонтальное положение и догнать зеленые чашелистики. И другие лепестки, то один, то сразу два, стали отделяться от общего пучка и отгибаться вслед за первыми.

Где-то в научной даже статье я однажды прочитал, что цветок Викторин регин напоминает цветок магнолии. Вот уж чего он не напоминает, так именно цветок магнолии, если не считать, конечно, что оба большие и белые. Цветок магнолии — белая фарфоровая чаша из нескольких круп-

ных лепестков, а у Викторин этих лепестков десятки (около семидесяти), они длинные и сравнительно узкие, ложатся слой на слой, причем каждый верхний слой покороче нижнего, так что самые длинные лепестки — это те, что первыми легли на зеленые чашелистики. Кроме того, и чашелистики и лепестки цветка Викторин, можно сказать, переусердствуют в своем распускании и перегибаются за горизонтальную плоскость, несколько выворачиваются. Весь распутившийся цветок напоминает не чашу, а тарелку, перевернутую вверх дном.

— Она сейчас усиленно дышит,— комментировала события хозяйка Викторин.— То есть в несколько раз интенсивнее обычного.

— Еще бы... ведь это любовь, акт любви.

— Температура цветка сейчас градусов на десять выше окружающего воздуха и остального растения.

— И вы по-прежнему будете утверждать, что она бесчувственна, что она не живое существо?

— Мы этого и не утверждаем. Как это она не живая, если цветет? Вон еще отгибаются лепестки...

— А кто ее опыляет?

— У нас никто. Сначала в оранжерее мы опыляли ее кисточкой, но теперь и этого не делаем. Все равно пыльца каким-то образом попадает на пестик и оплодотворение происходит, получаются семена. На родине, на Амазонке, Викторин помогают опыляться насекомые, конечно, ночные бабочки, ночные жуки. Ведь недаром она распускается перед вечером, в косых лучах солнца. Это ночной цветок. Говорят, что множество жуков наползает в цветок, а потом перед утром он быстро закрывается и захлопывает жуков, как в ловушке.

— А потом?

— Потом, на другой день, в те же предвечерние часы цветок раскрывается вторично, только уже не белый, как сейчас, а розовый. Жуки вылетают на свободу.

— Гуманио с ее стороны. Царица Тамара, как помним, после брачной ночи женихов велела сбрасывать в Терек. Да и Клеопатра... что-то похожее рассказывают про нее.

...Не перед телевизором, не на стадионе мы сидели и не в кино, а между тем часы пролетали незаметно и прошло уже три часа. Рабочий день в оранжерее и вообще в Ботаническом саду давно закончился, все служащие ушли домой. Пришла ночная дежурная и несколько удивилась

нашему позднему пребыванию здесь. Татьяна Васильевна несколько раз порывалась сходить к телефону, позвонить домой о том, что задерживается, да так и не оторвалась от цветка.

Вечернее безлюдье и тишина придавали событию некоторую таинственность, интимность. Распустившийся огромный цветок еще более прекрасным отражался в воде. Действительно, ему пришлось упереться в край листа и несколько наклониться в нашу сторону, как бы доверительно и щедро показывая себя.

— Смотрите, он розовеет! Он явственно розовеет.

— Посмотрели бы вы на него завтра. Он будет ярко-розовый.

Белое, начинающее розоветь живое чудо покоилось на воде и отражалось в ней. На улице поверх стеклянного потолка стало заметно темнеть. Но здесь, в уютом зеленом уголке, от распускающегося цветка стало как будто светлее. Рядом с ярким белым цветком словно бы ярче сделалась зелень листьев. Вдруг все помещение под стеклянным потолком наполнилось дивным ароматом — Виктория царственная, Виктория амазонская, Виктория круциана (будем точными) расцвела.

Мы простояли над ней еще около часа. Уходить не хотелось. Сообщницы моего созерцания и любования, постоянные сотрудницы, научные работники Ботанического сада и этой оранжереи, признались мне, что они впервые так вот, по-настоящему разглядели Викторину и прониклись ее красотой.

— Все на ходу, на бегу, — объяснила Вера Николаевна. — Лепестки сосчитать — пожалуйста, кисточкой опылчать — пожалуйста, отцветший бутон в воде марлей обвязать, чтобы семена потом не рассыпались, — пожалуйста, лишние листья отрезать и выбросить... Хлопочешь, бегаешь, суетишься. Взглянешь — еще не распустилась, прибежишь через два часа — распускается, бежишь дальше... Очень, очень мы вам благодарны!

— Вот так новости! Это я вас должен благодарить.

...С неохотой оторвались мы от созерцания чуда. Едва ли не на цыпочках и разговаривая едва ли не шепотом, тихонько пошли из оранжереи.

— Значит, утром, вы говорите, она закроется, а к вечеру раскроется снова, но будет уже не белая, а розовая.

— Ярко-розовая.



— А потом?

— Закроется еще раз и расцветет на третий день багрово-красная. И это будет конец цветения. Цветок ляжет набок и начнет погружаться на дно, чтобы там, у дна, вызревали плоды.

— Белый цветок первого дня закрывается, розовый цветок второго дня закрывается, а красный последнего дня цветения? Прежде чем погрузиться в воду, он закрывается тоже?

— Иногда закрывается, а иногда нет.

— Почему?

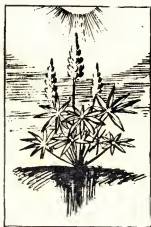
Вера Николаевна пожала плечиками.

— Так уж она себя ведет.

\* \* \*

### ИЗВЛЕЧЕНИЯ

К. Тимирязев. «Жизнь растений»



«Значит, лист, в котором мы признали уже единственную естественную лабораторию, где заготавливается вещество на оба царства природы, тот же лист и в том же самом процессе усвоения углерода запасает на них энергию солнечного луча, становится, таким образом, источником силы, проводником тепла и света для всего органического мира».

«Ни один растительный организм не испытывал на себе человеческой несправедливости в такой степени, как лист...»

Эта вековая несправедливость, эта черная неблагодарность освещена даже поэзией. Каждый из нас, конечно, еще с детства знает басню Крылова «Листы и корни», и, однако, эта басня основана на совершенно ошибочном понимании естественного значения листа. Крылов оклеветал в ней листья, и потому в качестве ботаника, значит, адвоката растения, я возьму на себя их защиту и попытаюсь предложить взамен крыловской другую басню, конечно, менее поэтичную, но зато более со-

гласную с природой и заключающую более строгую мораль. Смысл крыловской басни всякому известен. Корни — это те,

Чьи рабстают грубые руки,  
Предоставив почтительно нам  
Погружаться в искусства, в науки,  
Предаваться страстям и мечтам.

Листья — это мы, «погружающиеся в искусства, в науки», мы, пользующиеся воздухом и светом и на досуге «предающиеся страстям и мечтам». Признавая только за корнями трудовую, производительную деятельность, Крылов видит в листьях один блестящий, но бесполезный ряд и, выставляя им на вид всю пустоту их существования, требует от них, чтобы они хоть были благодарны своим корням.

Но справедливо ли такое мнение? Точно ли листья, настоящие зеленые листья, существуют для того только, чтобы шептаться с зефирами, чтобы давать приют пастушкам и пастушкам? Точно ли листья одной благодарностью в состоянии платить корням за их услуги? Мы знаем, что это — неверно. Мы знаем теперь, что лист не менее корня питает растение. В прошедшей беседе мы видели, что случилось с листьями и всем растением, которым корни отказали в том железе, которое они с таким трудом добывают из земли. В следующей мы увидим, что случилось бы и с корнем, если бы ему листья отказали в той воздушной, неосязаемой пище, которую они добывают при помощи света.

Итак, листья Крылова совсем не похожи на настоящие листья, если сравнение с его бесполезными листьями может быть только позорно и оскорбительно, то сравнение с настоящими листьями вполне лестно.

Но если изменяется содержание басни, изменяется и ее мораль. Какую же мораль выведем мы из нашей басни? Мораль эта может быть одна. Если мы желаем принять на свой счет сравнение с листом, то мы должны принять его со всеми его последствиями. Как листья, мы должны служить для наших корней источниками силы — силы знания, той силы, без которой порой беспомощно опускаются самые могучие руки. Как листья, мы должны служить для наших корней проводниками света — света науки, того света, без которого нередко погибают во мраке самые честные усилия.

Если же мы отклоним от себя это назначение, если свет наш будет тьма или если, подобно вымышленным листьям баснописца, мы не будем платить нашим корням за их услуги услугами же, если, получая, мы не будем ничего давать взамен, тогда мы будем не листья, тогда мы не вправе будем величать себя листьями, тогда в словаре природы найдутся для нас другие, менее лестные сравнения. Гриб, плесень, паразит — вот те сравнения, которые в таком случае ожидают нас в этом словаре. Такова мораль, которую мы можем извлечь из знакомства с листьями, не теми, которые создало воображение поэта, а настоящими, живыми листьями, — мораль, быть может, более суровая, но зато согласная с законами природы».

«Мы с удивлением открываем, что явления движения не только не отсутствуют, но даже очень распространены в растительном мире».

«Но если растение способно двигаться, то не может ли оно и чувствовать? Если под чувствительностью разуметь отзывчивость к раздражению, то есть раздражительность, возбудимость, то мы должны признать эту особенность и за растением».

«Заставляя растение вдыхать пары эфира или хлороформа, мы можем анестезировать его точно так же, как анестезируем человека во время тяжелой хирургической операции. Для этого стоит только горшок с мимозой покрыть стеклянным колпаком и под этот колпак положить губку, смоченную эфиром или хлороформом. Пробыв некоторое время под колпаком, мимоза утратит способность к движению: как бы мы ее ни раздражали, она не станет складывать своих листочков, но, простояв несколько времени на воздухе, не зараженном вредными парами, она вновь приобретает свою чувствительность. Чтобы опыт удался, нужно только не оставлять растения слишком долго под влиянием анестезирующего вещества, иначе оно более уже не поправится, а погибнет безвозвратно. Но то же оправдывается и над человеческим организмом...»

«Еще один последний вопрос: обладает ли растение сознанием? Но на этот вопрос мы ответим вопросом же: обладают ли им все животные? Если мы не откажем в

нем всем животным, то почему же откажем в нем растению? А если мы откажем в нем простейшему животному, то, скажите, где же, на какой ступени органической лестницы лежит этот порог сознания? Где та грань, за которой объект становится субъектом? Как выбраться из этой дилеммы? Не допустить ли, что сознание разлито в природе, что оно глухо тлеет в низших существах и только яркой искрой вспыхивает в разуме человека? Или, лучше, не остановиться ли там, где порывается руководящая нить положительного знания, на том рубеже, за которым расстилается вечно влекущий в свою заманивающую даль, вечно убегающий от пытливого взора беспредельный простор умозрения?»

В детской книге «Увлекательная астрономия», написанной В. Н. Комаровым, есть одно замечательное место. Речь идет о возможных встречах разных цивилизаций, отстоящих друг от дружки на миллиарды световых лет, и о том, смогут ли эти цивилизации, встретившись, понять друг друга. Автор рассуждает логично:

«Представьте себе, что разумные обитатели какой-либо планеты на своем корабле прилетают в нашу Солнечную систему и совершают посадку на поверхности естественного спутника Земли — Луны. Медленно шагают они в своих причудливых скафандрах среди лунных гор и долин, внимательно разглядывая незнакомую местность. Но что это там впереди? Какая-то странная конструкция, напоминающая раскрывавшийся лепесток. Внутри лепестка контейнер непонятного назначения. В его верхней части прозрачный глазок. К небу торчат какие-то гибкие пруты. Что это? Причудливая игра природы? Один из ее удивительных капризов!

Вы, конечно, догадываетесь, — продолжает В. Н. Комаров, — что речь идет о советской космической станции «Луна-9». Но и космонавты с другой планеты не верят в чудеса. А случайное объединение атомов и молекул в подобный аппарат было бы самым настоящим чудом. Вывод один: здесь побывал разум. Этот аппарат — посланец разумных существ. Он сделан их руками...

Точно так же, если бы мы с вами, — заканчивает автор «Увлекательной астрономии», — высадившись на поверхность незнакомого небесного тела, увидели там, скажем, автомобиль, мы, без всякого сомнения, могли бы сказать, что это — проявление разума».

Можно предположить и такую ситуацию. Пришельцы из других миров высадились на Землю. Космонавты видят, стоит конструкция — аппарат. Прямой стержень, достаточно прочный, чтобы поддерживать всю конструкцию, и достаточно гибкий, чтобы не ломаться при ветре и при других внешних случайных воздействиях. На стержне укреплены горизонтальные плоскости, обращенные к солнцу, к свету. Нетрудно догадаться о назначении плоскостей: они улавливают солнечную энергию. Разумные космонавты тотчас обнаруживают, что солнечная энергия, уловленная хитроумными приспособлениями (плоскости способны менять свое положение в пространстве, дабы всегда быть обращенными к свету), тотчас начинает путем фотосинтеза перерабатываться в сложнейшие органические вещества, которые распределяются по нужным местам. Внутри аппарата циркулирует жидкость. В определенный момент аппаратом производится небольшой, совсем уж чудесный аппаратик, которому задается точная программа на воспроизведение будущего нового аппарата.

Космонавты видят, что вся конструкция и все действия незнакомого аппарата основаны на точных законах математики, геометрии, механики, химии, физики, что аппарат умеет взаимодействовать с космосом (собственно, на этом взаимодействии и основана его деятельность), с Землей, с окружающей средой, с другими, похожими на него аппаратами, что он не только взаимодействует со средой, но и организует ее в своих интересах.

Какой же вывод сделают разумные обитатели космоса, увидев наше земное растение?

Нахожусь во власти странного ощущения. Идя по луговой тропинке, по меже, по лесной опушке, по всякой земной дороге, временами воображаю себя пришельцем из какой-нибудь далекой галактики и с первозданным удивлением разглядываю конструкции и модели, называемые здесь то деревом, то травой, то лютиком, то ромашкой, то подсолнухом, то березой. В каждой из этих моделей я готов увидеть великое чудо. Но в чудеса я не верю, и тогда мне остается только одно: согласиться с воображаемыми космонавтами из книги В. Н. Комарова и предположить, что здесь, в этих сложных и во многом еще не понятных мне, не изученных мною, таинственных для меня зеленых сооружениях, а вернее, в зеленых живых существах, действительно побывал разум, а если по науке — природа, эволюция, жизнь.

Возвращаясь к первым строкам этой книги, приходится признать еще раз, что отсутствие полезных, конкретных знаний не полностью восполняется наивным удивлением и романтическим восторгом. Но без способности удивляться и задумываться иногда невозможно и узнать.

Мы остановились на минуту перед великим чудом земного растения, мы любуемся им, мы вспоминаем слова одного философа, кажется, Джона Рескина: «Ньютон объяснил (по крайней мере так считают), почему яблоко упало на землю. Но он не задумался над другим, бесконечно более важным вопросом: а как оно туда поднялось?»

1972



*ГРИГОРОВЫ  
ОСТРОВА*



*Заметки о зимнем  
ужении рыбы*







К этому приобщаются все по-разному. Вот, например, как приобщилась Мария Федоровна, женщина лет пятидесяти, этакая хлопотливая московская домохозяйка, по виду которой нельзя было бы сказать, что она тоже приобщилась к этому.

Я встретил ее у моего приятеля. Она сдавала ему комнату. Ну, а я пришел к приятелю в гости. Пили чай, разговаривали. В разговоре я невольно упомянул что-то, относящееся к этому. Может быть, были произнесены и непосредственно сами магические слова, само название дела. Так или иначе, но Мария Федоровна вдруг вышла за перегородку и вернулась, держа в руках круглую банку из-под кетовой икры. В банке помещалась рыбка средней величины, вырезанная из пробкового материала, а в нее со всех сторон воткнуты всевозможнейшие, разнообразнейшие мормышки.

— Мария Федоровна, неужели, возможно ли?

— Нет, ты погляди, что за «клопик»!

«Клопик» действительно был превосходен. Он был изящен, поворотлив и для своего размера очень-очень тяжел. А ведь для мормышки и нужно, чтобы как можно меньше размером и как можно тяжелее.

— А что за «овсинка»? — продолжала между тем хозяйка необыкновенной коллекции. — Не успеешь опустить, как бросаются плотва и густера. Это ведь нарочно для плотвы «овсинка», — и она, любовно держа на ладони, рассматривала мормышку в виде овсяного зернышка.

— А эта какова?!

Крохотная капелька, красненькая с одной стороны, светленькая — с другой, так и играла на свету, так и переливалась. Так и представлялось, как она тонет, уходя в зеленоватую толщу воды и унося с собой ярко-рубинового

лакомого мотыля. А там, возле дна, ждет ее красноперый горбатый окунь.

— Мария Федоровна, но если вы не ругаете мужа за это увлечение, то вы удивительная женщина. Все жены ругают за это своих мужей. Да оно и понятно. Целую неделю муж и жена на работе. Мало видят друг друга. И наконец, приходит воскресенье. Тут-то и провести время вместе — сходить в кино, в театр, в музей, в гости к знакомым, дома посидеть, наконец, принять гостей. Но, оказывается, муж только и ждал воскресенья, чтобы надеть валенки с галошами, ватные штаны, шубу (а поверх шубы брезент), шапку, рукавицы, взять этот ненавистный, этот проклятый ящик, эту нелепую, уродливую железную палку, острую на конце, и уйти из дому в три часа ночи. А частенько и с вечера.

— А то как?! — возбудилась вдруг Мария Федоровна. — А я, думаете, не кляла? А я, думаете, дорогу не заступала? Да еще переживаешь целый день, как бы не утонул. По первому льду до греха недолго.

Тут Мария Федоровна на некоторое время замолчала, а потом уж и высказалась до конца.

— Я ведь три (с таким ударением на слове «три») ступени прошла.

— Какие же, Мария Федоровна, ступени?

— Сначала я вязала узлы. Как он начнет собираться в свою отлучку, я все простыни, все белье из комода — в узел. Если уйдешь, бесстыжие твои глаза, то я из дому долой. И не жди меня больше, и не жди, не вернусь.

Он, известное дело, усмехается, пешню в руки, ящик через плечо и пошел. Нечего делать, не целый же день на узле сидеть, развязываю. Снова все распределяю по комоду. И простыни, и белье...

— Значит, это и была ваша первая ступень?

— Она и есть. После нее я стала менять свою стратегию. Соберется он утром, станет завтракать, я ему к завтраку четвертинку. Ну, думаю, сейчас он выпьет, обмякнет, разогреется, и не захочется ему на целый день на мороз. А захочется обратно в постель. Он, проклятый, четвертинку выпьет, усмехнется и пошел. Нет, погоди, я тебе в другой раз — пол-литра. После пол-литра уж никуда нельзя, кроме как спать. Но он и тут приспособился. Половину сейчас, за завтраком, выпьет, а другую половину пробочкой заткнет и в карман.

— А какая же, Мария Федоровна, была ваша третья ступень? Снова меняли свою стратегию?

— Неуж. Если ты, говорю, не хочешь со своей женой дома сидеть, то я с тобой буду ездить на эту твою... рыбалку. А чтобы каждое воскресенье поврозь — того не допущу... Ну и что же, съездили мы три воскресенья, на четвертое он, смотрю, не собирается. В кино, говорит, сходим, Иван Ивановича в гости позовем, в шашки давно не играли. Ну и радио, думаю, не поедет. А червячок так и сосет, так и сосет. Спать легли — спать не могу. Степан, говорю ему, Степан, а может, съездим хоть на полденька, опустим мормышку. Погода тихая, теплая, обязательно будет клев. Ну хоть недалеко, хоть в Хлебниково или хоть в Водники.

— Спи, — говорит, — старуха, сказал — не хочу, да и мотыля нет.

— Что ты, Степан, мотыля я уж с четверга запасла. Крупный такой, что твои спички. Живой. Я уж его и крахмальцем пересыпала... Так-то вот и кончилась вся моя стратегия.

Мой друг и земляк, а в будущем учитель по этой части, Саша Косицын, как и каждый человек, родившийся на нашей маленькой Ворше, тоже сначала и представить не мог, чтобы зимой можно было ловить рыбу удочкой.

Когда приехал он учиться на высшие офицерские курсы, расположенные на берегу большого подмосковного озера, то, конечно, из окна каждый день видел заснеженную ровную скатерть озерного льда, окаймленную ровными зимними кустиками. Так было в будние дни.

— В воскресенье посмотрел я в окно, — рассказывает Саша, — и сильно удивился: зачем на озеро навозили навозу? Этакие ровные черные кучки. Точь-в-точь как у нас на полях. Посмотрел через час — прибавилось. Столько появилось черных кучек, что хватило бы на удобрение целому колхозу. Но зачем они оказались на льду? Взял лыжи, поехал на озеро, посмотреть. Подъезжаю ближе к первым черным кучкам и глазам не верю: вроде бы люди. Подъезжаю еще ближе, так и есть — старичок. Прорубочка возле него (тогда еще не знал, что это называется лункой). В прорубочку он опустил некую мудреную снасть, сидит. А возле него, на снегу, скрючившись от мороза, закоченевшие окуньки, окуньки, окуньки.

Но это, конечно, нельзя считать крещением Саши. Крещение он получил впоследствии, на Плещеевом озере, в

солнечный мартовский день (в конце марта), когда на льду собирается уж талая вода и можно снимать шубу и даже загорать.

В конце марта, придя в понедельник в какое-либо московское учреждение (например, в министерство), вы сразу можете определить, кто вчера был на льду. Лица у этих людей горят пунцовым, свежим загаром.

Однажды я был на приеме у довольно высокопоставленного лица. Дело у меня к нему было очень самолюбивое, и я никак не мог сразу выйти на прямую линию разговора. Пока начальник разговаривал по телефону, я немного успокоился и даже обратил внимание на то, что лицо у него так и горит, так и пылает.

— Ну, так в чем же ваше дело? — сухо спросил он, положив трубку и поднимая на меня свои, в общем-то не строгие, глаза.

— Дело я сейчас расскажу, но нельзя ли узнать, как вчера — удачно или нет?

Вопрос был рискованный, так сказать, игра ва-банк, потому что неизвестно все-таки доподлинно, что он делал вчера: может быть, играл в карты, может быть, ужинал с друзьями, может быть... мало ли что может быть.

— А у вас? — в свою очередь спросил меня начальник.

— Да про нас-то что говорить. Мы пустые не приезжаем. Килограммов восемь я привез.

— Не может быть! — даже подпрыгнул мой собеседник. — А где? Где?

— В Конакове, конечно, на Григоровых островах.

— Черт возьми, а мы поехали в «запретку», знаете, там, за Завидовом, на Шошу и Ламу, одним словом, н, поверите ли, ни черта! Уж я и так, я и этак. И в полводы, и на шевеление в грунте, и на потяжку... Ведь лесочка у меня (знакомый из Парнжа привез) ноль-ноль-восемь. Казалось, уж чего бы ей надо. Какая же у вас была мормышка? Вот я вам, сейчас свою покажу.

Он полез в бумажник, достал оттуда кусочек картонки с наколотыми в нее мормышкамн.

— Посмотрите, на Птичьем рынке покупал, по рублю за штуку. Чего бы ей еще?!

— Э-э, нет. Хотя это и с Птичьего рынка... Вот я вам сейчас покажу... Один мой приятель, старый рыбак, у себя дома отливает их... Вот она, голубушка, удивительно лов-

кая<sup>1</sup>, и ни одного схода... Если хотите, попробуйте в следующее воскресенье!

Пальцы у него, когда он принимал от меня мормышку, дрожали, как будто он брал... Впрочем, тут и сравнить не с чем — уникальная кустарная мормышка!

Надо ли говорить, что я просидел в кабинете начальника еще около часу и что дело мое в последние полминуты решилось в нужную сторону.

Но я отвлекся и не досказал, что мой учитель Саша свое крещение получил на Плещеевом озере, в солнечный талый мартовский день, надергав из лунки в течение дня триста восемьдесят ершей.

Хорошо, когда посвящение новичка в зимнюю рыбалку начинается с такого, пусть и ершиного, клева. Тут он гибнет сразу и прочно, на всю жизнь. Если даже потом и будет ловиться по десять штук в день, все равно рыбак будет надеяться и ждать своего часа, своего дня, когда жаркое солнце на льду, и талая вода под рыбацким ящиком, и триста восемьдесят поклевков в день.

Впрочем, было бы большой несправедливостью, если бы только одного Сашу Косицына я считал своим учителем в этом деле. Есть человек, который в течение нескольких лет исподволь взрыхлял и готовил почву. Мы с ним встречались редко, потому что часто ли можно встретить в Москве, на улице, случайно одного и того же человека. Помогала, правда, нашим встречам общность профессии: он ходил по редакциям и издательствам, я ходил по издательствам и редакциям. Нет-нет да и встретимся.

Литератор по профессии (поэт, но главным образом переводчик), Герман Моисеевич Абрамов представляет собой тот редкий, совершенный тип рыболова, когда рыбалка не воскресное развлечение, а почти вторая профессия, когда рыбацкая страсть поставлена на теоретическую основу и подкована на все копыта.

Именно Герман Абрамов отлил ту мормышку, которой я поразил впоследствии начальствующее лицо, будучи у него на приеме.

Герман немного глуховат, поэтому разговаривает громче обычного. Встретимся где-нибудь возле Новослободского метро.

---

<sup>1</sup> Распространенное среди рыбаков новое словообразование от «ловить».

— Ну, как дела? — спросил Герман на всю улицу. — На рыбалку не собираешься?

— Нет, я люблю летом, в июле, когда кувшинки на воде, а кругом мята.

— Мята — ерунда! — кричит Герман. — Сейчас я покажу тебе мормышку. Сам отливал. Кроме того, я придумал новую систему сторожка. Я теперь делаю сторожки из часовой пружинки. Хочешь, зайдем ко мне, покажу, я тут недалеко живу.

Среди улицы я разглядывал некий свинцовый шарик с крючком, впаянным в него, и делал вид, что мне интересно, что и я не лыком шит и что-нибудь понимаю в этом свинцовом шарике.

— У нее очень своеобразная игра, — разъяснял между тем Герман. — Окунь ее очень любит.

Казалось странным, почему окунь должен любить свинцовую штучку.

— Ну, если не хочешь зайти, бывай. А то зайдем. Если хочешь, я снаряжу тебе удочку, с моей системой сторожка. Это будет не рыбалка, а ювелирная работа.

Так уж всегда бывает в жизни. Сколько раз звал меня Герман к себе — все некогда да некогда. Когда же понадобилось, когда появилась нужда, сам, через издательство, узнал адрес Германа, сам пришел к нему без приглашения, да еще и с просьбой.

Вся семья Германа — жена и двое взрослых сыновей — ютилась в небольшой комнате в старом доме внутри мрачноватого красно-кирпичного двора. Тесно и душно было в комнате, но Герман встретил меня радушно, по своему обыкновению громко заговорил:

— Ну вот, я знал, что когда-нибудь придешь. Наверно, решил приобщиться к зимней рыбалке?

Герман угадал. В ближайшее воскресенье Саша Косицын уговорил меня выехать с ним на лед (на его стареньком, истрепанном по разным водоемам «Москвиче»), и теперь нужно было обзавестись всем необходимым. Не помешала бы и лишняя консультация.

Герман выдвинул несколько ящиков в сооружении, похожем на комод, и перед глазами открылась картина, которая, как я теперь понимаю, вверхла бы в трепет любого рыбака. Тут были деревянные формы для отливки летних крупных грузил. Отлитые грузила — то сигарообразные, то в форме вытянутого ромба — лежали тут же. Бесформенные кусочки свинца ждали своей очереди. В других до-

щечках были выдолблены аккуратные формочки для отливки мормышек. Яркие медные пластиночки, серебряный полтинник, изрубленный на куски, напильнички для зачищения мормышек после отливки, наждачная бумага для осветления их, суконочки для окончательной шлифовки, крохотные брусочки для заточки крючков, иголки для прочистки отверстий в мормышках, ну и сами мормышки, наконец: мормышки «клопики», мормышки «гробики», мормышки «капельки», мормышки «рыбий глаз», мормышки «красненькие», мормышки «комбинированные», мормышки «шестигранные», мормышки «дробинки», мормышки разнообразные и многочисленные — представляли собой целую коллекцию, которую, верно, пришлось бы собирать годами. Да ведь и у Германа коллекция накопилась не за год, не за два, а может быть, за тридцать лет его рыболовной деятельности.

Особый отдел в его хозяйстве составляли блесны. Боже мой, каких только форм, каких только оттенков тут не было!

— Блесиу чисти так,—учил Герман.— Свинцовую, исподнюю, сторону — острием иголки, видишь, она сразу начинает играть; наружную, медную, сторону — шкурочкой. В банке, которую берешь с собой на лед, обязательно должны быть шкурка и иголка. Иголка понадобится также, чтобы развязывать узел на леске.

Тут ведь в чем вся тонкость и все существо? Мормышка должна быть как можно меньше. Но если маленькую мормышку привязать к толстой леске, то она будет плохо тонуть, не даст игры, не передаст игру на сторожок. Значит, леска должна быть как можно тоньше. Но тогда ее оборвет крупный окунь. Значит, леска должна быть и тонкой и прочной. Если кто-нибудь из твоих друзей поедет за границу, ничего не проси привезти, проси леску ноль-десять, то есть в одну десятую миллиметра толщиной. Я, например, леску кипячу в крепком чае. Она делается золотистой и более прочной. Кипятить нужно двадцать минут. Однако давай снаряжать тебя по порядку.

(Здесь я хотел бы и читателя посвятить в тонкости и детали снаряжения).

— Валеики с галошами у тебя есть?

— Валенки есть, а галоши разве обязательно?

Герман даже руками всплеснул от моего невежества.

— Да ведь стоит тебе пробить лунку во льду, как из лунки пойдет вода и вокруг образуется лужа. Так можно



ли без галош?! Придется тебе сегодня же покупать галоши. Дальше: ватные штаны?

— Есть,— ответил я, как на солдатской перекличке.

— Рубаха длинной до колен?

— Почему именно до колен?

— Потому, что короткая при движении будет выбиваться из-под ремня, и спина, там где ремень, станет зябнуть. Свитер, шапка-ушапка, чтобы уши можно опустить? Все есть. Хорошо. Перчатки с отрезанными пальцами?

— То есть как же?

— У перчаток должны быть наполовину отрезаны напалки для большого, указательного и среднего пальца. Тогда ты сможешь надевать мотыля на крючок и вообще манипулировать пальцами, не снимая перчаток. Главные, действующие, пальцы — на свободе. Кроме перчаток, нужны меховые рукавицы, очень-очень просторные, чтобы попадать в них руками на лету и сбрасывать их без затруднений. Эти рукавицы должны быть на шиуре, который вешается на шею и продевается в рукава шубы. Знаешь, как у детей варежки, чтобы дети их не потеряли. Насадив мотыля и опустив мормышку в воду, ты сразу можешь прятать руки (прямо в перчатках) в рукавицы, а в случае поклевок тебе ничего не стоит, так сказать, выпрыгнуть из рукавиц<sup>1</sup>.

Итак, с одеждой покончено. Не забудь только прихватить большую тряпку. Ее во время ловли будешь затыкать за голенище. Она необходима, чтобы после каждой пойманной рыбы вытирать руки. Особенно после ерша на пальцах остается обильная слизь. Ну, а ящик?

— Какой ящик? Может быть, я все удочки положу в портфель?

Герман смеялся долго и заразительно. После этой моей промашки в его голосе невольно появилось не то дружеское покровительство, не то доброжелательная снисходительность. Так иногда разговаривают взрослые с детьми.

— Портфель никак не годится. Бывают специальные рыбацкие ящики. Они делаются с двумя отделениями: в

---

<sup>1</sup> Герман описывал мне идеальное снаряжение и оснащение рыбака-зимника. Сам он был экипирован кое-как и всегда на рыбалке зяб. Правда, удочки у него были в полном блеске. Он был как чеченец в описании Лермонтова: бешмет весь драный, а оружие в серебре.

одно кладется пойманная рыба, в другое — запасные удочки, мормышки, мотыль, глубомер и прочее снаряжение. Обычно в ящике проделывается окошечко, чтобы немедленно прятать пойманную рыбу. Ящик приспособлен для того, чтобы на нем сидеть, не возить же на рыбалку еще и стул. Сидишь, а окошечко — под тобой, между валяными сапогами, очень удобно прятать.

— Да зачем прятать?

— Сразу всего тебе не расскажешь. Сам потом поймешь, зачем нужно прятать. Итак, продолжаем. Носят ящик на ремне через плечо. Иногда приделывают к нему полозья и возят его по льду, как салазки. Чтобы ящик был всегда чистый, а не вонял рыбой, ты должен сшить мешок из клеенки. В этом мешке и будешь держать пойманную рыбу, а уж мешок — в ящик. Так, значит, ящика у тебя нет? Подожди, мой сосед, тоже рыбак, собирался продавать ящик собственного изготовления. Ты же понимаешь, что значит ящик, сделанный для себя?

Через несколько минут Герман внес в комнату аккуратный сундучок, более высокий, нежели широкий и длинный. Сундучок был окрашен в голубой (сероватый, впрочем) цвет, а сверху обит клеенкой. Под клеенкой было мягко — вата или хлопок — для того, чтобы удобнее сидеть. Дно сундучка по углам оковано медными пластинками, вертикальные грани оторочены кожей. Широкий брезентовый ремень мягко ложится на плечо, не режет, не давит. Два отделения, как и говорил Герман.

— Ну вот, если хочешь, бери! Старик просит пятьдесят рублей<sup>1</sup>. Магазиновый стоит столько же, но разве можно сравнить?

(Между прочим, этот ящик служит мне исправно и теперь, и расставаться с ним я пока что не собираюсь.)

— Значит, ящик теперь у тебя есть, поздравляю! Не каждый рыбак начинает с таким ящиком! Насколько я понимаю, в бумаге завернута пешня?

— Да, по дороге к тебе я завернул на Неглинную.

— Покажи.

Мы развязали шпагат, развернули грубую, местами промаслившуюся бумагу и обнаружили там три составные части пешни: две целиком железные, одну наполовину из дерева. Герман с ловкостью фокусника соединил все три части, свинтил их, и у него в руках появилось довольно

---

<sup>1</sup> Дело было давно, при старом масштабе цен.

изящное орудие для прорубания льда. Верхняя часть орудия — деревянная круглая рукоятка, вроде как у лопаты, средняя часть — круглый металлический стержень, на конце — полукруглая лопаточка-острие. Герман прикинул пешню так и сяк (показалось мне, что он сейчас начнет долбить лунку в деревянном полу): и замахивался ею, как бы ударить, и вскидывал, прищурив глаз, и пальцем пробовал острие, и подбрасывал в руке, чтобы прислушаться к тяжести инструмента. В конце концов он сказал:

— Это не пешня, а ерунда. Этой бы пешней по голове того, кто ее делал. Но не горюй, сейчас мы все исправим.

С этими словами Герман взял молоток, поставил пешню на пол и начал ударять по ней молотком в том месте, где кончается широкая лопаточка и начинается круглый стержень.

— Вот так ее, вот так, она у нас будет забористая, она у нас будет въедливая. Ты понимаешь, что они делают? Они не делают угла. Поэтому, когда пробиваешь лунку в толстом льду, пешня стремится на конус, лунка все сужается, острие все время соскальзывает с ледяной стенки к середине. Теперь, после нашей, казалось бы, незначительной операции, она будет забирать вширь, назад, срезать ледяную стенку, потому что мы ей сообщили угол. Теперь нужна для пешни бечевка. У меня есть кусок электрического шнура, сейчас мы его используем.

Герман положил пешню на пол, заставил меня встать рядом с ней прямо, чуть ли не по стойке «смирно», и привязал шнур так, чтобы я мог держаться за него, ничуть не нагибаясь, ничуть не приседая, тогда как пешня лежала бы на полу.

— За этот шнур будешь волочить пешню по льду, меняя место лова. Иногда приходится идти километры. Она очень легко скользит по льду и снегу. А так ведь таскать ее тяжело и неудобно. Теперь. Прежде чем начать пробивать лунку, ты должен три раза обвернуть шнур вокруг кисти своей правой руки. Обязательно. И обязательно не меньше трех раз. Дело в том, что, когда ты ударяешь пешней в лед, она испытывает большое сопротивление, и твои руки постепенно привыкают к нему. Но однажды пешня не встретит сопротивления, то есть лед кончится, проломится последняя его тонкая пленочка. В этот момент в девяносто девяти случаях из ста пешня выскальзывает из рук и летит на дно.

— Неужели так много случаев?

— На моих глазах, правда за всю практику, ушло под лед не меньше двадцати пешней. Некоторые удавалось забagrить за шнурок и вытащить. Две я утопил собственноручно. Так что я знаю, о чем говорю: три раза вокруг правой руки, каждый раз, перед тем как начать пробивать лунку. Но пошли вперед. Шумовка — один из самых неприятных инструментов. Она у тебя, конечно, уже есть.

— Нет... Шумовка? Впрочем, кажется, у нас на кухне... Если это та самая шумовка, которой женщины снимают накипь с супа, то я попрошу у жены...

— Так. Понятно. — Впервые в голосе Германа послышалось что-то вроде жалости. — И все-таки пошли вперед. Так и быть, дарю тебе шумовку собственного изготовления.

Пошарив под тем самым комодообразным сооружением, где хранились мормышки, Герман достал шумовку. На гладко обструганную палку длиной в полметра насажена очень отлогая, почти совсем плоская, медная ложка, поменьше чайного блюдца. В ложке — отверстия, каждое величиной с копейку.

— Это моя любимая шумовка.

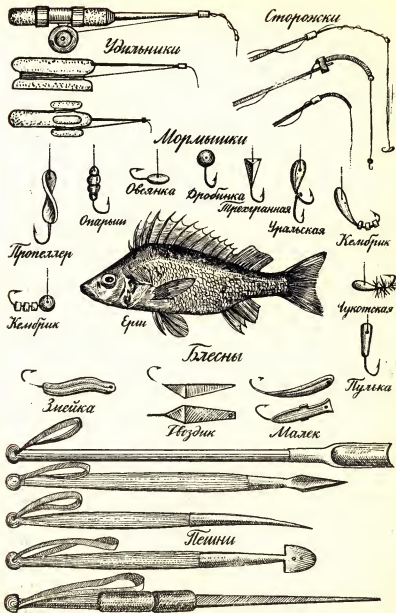
— Нет, зачем же ты ее мне, если она любимая?

— Бери, бери, я от души. Надеюсь, ты уже догадался, что этой штукой вычищают ледяную крошку из только что проделанной лунки. Ну и если лунку обильно засыпает снегом. А бывает, что ее то и дело затягивает свежим ледком. Сначала опустишь шумовку до конца лунки и всю лунку хорошо прошуроешь, тогда весь лед всплывет. Тут его будешь собирать и отбрасывать от лунки подальше, чтобы не мешался.

— Какая в нем помеха?

— О, милый, все узнаешь. За ледяные кусочки, неряшливо разбросанные около лунки, постоянно будет цепляться леска. А так как леска очень тонкая, а ледяные кусочки очень острогранные... В общем, отбрасывай подальше.

Когда лунка совсем очистится, когда ты вычерпнешь из темной хрустальной воды последний кристалл зеленоватого льда, сердце твое возрадуется, ибо настал вожделенный миг и ничто уж не может тебе помешать опустить мормышку — секунда, о которой ты мечтал почти целый год. А если это не перволедок, то пусть хоть и одну неде-



лю ты мечтал об этой секунде... Иной раз неделя стоит года.

Многие любят ловить из чистой лунки, оно и правда приятно. Во-первых, приятно для глаз аккуратная, чистая лунка, во-вторых, видать, как тонет мормышка, в-третьих, видать, когда рыбу подтаскиваешь к луке. Но я делаю иначе и тебе советую: иаплюй на приятность. Как только очистишь луку ото льда, сразу запороши ее легким снежком, затемни, занавесь занавесочкой. Может быть, рыба, кто ее знает, боится яркого света. Запорошив, в середине лунки в снегу проткни дырочку рукояткой шумовки, в эту дырочку и опускай мормышку.

— А как же, если рыба?

— Рыба проскочит сквозь снежок, не беспокойся. Я даже, вот видишь, вожу специальную палочку для проделывания этих дырочек, а то неприятно, когда у шумовки мокрая рукоятка.— И Герман показал мне изящную, слегка коническую палочку, окрашенную в яркий красный цвет.

— Почему красная?

— Чтобы не забыть на снегу, не потерять. Ну что же, вот мы и перед чистой лункой. Можно, как я уже сказал, и опускать мормышку. Почти все так и делают. Но я тебя ведь учу настоящей рыбалке, рыбалке, так сказать, высшего, профессорского класса. Итак, заведи себе глубомер. Важно сразу найти дно, чтобы положить на него мормышку, и от него уж танцевать, как от печки. Искать дно легонькой мормышкой очень неудобно, будешь неуверен: то ли она лежит на дне, то ли легла на какую травинку, то ли ее относит течением. Поэтому в самом начале лова к мормышке хитроумным способом пристегивают вот эту гирику. Она сразу покажет, где дно, а где трава. Итак, купи себе глубомер, он стоит несколько копеек. А теперь самое главное — удочки...

Одну удочку Герман подарил мне из своих, причем опять из самых любимых и ловких. Она была оснащена сторожком системы «Германа Абрамова», то есть из часовой пружинки. Другую он соорудил на моих глазах от начала до конца.

Как бы попроще рассказать, что такое зимняя удочка? Впрочем, вот вам устройство зимней удочки. (Особых случаев, вроде уникальной и сложной системы сторожка, мы не берем, а берем то, что у каждого рыбака на водоеме, тем более что система сторожка из часовой пружинки

себя в конце концов не оправдала. Герман сам первый от нее отказался, успев, правда, снабдить пружинными удочками всех своих друзей-рыболовов.)

Итак, берется ровный прямоугольный кусок пенопласта, материала настолько легкого, что кажется как бы невесомым. Кто не видел его, могу сказать, что он похож на губку, но только твердый — режется ножом или пилой, как дерево. Для удочки нужен такой брусочек, чтобы его удобно было держать в руке, то есть длиной примерно в ладонь, ну и каждая сторонка что-нибудь сантиметра в четыре.

На этом бруске, вдоль его, прорезывается ножом не очень глубокая ровная канавка, именно в эту канавку будет наматываться леска длиной пять, десять, двадцать метров, у кого сколько есть и кто на какой глубине рассчитывает ловить. Но, как бы там ни было, меньше десяти метров наматывать не следует.

В торец бруска вклеивается гибкий прутник длиной с карандаш или с два карандаша, но не более. Прутник можно поставить и деревянный, но он быстро сломается, поэтому сейчас все рыбаки ставят пластмассовые, а еще точнее — хлорвиниловые прутники, а где их берут — неизвестно. Хлорвиниловый прутник очень прочен и очень гибок, так что его можно считать вполне идеальным материалом для зимней удочки.

Когда хлорвиниловый поводок прочно и глубоко вклеен в пенопластовую рукоятку<sup>1</sup>, а на нее намотаны уже десять метров тонкой и крепкой лески, удочка в основном готова.

При помощи резинного колечка на кончике хлорвинилового поводка укрепляется грубая щетинка с петелькой на конце. Длина щетинки в среднем с обыкновенную спичку. В петельку-то как раз и продевается конец лески, намотанный на брусочек-рукоятку. Значит, прежде чем попасть в воду и уйти на дно, леска обязательно должна быть пропущена через петельку сторожка (щетинка с петелькой на конце называется сторожком). Обыкновенно укрепляют

---

<sup>1</sup> Впрочем, не всегда его включают намертво. Иногда вставляют его в гнездо, а когда кончается лов, вынимают. Таким образом, удочка получается разборная. Иногда даже, когда рукоятка достаточно длинна, просверливают в ней глубокое отверстие и прячут хлорвиниловый поводок в рукоятку, засовывая его туда тонким концом. Но все это, на мой взгляд, лишние хлопоты. Должна быть цельная, прочная удочка, правда, такой длины, чтобы укладывалась в наш ящик.

еще на конце сторожка, там, где петелька, что-нибудь яркое — красненькое, синенькое, желтенькое, чаще всего кушочек цветной изоляции электропровода.

Остается теперь на конец лески привесить все-таки и, как бы там ни было, главное в удочке — мормышку.

Случилось, что одну из моих книг перевели на немецкий язык. Перед тем как книге выйти в свет, издатель прислал мне письмо с вопросами. В частности, ему неясно было, что такое мормышка. Так что, может быть, стоит рассказать в двух словах о ней, хотя в начале этих записок о мормышке уже шла речь.

В воде живет небольшое округлое насекомое — мормыш. Это лакомая пища всех рыб, а особенно окуней. Так как добывать мормыша трудно, то рыбаки придумали делать подобие этого насекомого из свинца и в него же впаявать маленький, но прочный крючок. Тут и крючок, тут и приманка, тут и грузило — все собрано в одном месте, на конце тонюсенькой лесочки.

Дальнейшая эволюция пошла по двум направлениям. Во-первых, рыбаки давно отступили от формы мормыша, естественного насекомого, живущего в водоеме. От него осталось только одно общее название — мормышка. Сами же мормышки пошли все новых форм, новых размеров, новых названий. «Клопик средний», «клопик мелкий», «клопик тяжелый» (для большой глубины), «клопик красненький», «клопик светленький» — это мормышки плоские, действительно похожие на клопа. Мормышка кругленькая так и называется — «дробинка». Некоторые окрашивают ее в черный цвет, некоторые — в красный, некоторые оставляют свинцового цвета. Мормышка «капелька», пожалуй, самая распространенная форма мормышки. Она имеет точную форму капли. Крючок впаявается с остренького конца. Остренький кончик около крючка обыкновенно окрашивают в красный цвет. Иногда делают ее наполовину свинцовой, а наполовину одевают либо в медную, либо в серебряную оболочку, тогда она играет на разные цвета и тем самым будто бы привлекает рыб.

Ну а дальше уж от лукавого: «гробики», «рыбий глаз», «пшеничное зернышко», «овсинка», «шестигранные», «восьмиугольные»... Я даже встречал кривые, изогнутые наподобие дуги. Короче говоря, тут уж кто во что горазд.

Во-вторых, отступление от живого мормыша кончилось тем, что на крючок, впаянный в мормышку, стали насажи-



вать дополнительную наживку, а именно: чаще всего и повсеместно — мотыля, очень красивого (чистого рубинового цвета) червячка, размером (если он крупный) как раз в полспички.

— Кстати, а мотыльница у тебя есть? — спросил Герман, когда с устройством удочки было покончено.

— Да ладно уж, я в бумажку или спичечный коробок.

— Так. Понятно, — в который раз за этот день произнес Герман и полез под комод за мотыльницей. — Мотыля береги пуще своего глаза. Если нет нигде в магазинах (а так бывает перед воскресеньем!) — научу, где взять. Садись на первый трамвай и поезжай на Тимирязевские пруды. Там на льду постоянно сидят старики-мотыльщики. Ведром они зачерпывают донный ил и промывают его в решете. Ил уходит с водой, а в решете остается чистый, свежий, живой, только что из воды (э, да ты еще ничего не понимаешь!) мотыль! Он ведь стоит дорого, дороже любой свинины.

Если едешь на рыбалку на один день, нужно купить мотыля на рубль, не больше. Если же купишь на два рубля, то хватит и соседу, и на подкормку, и еще останется, (Может быть, именно здесь стоит заметить, что, когда мы потом стали приобщать к рыбалке Ивана Стадиюка и возложили на него покупку мотыля, он для первого раза и в таком первоначальном рвении произвел мотыля ровно на сорок пять рублей.)

— Значит, купил ты мотыля, — учил Герман. — Заверни его в чистую белую тряпочку и положи в холодильник. Еще лучше, если смешаешь его со спитым чаем, с этими размокшими чайниками, тогда он делается живее, дольше не гибнет. Вообще же лучший способ хранения мотыля такой: кладут его в женский чулок и опускают в уборную, в верхний бачок, где собирается вода. Так как воду часто спускают, то она всегда проточная, свежая, холодная. Там мотыля можно держать неделями. Но это в редких случаях. Обычно покупаешь в пятницу для воскресенья. Достаточно в чай и в холодильник.

Ну, конечно, тебе во время первой поездки расскажут два анекдота, связанные с мотылем. Первый состоит в том, что рыбаки с вечера выпили, закусили (а было уж темно-вато), легли спать. Утром встали, чтобы идти на лед, смотрят: красная икра цела, мотыля нет. Второй анекдот состоит в том, что сидит рыбак, и все думают, что у него

флюс, а это он, оказывается, мотыля отогревает. Так вот, чтобы не было такого случая, мотыльницу, выйдя на лед, держи всегда за пазухой. Насадил одного и снова за пазуху. Канителью, зато мотыль всегда будет цел. Впрочем, так привыкаешь к этому движению (после каждого мотыля — за пазуху), что будешь делать механически. Ну, мотыля сейчас у меня нет, поэтому, как он насаживается, показать не могу, твой друг покажет тебе на льду. А вот как мормыжить... Эх, жаль, что нет у нас ванны. Все рыбаки тренируются, опуская мормышку в ванну. Ну, хорошо, сейчас я принесу ведро с водой.

Свободного ведра тоже не оказалось в хозяйстве Германа. Поэтому пришлось налить воды в обыкновенное цинковое корыто. Мы поставили корыто посреди комнаты, воду же носили трехлитровыми банками.

— Важна естественность, натуральная обстановка, — говорил Герман, таская воду.

Наверно, со стороны было смешно глядеть, как двое взрослых и в общем-то серьезных людей водружают посреди комнаты корыто с водой, чтобы забрасывать в него удочку. Нам было не до смеха, мы были исполнены сосредоточенности и деловитости.

— Ну и вот. Начинаешь виток за витком сматывать леску с удочки. С каждым витком мормышка будет уходить в глубину. Теперь наблюдай за сторожкой. Пока мормышка тонет, щетинка слегка наклонена вниз, мормышка ее оттягивает, наклоняет. А вот щетинка выпрямилась, находится в горизонтальном покое, это значит, что мормышка легла на дно. Приподымаешь на сантиметр, опять наклонится сторожка. Опустим — выпрямится. Это будет твое главное движение в течение всех десяти часов, пока ты будешь сидеть на льду. Самое важное — положить мормышку на дно (действительно, наша мормышка лежала на дне цинкового корыта). Теперь не спускай глаз со сторожки, начинай пошевеливать мормышку, поднимать ее ото дна, сообщай ей дрожание, игру, вертлявое движение (целое искусство хорошо мормыжить). Таким образом мы дразним окуня, обманываем его, и в конце концов он бросается на приманку. Сторожка резко, молниеносно нагибается вниз. — Герман дернул левой рукой за леску, и щетинка, естественно, наклонилась вниз до вертикального положения. — Следует короткая подсечка, то есть короткий рывок вверх, и рука услышит, что там, в глубине, на дальнем и тайном конце удочки, висит тяжеленькая живая рыба.

Этого ощущения мы не могли испытать, сидя над цинковым корытом, но вообразить было можно.

Теперь осторожно, аккуратно, без рывков, ровными потяжками нужно поднять рыбу к лунке, провести ее сквозь лунку, и она окажется на белом морозном снегу темно-зеленая, с ярко-красными плавниками и яркими полосками поперек.

В одном и том же мире существует множество своеобразных микромиров. Нет, я сейчас говорю не о том, что каждая семья как бы своеобразный мир и (что семья) каждый человек — это целая Вселенная со своими законами, интересами, открытиями, монументами славы и могильниками.

Нет, я говорю сейчас не об этой относительности. Но вот, например, существует так называемый Птичий рынок. Многие ли москвичи знают, где он находится. Многим ли известно, что он действует один раз в неделю, в воскресенье, и, наконец, многие ли бывают на нем или побывали хотя бы однажды в жизни. А ведь между тем есть люди, множество людей, которые ездят на Птичий рынок каждое воскресенье. Из этих-то людей и составляется там толпа, сквозь которую почти невозможно пробиться. Это самый многолюдный, самый тесный, самый оживленный рынок в Москве.

Птичьим он называется условно. Правда, что там продают в клетках щеглов и канареек и даже подчас соловьев. Правда, что там есть ряды только с птичьим кормом: конопляное семя, овес, просо, обыкновенные семечки, сушеная рябина и прочее. Правда, что там в воскресенье толпятся все голубятники Москвы со своими всевозможными голубями. Но ведь есть и другое.

Породистого щенка, милого ежа, белку, кролика, кошку наконец — все можно купить на Птичьем рынке. И все же не это главное, особенное лицо.

Главное на Птичьем рынке составляют ряды аквариумистов. Вот здесь и начинается особенное, здесь-то и начинается тот своеобразный мир, о котором мне захотелось упомянуть лишь затем, чтобы потом рассказать о другом микромире, еще более своеобразном. Например, мы живем и не знаем, что у русских аквариумистов произошло событие огромной важности. Сергей Образцов (один из самых заядлых аквариумистов Москвы, завсегдатай Птичьего рынка) привез из Лондона парочку рыбок, дотоле неизвестных и невиданных. Кто-то, наверно, выпросил у него

парочку мальков. И вот уже через год редчайшие экзотические экземпляры проникли на Птичий рынок по баснословной на первых порах цене. А через два года почти все порядочные аквариумисты имели в своих аквариумах этих рыбок.

Или разве мы знаем, кто в последний раз удостоен международного звания короля гуппи за выведение самого красивого самца гуппи, этой крохотной и действительно красивой рыбки, происходящей откуда-то с индонезийских островов.

А то вдруг прошел слух: все аквариумисты Германии перешли на фильтрацию воды в аквариумах.

— Вы представляете себе, да, да, все немцы фильтруют свои аквариумы,—слышится в одном конце Птичьего рынка.

В другом конце почти то же самое:

— Да что ты понимаешь, темнота. Вон на немцев погляди, давно уж фильтруют. Значит, что-нибудь да соображают. Каждое дело идет вперед, двадцатый век, техника. Так что не задумывайся, бери эту помпочку, и прошу недорого, и работает бесшумно. А если насчет току, то счетчик при ее работе даже и не крутится, лишнего расхода не будет.

Каких только рыбок нет на свете, а вместе с тем и на Птичьем рынке. То из черного бархата, то с ярчайшими красивыми волосами, то с ажурными продольными полосками, то ярко-зеленые, то ярко-синие, то ярко-сиреневые, то как бы из жемчуга, то горящие крохотными бриллиантиками, то с рубиновой полоской вдоль изящного тельца, то все пестрые, то как бы из одного большого рубина. Все это сочетается с яркой и разнообразной зеленью водорослей, которые если начнешь перечислять по названиям, верно, испишешь несколько страниц. Тут же и готовые аквариумы, и речной песок для аквариумов, и обогреватели, и подсветка, и разные стеклянные и резиновые трубочки для очистки аквариумов, и чего-чего только нет. Но самое яркое, конечно,—те сотни или даже тысячи людей, которые за день перебиваются, перетолкуются возле аквариумных рядов и для которых в этот воскресный день нет другого интереса, как эти рыбки, эти водоросли, эти стеклянные и резиновые трубочки. Может быть, он и не купит ничего, может быть, ему и не нужно ничего покупать (давно уж все есть), но и поглядеть на все — для него самая первая, самая большая радость.

Это отступление насчет аквариумов и особого мира аквариумистов, в общем-то, мало оправдано. Разве что с точки зрения противоположности. Недаром Герман Абрамов, когда пришел ко мне домой еще раз взглянуть на все мое снаряжение, увидев первым делом аквариум, грустно покачал головой и сказал:

— Да, либо аквариум забросишь, либо зимнего рыбака из тебя не выйдет. Нельзя одной рукой разводить рыбок и ухаживать за ними, а другой — вытаскивать их из лунки десятками и сотнями штук.

— Помилуй, Герман, я ведь не собираюсь опускать морышку в аквариум.

— Так-то так, но очень уж разные психологии...

Но я хотел сказать о другом. Точно так же, как в воскресенье, вместо того чтобы заниматься обыкновенными воскресными делами, люди едут потолкаться на Птичий рынок... Впрочем, что я?! Как я могу сказать, что это точно так же.

Я не знаю, можно ли в этом удостовериться, но я убежден, что каждую неделю, примерно так со среды, московская телефонная сеть в зимние месяцы получает дополнительную нагрузку за счет рыбаков-подледников. Один рыбак, пристрастившись, помнится, умолял всех нас, его друзей, чтобы мы звонили ему насчет рыбалки не раньше пятницы, а то он уж со среды (с нашего звонка то есть) отбивается от дела, готовит снасти, пробует их в ванной, заготавливает провиант и думает только о предстоящем выезде.

Так же как для страстно влюбленного человека приятно, когда говорят при нем о женщине, которую он любит, и так же, как ему самому приятно говорить о ней, так и рыбак-подледник от разговора о рыбалке получает большое наслаждение. Кроме того, надо ведь сколотить компанию, кроме того, надо ведь сколотить такую компанию, чтобы кто-нибудь был «лошадиик», то есть с машиной, на которой можно было бы выехать на водоем.

Это, конечно, своего рода аристократизм. Большая часть москвичей-фанатиков выезжает на водоем по железной дороге.

В ночь с субботы на воскресенье на вокзалах Москвы, в особенности на Савеловском и Ярославском, появляются люди, одетые хоть и разнообразно, но все же как бы чуть ли не в форме. Почти как десантники. Или как водолазы.

Москвичи в это время все больше в туфлях да модных пальто. Зябко. Надо бежать бегом, подняв воротник, а чуть приостановившись на остановке, стучи носками туфель нога об ногу, прыгай на одной ноге, колоти ладонью о ладонь в тонких перчатках. Потуже запахивай полы пальто и отвороты на груди. Ан, сзади, из-под низу забирается мороз. Неудобно городскому человеку в морозные ветреные ночи, если окажется так, что нет поблизости никакого транспорта.

И вдруг шествуют среди спешащей и зябнувшей толпы неторопливые люди в валенках с галошами, тяжелых шубах (и брезентовых плащах поверх шуб). В таком наряде они немного неповоротливы. Точь-в-точь как водолаз на суше, зато хорошо будет сидеть десять часов на одном месте под метелью или снегопадом.

У каждого, как нам теперь доподлинно известно, ящик через плечо, на котором можно посидеть возле кассы или на перроне в ожидании поезда. В руках — палка, вроде как оружие.

Добропорядочные москвичи разъезжаются из театров, гасят телевизоры, выключают радио, ложатся спать. Затихает, затухает заснеженный зимний город. Чем больше, чем глубже он засыпает, тем больше накапливается на вокзалах людей в шубах и валенках, с деревянными ящиками через плечо. Спите, москвичи. Завтра, когда вы будете открывать глаза и сладко потягиваться в своих теплых постелях, эти чудачки с ящиками будут уже сидеть на льду, на водоеме, встретив зимний рассвет. (Многие, многие тысячи чудачков на всевозможных подмосковных водоемах в радиусе не менее двухсот километров.)

Вам непонятна эта причуда (десять часов на льду), а им непонятно, как можно лежать и нежиться в постели, когда на земле рассветает и начинается уже мало-помалу активный окуневый клевнишко. За десять часов происходит такая вентиляция всего организма, из таких глубоких его уголков выветривается все застоявшееся и затхлое, что потом целую неделю вы ходите, как новорожденный, и работаете вдесятеро.

Рыбак-подледник бывает разный: рыбак-пенсиянер, рыбак — рабочий и служащий, рыбак-военный, рыбак-министр, так сказать, государственный деятель, рыбак-интеллигент (ну, конечно, и местный рыбак — совершенно особая категория).

На поездах (на озеро Сенеж, в Хлебниково, в Водники,

на Яхрому, под Иваньково) выезжают все больше пенсионеры, «безлошадники», люди, не связанные ни с каким учреждением.

Рыбак — рабочий, служащий и военный хорошо и четко организованы. Завод ли, министерство ли, воинская часть ли (а также и военные академики) выделяют к субботе специальные служебные автобусы, на которых едут любители уж не в Водники и Хлебниково, а к отдаленным водоемам: на Плещеево озеро, на Истру, на озеро Неро, на реку Сару.

Рыбак — государственный деятель выезжает в ЗИЛах.

Рыбак-интеллигент чаще всего группируется по пять-шесть человек вокруг одной частной «Победы» или «Волги».

Местные рыбаки ходят пешком, а по первому льду гоняют на велосипедах.

Кроме вокзалов, большое скопление рыбака-фанатика в ночь с субботы на воскресенье отмечается возле метро «Сокол». Они сидят там на ящиках и, поднимая руки, просят, чтобы их подвезли те самые служебные и военные автобусы, о которых только что шла речь.

Для меня на первых порах не было вопроса о транспорте. Меня взялся приобщать к подледному лову мой друг Саша Косицын, а у него в то время был старенький-престаренький «Москвичок», состарившийся главным образом по пути к различным водоемам. На своем «Москвиче» можно выезжать не с вечера, а перед утром, часа так примерно в три-четыре.

Надо бы выспаться перед выездом. Все готово, все уложено в ящик. Но уснуть перед выездом почти невозможно. Я думал, что это только у меня такое волнение, такая нервная организация, но в тот же день Саша мне признался, что он еще ни разу не спал как следует в ночь перед выездом.

Началось все с большой неудачи. Когда Саша подъезжал к моему дому и пересекал трамвайную линию, у «Москвича» лопнула задняя рессора. Машина сразу дала косою крен на правую сторону, нижняя часть кузова едва не чертила по асфальту.

Втайне я побаивался десятичасового морозного сидения, и мне, еще вовсе не рыбаку-фанатику, выспаться в теплой постели пока что нравилось больше, чем вся эта нелепая затея — ехать черт знает куда среди зимней ночи.

В расстройстве походили мы вокруг верного Сашиного «Москвича», совершившего на этот раз столь непредвиденный подвох, и пошли на стоянку такси консультироваться.

На стоянке дремало десятка полтора машин с шашечками. Тонкая поземка омывала черные, застуженные шины колес. На наш стук водитель такси опустил боковое стекло. Его заспанное лицо выражало неудовольствие. Даже ему в эту ночь дремать хотелось больше, чем ехать.

— Что делать? А что делать? Если рессора лопнула, делать нечего. Надо по краешку, около тротуара, со скоростью двадцать километров тянуть в гараж. До гаража, конечно, потихоньку доедете, ничего страшного.

— А как вы думаете, если на водоем, на рыбалку... как думаете, не дотянем?

Сердитый водитель, верно, подумал, что мы над ним начинаем смеяться, и молча поднял стекло, отгородился от нас мелким морозным рисуночком.

— Попробуем проедем метров сто, может быть, ничего,— робко, с затаенной надеждой, предложил Саша.— Обидно. Ночь разломалась, да и утро уж скоро. Пока ехали бы, пора опускать морышку.

Тихонечко стронулись с места. Ничего, едем. Саша и сам, наверно, не заметил, как набрал скорость до нормальной. Ничего. Главное — избегать неровностей, чтобы на толчках кузов не чертил дорогу. Вот уж и Дмитровское шоссе. Вот уж осталась позади Москва. Едем. Хоть и без рессоры, а едем, черт возьми. Нельзя же, в самом деле, откладывать рыбалку, к которой целую неделю готовились. И мотыль пропадет. Нельзя. Едем. Перегоняют рыбаки-интеллигенты на «Волгах» и «Победах», но все же едем и мы и, конечно, доехали до водоема.

Саша научил меня, что, идя по водоему, нужно ударять впереди себя пешней, пробуя крепость льда. И вот я, ударив черное гладкое стекло, впервые вступил на лед в качестве рыбака. По черному стеклу проступило белое матовое пятно, а от него брызнули в разные стороны белые прямые трещинки.

— Смело иди, видишь, пешня лед не пробивает,— одобрил меня Саша.— Сантиметров семь уж намерзло, хорошо.

По гладкому, еще не заснеженному льду поземка летела ускоренно и прямо, не юлила, как на земле, огибая всевозможные там неровности.



Все было серо вокруг — и лед, и снег по берегам водоема, и небо, зимнее, низкое небо, и сумерки зимнего утра — все было серо и однотонно и, верю, навеяло бы печаль и грусть, если бы не важность, не волеение момента.

— Перейдем на ту сторону водоема, — предложил Саша. — Здесь что за ловля.

— Разве не одно и то же?

— Как-то не то, чтобы приехать и сразу около машины бить луки. Кажется, на том берегу лучше.

На середине встретились рыбаки, торопливо пересекавшие водоем нам навстречу.

— Куда вы? — любопытствовал я у них.

— Туда, на тот берег. — И они показали место, где одиноко и сиротливо промерзал насквозь наш «Москвичок».

На водоеме, если даже и нет поземки, не надо определять, откуда дует ветер. Тут есть под руками самый надежный флюгер, потому как если и сидят хотя бы три рыбака, все они сидят точно к ветру спиной. Если их не три, а триста или пятьсот (бывает черным-черно на водоеме), значит, все триста или пятьсот спиной обращены к ветру. Причем точность тут не приблизительная, а абсолютная. Стоит только сесть на один градус наискосок, и то уж начинает задуть со стороны, невольно, не заметишь как, поправишься на этот самый градус. Если ветер повернет на четверть горизонта, пятьсот спиной рыбаков повернутся на столько же. Разве что в конце марта, когда жарко на льду и можно загорать, перестает действовать этот флюгер. Тут уж сидят кто во что горазд, кто как лучше любит, чаще всего лицом к солнцу: жаден человек до солнечного лучика, особенно до мартовского. Ведь в мартовском солнце, так же как и в мартовском огурце, есть своя, особенная, ни с чем не сравнимая прелесть.

Теперь был не март, теперь было сумрачно и мела ноябрьская поземка. А редкие рыбаки сидели ссутулившись, согнувшись над луками: первые зимние холода переносятся куда тяжелее главных.

Лед был тонок. Пешня пробила его с трех ударов. В середине прорубки (простите, луки) оказался цельный кусок льда, который я выбросил шумовкой. Помня о советах Германа, валенками, как бы тащущая, я отогнал от луки ледяную крошку, сел к ветру спиной и... Но тут выяснилось одно досадное обстоятельство — я не умею надевать

на крючок мотыля. Крохотный рубиновый червячок оказался довольно вертким, пальцы же мои на морозе — недостаточно точными. Я зацепил было мотыля крючком, но, значит, не в том месте, и он вдруг весь вытек, осталась никчемная прозрачная кожица.

Терпеливо Саша показывал, разъяснял мне, как нужно класть мотыля на кончик большого либо указательного пальца левой руки и как зацеплять за самую черненькую головку, чтобы он не вытек, а остался цел, и притом чтобы извивался на крючке, играл, приманивал рыбу. Но, конечно, понадобилось немало рыбалок, прежде чем я научился мгновенно нанизывать мотыля по нескольку штук на крючок на любом ветру и морозе.

Надо сказать, что в этот первый выезд я занимал с самого начала скептическую позицию. Это, между прочим, и придавало главную энергию Саше, решившему разубедить меня, вернее, убедить меня, что зимняя ловля куда интереснее и добычливее летней.

Еще в дороге я нет-нет да и подогревал Сашино рвение.

— Нет, не верю, чтобы зимой на удочку клевала рыба, по-моему, одни разговоры.

Саша не находил слов выразительно ответить на эту грубость.

Теперь, над чистой лункой, скепсис мой воспрянул с новой силой. Мне и правда казалась мертвой, безжизненной темная вода подо льдом. Страшно подумать — окунуть в нее палец. Какая уж там активная (по выражению Саши) жизнь. Судьба, увы, работала не на Сашину правоту, а на мое невежественное заблуждение.

Не могло быть никаких сомнений: мормышка лежала на дне. Вот я поднимаю на сантиметр кончик удочки, и сторожок сгибается, значит, мормышка отделилась от дна. Именно в этот момент на нее должен бросаться окунь. Но ничего не происходит. Я поднимаю удочку еще выше, потом опять опускаю — тишина.

— Что-то не стучит, — сетует Саша, сидя по правую руку. — Давай попробуем на шевеление мормышкой в грунте. — Начинаем не то чтобы поднимать мормышку, отделяя ее от дна, а пошевеливать там ее едва-едва. Наверно, на дне держится, хотя бы и тонкий, слой ила, значит, мормышка наша шевелится в иле, распуская вокруг себя крохотное облачко мути.

Но и к этому нашему изощрению вполне равнодушны окуни.

— Никогда такого не бывало,— смущенно бормочет Саша. Он, конечно, больше всего хочет теперь, чтобы я хоть увидел поклевку, ладно уж вытащить рыбину.— По первому льду и ни одной поклевки. Не может быть. Давай попробуем на «дыхание».

Саша кладет удочку на колено правой ноги и редко, глубоко вдыхает. Во время вдоха удочка невольно, вместе с рукой, приподымается, во время выдоха опускается опять.

Подо льдом в зимней воде никаких признаков жизни.

— Никогда такого не бывало. Давай лучше клюнем сами.

Мы идем под бережок от ветра, открываем наши ящики и прямо на снегу расставляем еду. Все застыло, заледенело — и ливерная колбаса, и соленые огурцы, и бутерброды с маслом, и разные консервы. Холодна, конечно, и бутылка. Но ничего не поделаешь: крещение есть крещение. Говорят, что зимняя рыбалка без этого не бывает. Рассказывают даже среди рыболовов и охотников анекдот. Расположились рыбаки на ночлег (ну, или охотники на привале) и устроили конкурс на самую невероятную историю.

— Насадил я на мормышку мотыля, опустил в лунку и пошел к товарищу. Прихожу, на удочке тяжело. Оказывается, на мотыля схватил малек, на малька — окунь, на окуня — щука.

— Эка невидаль, все может быть.

— Опустил я в лунку глубомер, ка-ак схватит, вытаскиваю... лещ на семь килограммов.— Тут будто бы почесали в затылке слушатели. Очень уж чудно, чтобы лещ схватил на свинцовую гирьку. Однако... кто его знает... может, лещ какой сумасшедший попался, наверно, рыба ведь тоже бесится, с ума сходит, все может быть.

— Половили мы, половили, селн перекусить. Разложили еду, достали бутылку коньяку четыре звездочки. Хвать-похвать, открыть нечем. Штопора нет, гвоздя нет, ну хоть плачь. Так и положили бутылку обратно в ящик...

— Э, нет, тут ты, брат, заливаешь, этого не бывает!

Но если уж зашла речь о спиртном и если забежать вперед, то из своего опыта я должен сказать, что пить спиртное на льду, во время лова, ни в коем случае не сле-

дует. Сначала вам покажется, что водка вас согрела. Однако через полчаса (так как усиливается теплоотдача организма) вы станете зябнуть еще хуже. Начнется мелкая неумемная дрожь, с которой не будет средства справиться.

На лед нужно возить в термосе горячий чай или кофе. Лучше же всего согреться движением. Три лунки, прорубленные во льду средней толщины, вполне согреют вас.

У нашего друга Коли Губернаторова хватает мужества и терпения возиться на льду с разными спиртовками, на которых он разогревает консервы, жарит яичницу и кипятит чай, как дома на кухне.

А чтобы рыбаки-читатели не приняли меня за ханжу и проповедника полной трезвости, скажу, что ничего не может быть приятнее стаканчика водки, когда после десятичасового сидения на морозе вы приедете на ночлег в добротное, хорошо натопленное помещение. Но об этом будет речь где-нибудь дальше, когда дойдем мы наконец и до Григоровых островов.

На другой день утром ко мне пожаловал Герман Абрамов. Ему не терпелось узнать, каково мне сиделось на ящике, купленном с его помощью, каково рубила пешня, которой он сообщил нужный угол, каково действовали удочки, сооруженные им.

Я рассказал о полной нашей неудаче и о том, что вообще вчера не было там никакого клева и что только один местный рыбак поймал десяток окуньков, а другие, как ни обрубали<sup>1</sup> его со всех сторон,—ничего не получилось. Саша—в стремлении доказать мне и чтобы я сам поймал—даже просил рыбака-удачника, чтобы тот отодвинул ящик, и хотел на месте его ящика бить лунку. Но рыбак, конечно, не подвинулся, напротив, выругался.

Герман только говорил время от времени:

— Так. Понятно. Бывает. Ясно.

Однако он, видимо, почувствовал, что теперь-то и решается вопрос: быть мне рыбаком-подледником или не быть. Положение он, конечно, оценил как почти безнадеж-

---

<sup>1</sup> Обрубить рыбака—пробить лунки рядом с его лункой. Обрубают того, у кого хорошо ловится. При этом распугивают рыбу, и тогда уж не ловится ни у кого. Поэтому рыбаки стараются не показывать улова, а тотчас прячут пойманную рыбу в ящик, оставляя на льду несколько мелких, непривлекательных рыбешек.

ное, катастрофическое, иначе не принял бы столь решительных, чрезвычайных мер.

— Так. Понятно. Собирайся. Сегодня вечером мы поедем на Сенеж. Перепочуем в Доме рыбака, а завтра выйдем на лед.

— Да ведь бесклестье... Везде ведь, наверно, одинаково. Да и вообще это все авантюра, чтобы зимой, из-под льда на удочку...

— Так. Понятно. Собирайся. В шесть часов вечера выедем на поезде.

По-стариковски Герман облился потом, пока шли в Солнечногорске от станции до Дома рыбака. Нельзя сказать, чтобы в Доме рыбака было привлекательно и уютно. Грязноватый коридор, грязноватые комнаты, плохо заправленные койки, на которые, видимо, ложатся поверх одеял в грубой рыбацкой амуниции. Впрочем, что сетовать: тепло, не дует, есть старик, у которого можно взять чайник с кипятком, а удовольствие стоит всего шесть рублей за ночь.

Рыбаки-пенсионеры (в будний день не бывает других на водоеме) вернулись со льда и теперь пили чай.

— Ну, как ловится рыба? — приветствовал их с порога Герман своим громким от глуховатости голосом. Рыбаки ничего не ответили на это первое приветствие, и по одному этому можно было судить, что дела не блестящи. Один все же смиловился:

— За целый день три поклевки. Не пойдем, в чем дело. Может быть, погода собирается ломаться. Не было бы завтра сырой метели. Ведь перед ненастьем за два дня прекращается всякий клев.

— Ну вот видишь, — упрекнул я Германа, — стоило тащиться в такую даль.

— Не обращай внимания. Они не знают. (Последнее было сказано только для меня, то есть с точки зрения Германа, шепотом, на самом же деле на всю комнату.)

Уверенность Германа была наивна, но тверда. Не поверить в нее было невозможно.

В комнату приходили новые рыбаки, отсидевшие день на льду. Все они говорили, что нет никакого клева и что все они с пустыми руками. После каждого такого рыбака я смотрел на Германа вопросительно, а Герман неизменно отвечал:

— Не обращай внимания, они не знают.

— Это что же такое мы не знаем?! — возмутился один рыбак.

— Не там ловите. Надо идти по плотине до берез. Дойдешь до третьей березы, сворачивай на лед. Отмеряй по льду пятьдесят шагов, руби лунку. В самое глухое бесклевье будете с рыбой.

— Герман, что же ты наделал? Зачем рассказал свой секрет? Теперь они все завтра сядут там, где ты сказал, а нам ловить будет негде.

— Ты думаешь? А мне как-то не пришло в голову.

Утром мы пошли к злополучной третьей березке. Восемь рыбаков сидели кучкой, отмерив ровно пятьдесят шагов от березы, как научил их Герман. Все они энергично работали руками вверх — вниз, то есть таскали рыбу. Эх, Герман, Герман!

Снегопад все усиливался. Пришлось, прежде чем рубить лунку, расчищать место от снега.

Как и вчера, разматал я удочку, как и вчера, положил мормышку на дно. И только положил, только собрался приподнять ее хотя бы на сантиметр, как сторожок мой дернулся вниз. Я рванул удочку вверх и услышал, что к мормышке вроде бы прицепилась тяжеленькая гирька. О, как осторожно, с какой тщательностью я вытягивал наверх моего первого зимнего окунька. Наконец мордочка его высунулась из заснеженной лунки.

Окуnek оказался маленьким и шупленьким, но не зря гласит народная мудрость: лучше маленькая рыбка, чем большой таракан.

Дрожащими от волнения руками скорее опустил я мормышку на старое место, благо мотыль остался цел. Вот я кладу мормышку на дно, вот собираюсь ее приподнять — стук! Новенький окуnek оказался на мормышке. (Между прочим, выражение о зимнем клеве: «стучит», «стукнул», «не стучит» — очень точное, ибо во время поклевки через всю удочку к руке передается короткий, энергичный толчок, вроде как удар — окунь стукнул.)

Засим началась чисто механическая работа. Заправляешь удочку в лунку — не так-то это просто: тончайшая леска путается на ветру, ее относит в сторону, а в стороне она цепляется за бугорки, осколки льда и прочее, — потом следует кивок сторожка, потом вытаскиваешь леску опять на лед, стараясь, чтобы она ложилась кольцами, а не путалась как попало. Потом снимаешь окунька, отбрасы-

ваешь его в кучу, поправляешь или надеваешь мотыля и снова заправляешь удочку в лунку.

Начал лепить обильный мокрый снег с ветром. Снег то и дело залеплял лунку, и тут вступала в дело шумовка. Самих нас совсем залепило и замело, а мы как заведенные вытаскивали абсолютно одинаковых стандартных щупленьких окуньков.

В конце ловли пришлось глубоко разгрести снег, для того чтобы собрать весь улов. Разумеется, все окуньки были пересчитаны, и оказалось их у меня сто девятнадцать штук.

Герман торжествовал. Герман обещал мне в дальнейшем золотые горы, потому что он знает все водоемы под Москвой, и не просто знает, а именно вот так: от какого дерева сколько шагов отмерять. Правда, было и у него слабое место, или, лучше сказать, мечта.

Несколько раз в то время, как мы таскали мелочь, Герман глубоко вздыхал и мечтательно, почти с горечью, говорил:

— Эх, есть на земле водоем и не так чтобы очень далеко. Но очень уж трудно добираться, с пересадками. А потом еще пешком километров пятнадцать или двадцать. Туда пужно только на машине. Но все равно когда-нибудь соберемся. Я-то уж тридцать лет собираюсь — не соберусь.

— Какое такое место?

— Эта мелочь что! — не слыша меня, мечтал Герман. — Это одна забава. Там вдруг подходят окуни и ломают у мормышек кованые крючки. А уж лески рвут — я не говорю. Ты представляешь: кованый крючок — и пополам... Мечта моей жизни.

— Да как называется то место?

— Есть на Большой Волге в Калининской области городок Конаково... Волга перегорожена плотиной, затопила окрестные луга. Местами образовались глубокие заливы в лесу, местами образовались острова, местами в водохранилища впадают небольшие речки. Эх, да что говорить, сердце начинает болеть, как вспомнишь про Конаково. Ты представляешь себе: кованый крючок — и пополам?!

— Да ведь ты не был там!

— Правильно, не был. Но верные люди говорили.

На обратном пути с зимнего лова в электричке ли, в машине ли, как только чуть-чуть согреешься, невозможно не уснуть. Мне снился дергающийся вниз сторожок и окуневые мордочки, высывающиеся из заснеженной лунки.

А Герману скорее всего снились лесные заливы возле города Конаково.

В эту зиму я больше ни разу не собрался на лед. Видимо, не так еще сильно зацепила меня эта зимняя рыбалка. Да и обстоятельства складывались неблагоприятно. Но все же именно этой зимой получалась у меня ну, что ли, предпосылка для дальнейшего хода событий.

На съезде российских писателей в коридоре познакомили меня со славным писателем-патриархом Иваном Сергеевичем Соколовым-Микитовым, тончайшим знатоком и нашей русской природы, и нашего русского слова. Тут, конечно, разговор о весне, об охоте, о рыбной ловле. Я ввернул в разговор, что вот, мол, мечтаю как-нибудь побывать в одном месте, называется что-то вроде Конакова. Иван Сергеевич руками всплеснул от неожиданности:

— Да у меня же там дом! А когда бы вы хотели?

— Поздней осенью.

— Это плохо. Я в это время уж в Ленинграде. Но вот сейчас я напишу записку моему племяннику Борису Петровичу. Вы просто так, погулять, отдохнуть?

— Что вы, я рыбак-подледник.

— Тогда попадаете в точку. Там действительно превосходные рыбы пастбища.

Вот как! Ни больше ни меньше как рыбы пастбища. Не просто водится рыба, не просто ее там много, а пастбища, то есть, значит, стада, табуны, косяки, отары. И между прочим, записка к Борису Петровичу у меня в кармане. Жаль вот только, теперь весна, и записке придется бездействовать до глубокой осени. Ладно, будем готовить снасти!

...Разумеется, Саша успел поставить новую рессору, и от дому мы отъехали без приключений. Однако на окраине Москвы выяснилось, что отказало освещение. Опять короткая консультация с водителем такси.

— Ничего не поделаешь,— как и в прошлый раз, говорил водитель,— надо около тротуара, со скоростью двадцать километров, ехать домой. (Как не понимают люди, что, если несколько месяцев собирались туда, где «превосходные рыбы пастбища», уж завтра, не далее чем завтра, можно увидеть, как дергается сторожок, откладывать поездку нельзя!)

Хорошо, что пока еще сумерки. По разъезженным, но теперь окаменевшим подмосковным дорогам ищем пекую



автобазу, где, может быть, сумеют починить «Москвича». Какие-то бараки, строящиеся дома, неподвижные в этот час краны, заборы... (Сидеть бы сейчас в консерватории, слушая музыку, или в кино, или интересная книга, или просто попить чайку в семейной обстановке.)

— Стой, Саша, вон какие-то широкие ворота, может быть, это и есть автобаза.

Ворота закрыты. Нужно идти в проходную к вахтерам. Саша — Герой Советского Союза. Теперь это помогло бы, но мы в рыбацкой одежде, в нелепых шубах, ни у него, ни у меня никаких документов, кроме прав водителя, да и права-то несолидные, любительские.

В проходной топится железная печка, на ней закоптелый чайник. Вахтер — небритый рыженький мужичонка в стеганке, подпоясанной солдатским ремнем.

— Да вы что, граждане, рехнулись совсем? Могу ли я постороннюю машину ночью на территорию пропустить? Да и разошлись уж все, нынче ведь суббота, вот и товарищ инженер подтвердит.

В будку, со стороны «территории», вошел молодой мужчина (значит, инженер), впрочем, тоже в стеганке.

— Да вот мы... на рыбалку... Герой Советского Союза... писатель... понимаете, такая незадача.

— Семеныч, открой ворота, там еще остались ребята, поглядят.

Заехали в огромное крытое помещение, где множество машин, эстакады для их ремонта, станки. Полутемно, пустынно, тоскливо. (Наши жены, наверно, думают, что мы далеко, во всяком случае, едем. Им и в голову не придет, что мы сидим на автобазе и русский паренек озабоченно копается во внутренностях Сашиного «Москвича».)

Для рабочих базы, тех нескольких человек, что не ушли еще домой, наш «Москвич» — разнообразие и развлечение. Все они собрались вокруг, разговариваем.

— А правда ли, говорят, что в прошлом году автобус с рыбаками под лед ушел?

— Не автобус, а грузовая машина с фанерным верхом.

— Ну и как же?

— Мы там не были. Говорят, грузовик попал на льдину, затянутую свежим ледком, и тогда как передние колеса зацепились уж за твердый лед, задние проломили корку, и машина встала вертикально.

— Ну, а рыбаки как же?

— Ну... и рыбаки, куда же денешься, к тому же в шубах.

— Говорят, фары в воде долго светились?

— Нет, фары остались наружи. Сказано, машина встала вертикально. Дверца из фанерного кузова была сзади, как раз на дверцу машина-то и встала.

— Да, история.

— Да. Там ведь если не захлебнешься, заледенеешь.

— А вот вы не поверите, братцы,— заговорил вдруг пожилой уж человек,— что я в войну, держась за обломок бревна (а бревно в льдину вмерзло), восемь часов в воде сидел.

— Ври больше,— горячо возразил паренек, так примерно сорок первого года рождения.— Не способен на это человек. Ледяная вода... Переохлаждение организма... Полчаса, и готов.

— Какие вы ученые — переохлаждение! А я говорю, восемь часов в зимней воде просидел.

— А почему?

— Светло было, чуть шевельнешься — очередь. Или снаряд. Простреливалась вся река. Товарищ мой не выдержал, отпустил бревно, поплыл. Через десять метров накрыли, как все равно горстью гороха бросили. Думаю, пуль пять в него шлепнулось. А я восемь часов сидел.

— И жив остался? Не поверю.

— Так вот же я, разве не видишь, что жив.

— Врешь,— начал всерьез горячиться паренек военного года рождения.— Переохлаждение организма. Чудес, папаша, на свете не бывает.

— Ах ты, щенок, это я-то вру? Чудес не бывает! А Москва? Немцы в семи верстах были — не чудо? А вся война? Где ты был в сорок первом году?

Спор становился все горячее. Но «Москвич» уже светился всеми фарами и подфарниками. Так мы и не дослушали спора между двумя русскими людьми насчет того, может ли человек просидеть, не двигаясь, восемь часов в воде, или все-таки чудес не бывает?

Из тьмы со стремительной скоростью летели нам навстречу белые хлопья снега. Они вылетали, казалось, из одной точки. Но чем ближе подлетали к стеклу, тем больше рассыпались веером, так что только некоторые снежинки

шлепались о наше стекло, другие обтекали машину вместе с ветром, вместе с темнотой, снова смыкавшейся сзади автомобиля.

Как ни подхлестывал Саша «Москвича», время было потеряно на автобазе, да и дорога ослизла от снегопада. К тому же немного поплутали, запутавшись в трех последних деревнях. Все это кончилось тем, что к дому Бориса Петровича мы приехали за полночь. Огня уже не было. И если бы хоть чуть потеплее было в неотапливаемом «Москвиче», право, мы не решились бы стучаться к незнакомым, не ждущим нас людям.

На третий стук засветились окна. Борис Петрович, открыв, не спрашивая, кто мы, пустил в избу, а там уж и спрашивать не пришлось. Во-первых, по наряду увидел, что рыбаки, во-вторых, я поторопился вручить ему ту самую, полгода хранящую записку.

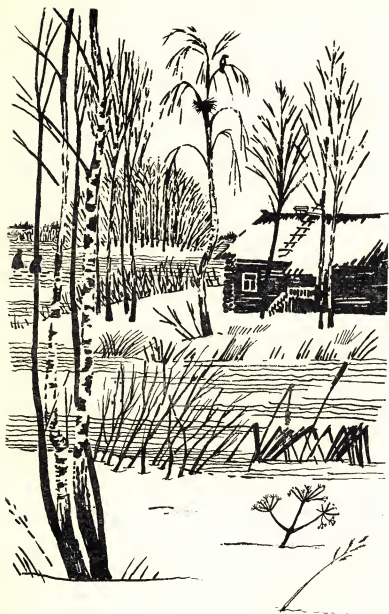
Хозяин дома оказался мужчиной за сорок, с лицом красным и обветренным, как у старого полярика. Его жена Клавдия Георгиевна, выйдя из-за перегородки, так и осветила всю комнату радушием и гостеприимством. Тотчас появились на столе свои грибы, своя капуста и, уж конечно, свои жареные окуны. Ого, если бы вот тот окунь попался нам с Германом на Сенеже, было бы событие на весь Дом рыбака, да и на все достославное озеро Сенеж.

Между прочим, Борис Петрович сказал нам, что мы завтра должны подняться в шесть и тогда он сам проводит нас на нужное место.

Надо ли говорить, что зимой в шесть утра так же темно, как и в любой другой час ночи. Не начинало брезжить, когда мы, попив чаю, с трудом разогрев машину, тронулись еще дальше, хотя считали вечером, что Борис Петрович — край нашего пути и что дальше ехать некуда. Ехать же, оказывается, нам пришлось еще километров двенадцать.

— Теперь слева от нас все время Волга, — Борис Петрович кивнул головой налево. — Теперь мы едем все время по самому ее берегу.

Но ничего, кроме начинающей сереть мглы, мы не могли увидеть слева. Зато по дороге мы то и дело видели пешеходов, идущих вперед спешащей, уверенной походкой, как бы боящихся опоздать к началу очень важного или интересного.



— Густо рыбаки нынче идет,— заметил Борис Петрович.— Это все наши местные ребята.

Местные рыбаки были одеты не как мы: не в тяжелые шубы, а облегченно, все больше в короткие тужурки. Да оно и понятно: десять-двенадцать километров пешком в нашей одежде не пройдешь. Потом мы увидим, как местные рыбаки будут энергично перебегать с места на место в поисках обильной лунки, в поисках матерых окуневых стай, делая перебежки по километру и более, тогда как мы все больше на одном месте. У местных рыбаков редко встречаются деревянные ящики, но почти сплошь железные банки (по форме — сплюснутое ведро), на которых они и сидят. Не знаю, почему такая мода и почему это удобнее деревянного ящика.

Мы думали, что чем дальше мы теперь едем, тем будет все пустыннее и дичее, как вдруг показалось скопление автобусов, грузовиков, легковых машин разных марок, всего, вероятно, более ста. Скопление было беспорядочным, радиаторами в разные стороны, как если бы пробка на переправе и уже начинается паника. Борис Петрович ответил на наше недоумение.

— Мыс. Дальше и мы не поедem. Дальше только вдвоем. Вот в январе можно будет ездить по льду, теперь придется пешком.

От скопления машин с горочки спускались на белую многокилометровую скатерть водоема черные вереницы людей. Они шли сначала все по одной тропе, а потом километрах в трех от мыска разбредались в разные стороны, густо заполняя даже такое большое пространство, как перегороженная плотиной, затопившая окрестные берега ма-тушка Волга.

— Ну-с, наша дорога особая. Вешайте ящики через плечо, пешни поволокем за веревочки. Держитесь за мной.

Борис Петрович повел нас не по общей тропе, по которой почти бегом (как золотая лихорадка) уходили на лед все новые и новые вереницы людей, а правее, вроде бы даже и не по льду, потому что в этом направлении не было льда, а была бугристая, заснеженная земля.

Вскоре мы поняли, что идем, пересекая многочислен-ные, глубоко врезавшиеся в сушу заливы, этаким лабиринт заливов. Местами поверх льда торчал сухой темно-желтый камыш. Он железисто шелестел под зимним ветерком или когда мы задевали за него, пробираясь к цели. Местами

вдруг открывались светлые участки льда, с пузырьками вмерзшего в лед воздуха. Сквозь лед, как сквозь аквариумное стекло, виднелись коричневые густые водоросли. Местами мы опять выходили на сушу, может быть, пересекали остров, и тогда вместо камыша нас встречали сосенки, мелкий березнячок, кусты можжевельника.

Я уж говорил, да это и само собой понятно (нужно только напомнить), что идти в одежде зимнего рыбака тяжело. Мы сильно нагрелись, и дорога (то есть расстояние, ибо мы шли без тропы) стала казаться слишком длинной, как вдруг перед нами, словно в сказке, вырос ладный бревенчатый дом.

— Ну вот,— сказал Борис Петрович,— здесь живет Володя Винокуров со своей матерью Варварой Ивановной. Вы можете приезжать сюда в любое время — и днем, и ночью, всегда будет иочлег, горячая уха, чай.

Володя Винокуров стоял на крыльце, разглядывая нас с высоты четырех ступеней. Большой черный пес — сибирская лайка — рвался с цепи, жаждающая познакомиться с пришельцами.

Изба, куда мы вошли, была по типу просторной крестьянской избы, и только обстановка ее противоречила обыкновенному быту обыкновенной крестьянской семьи. То есть никто не сказал бы, что здесь живет пахарь и сеятель со своей работающей женой да кучей белоголовых ребятишек. Ружье с патроиташем, висевшее на стене, пустые ружейные гильзы, валяющиеся на столе и на подоконниках, старая, кофейного цвета, пятнистая охотничья собака, зимние удочки и зимние жерлицы, во множестве лежащие там и тут, пешня, стоящая возле порога, ну и другие, может быть, не сразу уловимые приметы говорили о том, что здесь живет вовсе не пахарь, а охотник и рыбак, скорее всего егерь, как оно потом правильно и оказалось.

Около русской печи отгорожены в одну сторону кухня, в другую — спальня. Две железные койки студенческо-солдатско-больничного образца стояли на виду в передней горнице, три койки — за перегородкой в спальне. Ну, и чтобы сразу же представить жильцов: Володя Винокуров, лет тридцати, такой же обветренный и красивый, как и Борис Петрович, только гораздо худощавее; Варвара Ивановна, высокая и костистая старуха за восемьдесят, расхаживающая по избе босиком. Потом оказалось, что иногда она и на улицу выходит босиком, например, чтобы дать

корма Кузе — той самой сибирской лайке, что сидит на цепи.

В этот дом, к его обитателям, мы еще вернемся вечером. Тогда будет время познакомиться с ними поближе. Теперь мы на скорую руку перекусили, и Борис Петрович поставил перед Володией вопрос ребром: где сегодня будем ловить?

— Так ведь если по-настоящему ловить, надо бы на Корчеву.

Эх, Герман Абрамов, Герман Абрамов. Ты мечтал о самом лишь Коиакове. А мы вот заехали далеко за Коиаково, потом еще дальше зашли пешком, на этот прямо-таки сказочный островок со сказочной избушкой на нем, а теперь вот пробираемся еще дальше, и ждет нас некая неведомая Корчева!

Но и на Корчеве, правда небольшими группками, там и сям чернели точечки рыбаков. Совсем рассвело, день вошел в полную силу. Впрочем, мало было силенок у этого позднего ноябрьского дня. Серое плоское небо распространилось низко, как потолок, над плоским же, без бугорка, водоемом. Может быть, Волга и мерцала бы голубыми снегами, может быть, она полыхала бы голубым морозным огнем, если бы простиралась над ней глубокая чистая снега и солишко висело посредине.

Небо как бы бросало тень на чистые, ослепительно белые, в сущности, снега. И вот они, чистые и ослепительно белые, тоже казались серыми, почти темными, а вовсе не голубыми.

Голые прутья краснотала, которые прекрасно сочетались бы с возможной голубизной, торчащие из снега на нашем берегу, да чернеиные цепочки деревень на дальнем, противоположном берегу Волги — вот и все разнообразие пейзажа.

Саша по своей проворности и опытности первый прорубил лунку, первый опустил мормышку. Мы занимались каждый своим делом и не обращали на него внимания. Вдруг он вскрикнул. Оглянувшись, как по команде, мы увидели Сашу, полного растерянности. В руках он держал то, что осталось от удочки.

«Это вам не Водники какие-нибудь, а Корчева», — торжественно светилось в глазах у наших гостеприимных хозяев.

— Какая лесочка-то была?

— Ноль-десять!

— Ноль-десять здесь не годится. Да и мормышки поставьте тяжелее. Глубоко. Маленькая долго будет тонуть.

Судорожно стал я заправлять удочку в лунку. Крохотная мормышка — гордость фирмы Германа Абрамова — тоннула лениво, почти не тонула. Володя Винокуров понаблюдал за моими действиями, сжалился и довольно грубо мне выговорил:

— Говорю, ставь тяжелую мормышку.

Я поставил, и свинцовая капля бойко пошла в глубину. Но вот странно, и эта капля перестала тонуть. Леска, которая так и текла в лунку, вдруг остановилась и легла на лунке кольцом. Чудно. Судя по глубомеру, мормышка не прошла и половины расстояния.

— Да у тебя уж сидит, тащи!

Я потянул кверху, и правда — услышал тяжесть. Значит, окунь взял «с полводы» и так и стоял с мормышкой во рту. Оттого-то она и не тонула. Окунишка был приличный, «из ровных». На Сенеже нужно вытащить штук пять, чтобы сравняться с этим.

Итак, прелесть и драгоценность водоема прояснилась с первых минут. Главная прелесть в том, что есть чего ждать. Да, иной раз и здесь повадятся вешаться на крючок мелочь, вроде как на Сенеже или в Водниках. Но там сиди хоть сто лет — ничто другое уж не возьмет. А здесь отойдешь метров двадцать, сделаешь новую лунку, и вдруг пойдет «мерный», или «ровный», или «горбыль», а потом вдруг и «лапоть». А потом, если верить фольклору, и кованый крючок пополам.

Стоит пояснить, что у рыболовов существует свое разделение окуня. Мелочь, ну она и есть мелочь, — поперек ладони длиной; «ровный», или «ровненький» — потяжелее, посolidнее, потолще, похож на рыбу; «мерный» — еще solidнее, таскать его одно удовольствие; «горбыль» — вообще хорошая рыба, ее и людям не стыдно показать. Обыкновенно, когда показываешь «горбыля», люди ахают: «Ах, какая хорошая рыба! Где вы ее взяли?»; «лапоть» если лапоть, едва проползает в лунку, сам почти черный, перья — темно-алые, полос уж почти не видно; дальше по шкале идут редкие экземпляры, названия им придумать невозможно. Они выше всяких названий. Они — мечта.

Но все же самое большое удовольствие, когда попадешь на стаю мерных, тяжелых окуней, и чувствуешь, что стая



устойчивая, и начнешь беспрерывно таскать одного за другим.

К часу дня клев стал затихать и вовсе прекратился. Мы начали ходить с места на место в поисках добычливых лунок. Поглядев вдаль, можно было заметить, что и другие рыбаки там, в своей дали, тоже меняют луники.

— Ходит рыбак,— резюмировал Саша,— клев прекратился.

Саша, увидав, что какой-нибудь рыбак, даже и вдалеке от нас, энергично работает руками, тотчас бежал туда, чтобы «немедленно обрубить». У него вообще принцип — где рыбак, там и рыба. Он любит прилипать к куче, занимая там самую ловкую луку.

Я пошел искать удачи вдоль бережка и вдруг заметил в одном месте, что вроде как ручеек впадает в водоем. Все подо льдом и под снегом. Может быть, просто сухая канава, но, может, и ручеек. Немедленно я прорубил лунку в трех метрах от устья предполагаемого ручейка.

В это время на льду произошло заметное событие. Появилась новая группа рыбаков. Вперед шел молодой человек в белом военном полушубке и нес пешую и ящик; сзади шел молодой человек в белом полушубке и нес чемодан (скорее всего, с провизией); между ними шел пожилой человек в новой похрустывающей канадской шубе. Он нес удочку. Группа расположилась метрах в пятидесяти от меня. Молодой человек с пешней прорубил лунку, другой молодой бросился шумовкой вычерпывать лед. Потом я потерял из виду своих соседей, ибо у меня вдруг пошел беспрерывный мерный окунь.

Очнулся я оттого, что молодой человек в белом полушубке, запыхавшись, прибежал ко мне.

— Скажите, пожалуйста (самая вежливая интонация), на какую мормышку вы ловите?

Я показал. Молодой человек убежал. Некоторое время у соседей царил сосредоточенность. Перевязывали мормышки. Через четверть часа молодой человек в белом полушубке прибежал снова.

— Скажите, а сколько мотылей вы насаживаете на крючок?

— А вы?

— Изодряемся. Насаживаем одного мотыля — и того колечком, то есть за голову и за хвостик.

— Ну а я насаживаю сразу по четыре мотыля, и всех за голову.

Еще через четверть часа (около моей лунки яркими красками горела грудa окуней) прибежали оба молодых человека в полушубках.

— Скажите, а где берет: со дна, с полводы, а может быть, у самого льда? Так ведь тоже бывает. Говорят, что водяные жучки примерзают ко льду и вот окунь поднимается со дна и отщипывает, буквально отгрызает от льда этих жучков.

Я признался, что берет на разной глубине, но преимущественно на четверть от грунта.

— А мы уж и так и саяк, и на шевеление в грунте...

Мне тоже захотелось пошевелить мормышкой в грунте, хоть и не было в этом нужды при таком-то клеве. Вот мой «клопик» улегся в тонкую пленочку ила, вот я его сейчас с боку на бок... Вот немного приподниму... Однако отчего же не поднимается? Зацеп? Жаль. Хорошая была мормышка. Нет, вроде прошло. Скорее всего, зацепился за тяжелую гнилушку, и вот гнилушка отделилась от дна, выдержала бы только леска.

Началось все с половинны воды: и леску, и удочку, и мою руку вместе с ними потянуло вниз так, что рука окунулась в лунку и я едва не отпустил удочку. Бессознательно я удерживаю удочку посередине лунки, чтобы ни в коем случае она, натянутая до предела, не чиркнула по кромке льда. Секунды две отдыхали и я, и окунь. Потом я стал его тихонечко поднимать, потом все повторилось: до половинны воды супротивник шел как чурка, в нужном месте уперся, остановил мою руку и уверенно притянул ее к самому льду.

Надо бы кричать сразу, но я онемел от счастья. Раз пятнадцать мы играли, кто кого перетянет. С каждым разом мне удавалось подтянуть добычу все ближе и ближе к лунке. Когда наконец я подтянул ее совсем, выяснилось, что рыба в лунку не пролезает. Вот тут-то я закричал.

Оглянувшись, я не увидел никого поблизости от себя, кроме человека в канадской шубе. Его подручные в белых полушубках, как на грех, куда-то отлучились в это время.

— Эй, товарищ! — закричал я. — У меня окунь в лунку не пролезает. Помогите!

Скорее всего, человек, страдающий от бесклевья, принял мои слова за насмешку, во всяком случае, он поглядел в мою сторону и снова уткнулся в лунку. Что со мной слу-

чилось, не знаю. Наверное, это от сознания, что такое в жизни больше не повторится. Но я вдруг закричал и заругался благим матом.

Смотрю, и нелегко ему в канадской шубе, при полноте, при возрасте, а бежит, запыхался.

— Ну что у вас, что-нибудь серьезное?

— Надо расширить лунку, только осторожнее, не ударьте по леске.

Работа была не из простых. Второпях, в азарте, в горячке. Леску, в сущности, не видать, она сливается со льдом и водой. В лунке после первых ударов пешней образовалось ледяное крошево.

В это время и Саша прибежал на шум. Он сразу понял, что происходит.

— Дай подержаться, дай подержаться,— умоляющим голосом просил он. Сладко было бы ему послушать хоть одну секунду, как ходит на удочке большая рыба. Но я и сам ни за что не мог бы выпустить удочку из рук.

— Тихонечко поднимай, вводи его в лунку, а я поддерживаю шумовкой.

Саша погрузил шумовку в лунку и отрезал окуню путь в родную стихию, если бы даже в последний момент и не выдержала леска. Вместе с крошевом льда под шумовкой Саша выворотил рыбину на снег. И тут нам самим не поверилось, что такая рыба могла попасться на столь хрупкое и примитивное сооружение, как моя зимняя удочка.

Сосед, пришедший ко мне на помощь, радовался больше меня, как будто именно он поймал окуня и больше уж ему ничего не нужно.

— А знаешь ли ты, кто это? — спросил меня потом молодой человек в полушубке, придя посмотреть добычу.

— Откуда мне знать?

— Маршал Н.

— Быть не может! Ах, какая неловкость, я ведь его, кажется, того... по-русски...

— Ну ладно, рыбаки все равны. Главное, что он доволен.

По обратному пути на остров только и разговоров было, что о моей удаче. Спорили, между прочим, сколько он потянет. Я говорил, что в нем будет не меньше полутора килограммов. Саша давал на триста граммов меньше. Борис Петрович убеждал нас, что это самый типичный килограммовый окунь. Володя шел молча и ухмылялся.

Вскоре к нам присоединились местные рыбаки, разговор принял другое, интересное, я бы даже сказал, необыкновенное направление. То есть направление-то, может быть, и обыкновенное, но вещи говорились при этом удивительные.

Местные рыбаки, узнав в Борисе Петровиче своего знакомого, во всяком случае, тоже местного, стали спрашивать, где мы ловили.

— Да ведь что,— отвечал им Борис Петрович,— сначала мы попробовали у собора, потом перешли на угол Главной улицы и Базарной, а потом уж сидели возле женской гимназии.

— Ну, а этого где он выворотил?

— Этого там, далеко, ближе к городской тюрьме.

— Нет, я замечал сколько раз, что хорошо берет, вот знаете, около собора речка текла, ручеек, мостик через него, а на другом берегу луговинка, тут еще старушки богомолки все отдыхали, поздней обедни дожидаячнсь. Вот на этой луговинке, ближе к ручейку, на самой кромочке отменный бывает клев!

— Интересно. Надо когда-нибудь попробовать.

Сначала, слушая этот разговор, я подумал, что нас с Сашей разыгрывают. Но нет, говорят серьезно. Борис Петрович обстоятельно объяснил:

— Разве вы не знаете, что был такой город Корчева? Небольшой купеческий городок, однако все как следует: и собор, и трактиры, и разные магазины, и гимназии, и базар, и сады с огородами, и ремесленники, и герани на окнах, и извозчики, и гостиница, и богоугодные заведения...

Когда образовалось Московское море, которым мы теперь идем, город подвергся затоплению: ведь все, что вы теперь видите,— Борис Петрович показал на ледяные просторы,— все это затопленная земля: луга, овраги, перелесочки, деревни. Так что ничего чудного нет. Просто мы помним, где что было: где ручеек, где мост через ручеек, где базар, где больница.

Мы только мечтали про себя, что сейчас придем, отдадим Варваре Ивановне рыбу и хорошо, если бы она сварила уху. Однако к нашему приходу огненная (даже пару не видно) уха была готова. Варвара Ивановна сварила ее в ведре, предназначавшемся для этой цели, да так в ведре и поставила на стол. Когда мы спросили, из какой рыбы Варвара Ивановна сварила уху, Володя повел нас через

сени в холодную избу, и мы увидели наваленную грудой на полу рыбу, таких же окуней, как наши. Их было, вероятно, килограммов сто, не меньше.

— Долго ли мне,— объяснил Володя,— на час выбегу — бадья. Теперь уж не хожу — девать некуда. Только ради вас на лед вышел. Съедем, снова буду ловить.

— Да тут на всю зиму.

— Рыбаки, вроде вас, останавливаются. После неудачного дня подбросишь ему в ящик десятка три, чтобы жена в Москве обрадовалась. Конечно, рыба у меня здесь как дрова...

Мы поскорее ушли из холодной избы, чтобы не развратиться. А то насмотришься на эту груды, и пропадет интерес таскать по одному окуньку из морозной лунки.

Перед огненной ухой, с мороза (и больше уж не идти на мороз), нельзя было не выпить по стопочке. Володе мы, правда, налили стакан, правильно посчитав, что ему, живущему на острове, на свежем воздухе, наша мерка была бы маловата.

— Варвара Ивановна, а вы что же с нами, а? Приобшились бы.

— Разве уж маненечко... половиночку...

Налили стаканчик и старухе. Она выпила его с видимым удовольствием, закусила городской едой: колбаской, буженинкой, маслицем.

Окуней в уху было положено без жалости, оттого уха благоухала и радовала.

— Варвара Ивановна, может быть, еще с нами по одной?

— Еще?!

— Ну а что: печка рядом.

— Разве уж маненечко... половиночку...

После мороза, ухи и ста граммов сон сшибает немедленно и наверняка. Я устроился за перегородкой, в спальне, и последней моей, уже туманной мыслью было: завтра с утра опять можно идти на лед, опять будет клев и разнообразные, от мелочи до лаптя, окуни. Какое счастье!

А ночью мне снилась Корчева. Как в немом кино, безмолвно ходили по улицам люди, одетые не по-нашему, но в картузах, с лаковыми козырьками, в сборчатых поддевах и сапогах. Купчихи и купеческие дочери — в длинных платьях, с разноцветными шальями на плечах, как бывает

только на картинах Кустоднева. Тут же извозчики (пассажиры под зонтиком), гимназистки в белых фартучках. В трактире степенные мужики пьют чай «парамн», время от времени они стучат крышкой чайника, подзывая полового. Но вместо полового к ним подплыл вдруг мой окунь и человеческим голосом проговорил:

— Не там ловите. Надо около собора, на поляне, где старухи богомолки поздней обедни дожидаются...

Между прочим, в моем окуне оказалось всего лишь семсот граммов с небольшим граммами...

Теперь чаще всего мы ездим на остров без заезда к Борису Петровичу, чтобы не беспокоить его каждый раз. На остров к Варваре Ивановне и Володе мы приезжали иногда и совсем поздней ночью. Да еще в метель, снегопад не сразу отыщешь милый нам уютный островок среди других островов и заливов. Особое место в нашем быту на острове занимали ночные невольные бдения.

Дело в том, что зимой темнеет рано. В четыре часа, в пятом пора уходить со льда, и, значит, к шести с ухой покончено.

В это время нас сваливал крепкий сон. Помню, в первый раз я проснулся и стал ждать рассвета. Чувствовал, что больше не усну. Поворочался с боку на бок час или полтора, слышу, и товарищи мои начали ворочаться. Спрашиваю у соседа по койке:

— Иван, сколько времени?

— Половина десятого.

Чтобы не мучиться всю ночь, помнится, мы тогда встали, разогрели чай, начали рассказывать, кто что может, и только в первом часу уснули снова, на этот раз до утра.

Между прочим, именно во время этих бдений кто-то из друзей высказал мысль: «А что, если бы Литфонд купил эту избу и устроил бы Дом рыбака для писателей?»

— Ну вот. Сейчас ты приезжаешь сюда в любое время дня и ночи, а тогда полгода будешь ждать очереди: все путевки проданы!

Здесь же, на острове, Иван проводил испытания нового способа ловли, соответствующего двадцатому веку и, так сказать, вполне достойного современного этапа развития человечества.

В «Рыболове-спортсмене» Иван вычитал, что нужно взять стеклянную литровую или пол-литровую банку, налить в нее воды, пустить в воду несколько штук мотыля,

а еще лучше малька, провести в банку электрическую лампочку и все это наглухо закрыть. Лампочка должна быть соединена с батареей, хранящейся в кармане рыболова. В нужное время банка с горящей лампочкой опускается на дно. Главная идея, по мнению автора, состоит в том, что окуни будут хорошо видеть мотыля, плавающего в банке, а также и малька. Они будут собираться стаями, обступая банку со всех сторон, желая полакомиться или, может быть, просто созерцая. Отчего же не предположить у окуней обыкновенной любознательности. Тут-то рыболов и должен рядом с призрачным, скрытым за стеклом банки мотылем опускать рыбе под нос своего, вполне доступного, но зато насаженного на крючок мотыля.

Неизвестно, как клевало у автора статьи, но Иван определенно клюнул на его идею. Целую неделю он испытывал техническое рационализаторское приспособление в ванной, а затем перенес опыты на естественный водоем в район Григоровых островов на Большой Волге, а попросту говоря, на наш излюбленный островок.

Скорее всего, рыба разбегалась от банки с лампочкой, видя или интуитивно чувствуя подвох, потому что у нас у всех не клевало, оттого что была поглощена необыкновенным зрелищем и ей было не до этого. Может быть, именно любознательность отбивала у нее аппетит.

Однажды Саша Косицын рассказал нам, как он случайно встретился с автором статьи и тот ему чистосердечно признался, что выдумал электроосветительный способ для того, чтобы напечатать статейку и получить гонорар.

Весной по последнему льду не было смысла ездить на Григоровы острова. Начиная с февраля Ивановская плотина постепенно сбрасывает воду из Московского моря, и вода отступает со временно оккупированной территории. Она уходит с лугов, которые отягчались некогда густыми приволжскими травами, из оврагов, из лесов, порубленных на скорую руку перед затоплением, из старенького купеческого города Корчевы.

Лед садится тогда на землю, вздыбливается холмами. Точно так же, как сквозь одеяло угадываются формы тела спящего человека, сквозь толщу осевшего снега начинают проступать изначальные черты рельефа. Как западней, говорят, захлопывает тогда на отмелях несметное количество всевозможной рыбы. Резко обозначается тогда извечное

русло Волги с крутыми бережками (сказано ведь, что меж крутых бережков Волга-речка течет).

Тогда съезжаются на русло любители половить ершей. Мы один раз поймали каждый по восемьсот штук за день. Между прочим, когда нам надоела под конец чисто механическая работа по выдергиванию небольших, ослизлых рыбок со дна на лед, мы занялись арифметикой и, сосчитав автобусы, стоявшие на мысу, помножив автобусы на количество пассажиров-рыболовов, а также помножив все это на наш улов, пришли к выводу, что в этот день с Волги в Москву было увезено не меньше семи тысяч килограммов ершей.

Один раз весной мы попробовали изменить излюбленному водоему и поехали на Тростнянское озеро.

День был хоть и мартовский, но не ветреный, холодный, неприятный. К тому же, где бы мы ни рубили лунки, где бы ни опускали мормышки, ни у кого из нас не дрогнул сторожок. Как будто в целом озере не осталось ни одной рыбины. Наконец прохожий (тропинка по озеру от села до села) все нам толково разъяснил.

— Теперь рыба сосет струю, а вы, чудаки, поймать хотите.

— Как так — струю?

— Очень просто. Снег тает, под лед ручейками просачивается талая вода. Вот на этих-то струях и держится теперь вся рыба. Да вы вон куда поглядите!

Мы поглядели в сторону села, расположенного над озером на горе, и увидели, что из села к озеру бегут люди, как будто пожар или кто-нибудь утонул. Нужно было узнать, в чем дело.

Недалеко от озера длинной шеренгой стояли жители села: и мужчины, и женщины, и мальчишки. Из узкой грязной канавы, сочащейся у их ног, они небольшими сачками, вместе с черной торфяной жижей, выгребали крупную себрюную плотву. У иных рыбаков находились помощники — мальчишки или девчонки, которые сразу рыбу убирали в мешки. Но вообще-то она лежала вдоль канавы большими шевелящимися горами. Такой крупной, такой ровной плотвы мы не видавали отродясь.

— Чего стоите, покупайте, жены довольны будут. Мы недорого возьмем.

Самые деликатные из нас арендовали сачки по цене двадцать пять рублей за час, чтобы все же как-никак своими руками.



Мы с Сашей без канители отобрали и побросали в ящики десятка по полтора самых крупных и самых красивых. Этого хватило, чтобы дома с краями наполнить большой эмалированный таз.

До сих пор жена нет-нет да и скажет:

— Что вы ездите на эти Григоровы острова! Съездили бы опять туда, откуда, помнишь, серебряная плотва. Это был самый лучший твой улов за все годы.

Обыкновенно в начале ноября начинаем звонить по междугородному, вызывая Бориса Петровича.

— Рановато, — отвечает обыкновенно Борис Петрович. — Заливы, правда, встают, вчера я видел — мальчишки бежали по заливам.

— Можно ли пробраться на остров?

— Думаю, что рановато. Волга, во всяком случае, гуляет.

В последнюю осень не хватало нашего терпения и, услышав, что заливы встают, мы выехали на Григоровы острова.

На мыске мы пришли в отчаяние. Волга гуляла как летом. Нигде никаких признаков льда, даже возле берега. А вот на заливах, как ни странно, лед. Как будто нарочно для нас наморозили искусственным способом.

Пошли гуськом, поодаль друг от друга, скользящей походочкой, мелким шажком. Не путешествие, а балет. Миновали залив, миновали протоку. Чем ближе к острову, тем тоньше, ненадежнее ледок — гнется, трещит, пружинит. А сам такой светленький, чистенький, как будто его и нет.

Перед последней протокой пришлось задуматься, потому что по протоке гуляла вода. Легкий ветерок (день был теплый, как бы даже летний) слегка рябил воду и справа и слева. Лишь в середине, против нас, горло протоки перехватило ледком. Впрочем, какой там ледок, не ледок, а пленочка. Казалось даже (так на самом деле и было), водяная рябь, плескаясь и колебля воду, съедала потихоньку ледяную перемышку. А к вечеру (как мы потом увидели) съела ее совсем.

Остров, вот он, на другом берегу протоки. Больше нет никаких преград между ним и нами, кроме как вода. Впрочем, почему вода. Какой-никакой, но есть ледок. Дела не так уж плохи. Неужели возвращаться в Москву от самой цели путешествия. Каких-то пятьдесят или тридцать метров — чепуха.

Пешиями мы срубили средней величины ольху, обрубили сучья. Получилась длинная жердь, почти бревно. Теперь можно ползти по льду, а жердь толкать впереди себя на всякий случай. Если провалишься, за нее держаться, на ней выплыть на остров, бегом к избе, чтоб не замерзнуть. План четкий и ясный. Однако кто же первый? Нас было четверо. Взгляды наши как-то сами собой собрались все на Саше. Рассуждали мы так: во-первых, ты потяжелее нас, потолще, и уж если ты не провалишься, то проползем и мы. Во-вторых, и самое главное — ты же Герой Советского Союза! Кто же, как не ты, должен подать нам всем пример?

Саша вдруг лег на берег плашмя, и не лег, а как-то очень шустро упал, как падают на учениях в армии, по-армейски грамотно, как если бы показывал новобранцам или сдавал экзамены, по-пластунски устремился вперед. Вот так, как эту жердь, он и толкал впереди себя пулемет, меняя огневую позицию где-нибудь под озером Балатон.

Прополз он благополучно. Но слегка, пущенная им обратно, доскользила только до середины ледяного пространства. На середине же, медленно повернувшись, как стрелка часов (чтобы еще подальше от нас оказался ее конец), остановилась.

Я тоже ведь когда-то ползал по-пластунски и тоже показывал новобранцам, как это делается. Но, право, теперь я меньше всего думал, высоко ли поднимается у меня задняя часть (именно на это обращают внимание в армии), а думал я о том, когда же пальцы мои дотронутся до такой, казалось бы, близкой ольховой жерди. Ведь и последние полметра могут разверзнуться под тобой. Особенно неприятно во время такого путешествия громкое, под самым животом, потрескивание льда и белые стрелы трещин, разбегающиеся в разные стороны.

Володя обрадовался нам, посадил нас всех в моторную лодку, и мы через Волгу ушли к устью реки Бабни. Володя уверил нас, что Бабня вся стоит и лед надежный.

Как ни странно, Бабня стояла. Небо было по-летнему голубое, и лед был голубой, и тепло было, как летом, и все было необыкновенно, неповторимо в этот день, не говоря уж о клеве. Такой клев, наверно, никогда больше не встретится на нашем рыбацком пути.

Что бы такое значило? Сидишь с удочками где-нибудь

в Журавлихе или где-нибудь на тихом лесном озере. Желтые кувшинки, белые лily, которые, правда, не распустились еще в ранний рассветный час, но воображение уж видит их — чистые, свежие, голубоватые, потому что прямо над ними ничего нет, кроме яркой, безоблачной синевы. Сквозь деревья пробиваются и ложатся на воду первые розоватые пятна — заря.

Тепло. Пахнет речным туманом, который успел оторваться от воды и путается теперь в верхних прибрежных деревьях, в верхушках черного елового леса на том берегу.

Пахнет мятой-травой. Наверно, вытирая руки пучком травы, размял стебель мяты, и вот теперь разливается в неподвижном воздухе ее крепкое, с холодком, благоухание.

Прислушаешься — птицы поют, приглядишься — сонные капли росы на траве и цветах. Благодать. К тому же сейчас, может быть, в следующую секунду, дрогнет как в зеркало впаянный поплавок и, морщина зеркало и разрезая его, уверенно пойдет вкось под широкий гляцевитый лист кувшинки.

— Саша, у тебя как, берет?

— Хорошо берет.

— И красота какая. И тишина. И запах. И тепло.

— Да, благодать... Но это все же не то. Вот погоди, придет ноябрь, начнется стужа, перволедок...

— Не раздражай, не бреди душу, словно не дождешься, когда придет ноябрь.

— А помнишь, как мы один раз выехали в тридцатисемиградусный мороз? Мотыль примерзает к пальцам, пальцы к мормышке, лунку каждую минуту затягивает льдом.

— Фанатики. Я тогда сбежал с половины дня. С Варварой Ивановой варил уху.

— Красота.

— А помнишь, как один раз ехали на твоём «Москвиче» по тонкому льду и открыли дверцы, чтобы, если рухнет, повиснуть на дверцах?

— Фанатики. Жаль мне «Москвича»-то, наверно, новый хозяин перекрасил его, и номер другой. Может, и встретишь на улице, не узнаешь.

— А помнишь, как у Аркадия на мормышку щука взяла?

— Не бреди.

Солнце поднялось выше. Оно начинает пригревать. Оно просвечивает тихую речную воду.

— Эх, брат, словно не дождешься, когда придет ноябрь, н стужа, н первый лед. Да мороз бы покрепче, да махнуть бы на Грингоровы острова!

1963



## *СОДЕРЖАНИЕ*

Третья охота . . . . .	5
Трава . . . . .	133
Григоровы острова . . . . .	343

**Владимир Алексеевич Солоухин**

**СОЗЕРЦАНИЕ ЧУДА**

**Очерки**

**Редактор**

**Л. Кулешова**

**Художественный редактор**

**О. Червенева**

**Технический редактор**

**В. Никифорова**

**Корректоры**

**И. Попова, И. Рудакова**

ИБ № 4030

Сдано в набор 14.05.85. Подписано к печати 19.12.85. Формат 84х108/32. Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага тип. № 1. Усл. печ. л. 21. Усл. краск.-отт. 21,21. Уч.-изд. л. 22,12. Тираж 200 000 (100 001—200 000) экз. Заказ 1380. Цена 1 р. 20 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли  
и Союза писателей РСФСР  
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Росполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли  
445043, Тольятти, Южное шоссе, 30

**Солоухин В. А.**

**С60** Созерцание чуда/Худож. Е. Андреева.— М.: Современник, 1986.— 400 с., ил.

В книгу популярного советского прозаика Владимира Солоухина вошли известные произведения: «Третья охота», «Трава» и «Григорьевы острова».

**С** 4702010200—082  
М106(03)—86 119—86

**ББК 84 Р7**  
**Р2**









